



Остров на краю света

Джоанн Харрис

Очередной триумф автора
«Шоколада»... Обязательное
чтение.

Punch

Джоанн Харрис

На крошечном бретонском островке ничего не менялось вот уже больше ста лет.

Поколение за поколением бедная деревушка Ле Салан и зажиточный городок Ла Уссиньер вели борьбу за единственный на острове пляж. Но теперь — все изменится.

Вернувшись на родной остров после десятилетнего отсутствия, Мадо обнаруживает, что древнему дому ее семьи угрожают — приливные волны и махинации местного богача. Хуже того, вся деревня утратила волю и надежду на лучшее.

Но Мадо, покрутившаяся в парижской круговерти, готова горы свернуть. Заручившись поддержкой — а постепенно более чем поддержкой — невесть как попавшего на остров чужака по имени Флинн, она пытается мобилизовать земляков на подвиги. Однако первые же ее успехи имеют неожиданные последствия: на свет всплывают, казалось бы, похороненные в далеком прошлом трагедии, а среди них — тайна, много десятилетий мучающая отца Мадо...

Моей матери, Жанет Пейен Щорт

Человек не остров, не просто сам по себе; каждый человек — часть континента, часть целого.

Джон Донн.

Обращения к Господу в час нужды и бедствий(Перевод Игоря Померанцева)

В одном мгновенье видеть вечность, Огромный мир — в зерне песка, В единой горсти — бесконечность И небо — в чашечке цветка.

Уильям Блейк.

Изречения невинности (Перевод С. Маршака)

БЛАГОДАРНОСТИ

Книга не остров, и я хочу поблагодарить тех, без кого она не состоялась бы. Я сердечно благодарна своему литературному агенту Серафине Уорриор Принсес; Дженнифер Люитлен, Говарду Морхейму и всем остальным, кто переговорами, уговорами, вымогательством и разными прочими способами проталкивал публикацию книги. Еще спасибо моему редактору Дженнифер Херши и всем моим друзьям в [издательской группе] «Эйвон Морроу»; Кевину и Анушке, которые почти постоянно служили для меня тихой гаванью; моим друзьям по (электронной) переписке Курту, Мэри, Эмме, Саймону и Джулсу за то, что поддерживали связь между мной и всем остальным миром; Стиви, Полу и Дэвиду — за мятный чай и блинчики; Чарльзу де Линту — еще одно спасибо, а также мои извинения за нечаянную кражу двух вороньих перьев; а Кристоферу Фаулеру спасибо за то, что не вешал трубку. И бесчисленным продавцам книжных магазинов и книготорговцам — тем, кто потрудился, чтобы мои книги стояли на полках; и, наконец, жителям Ле Салана, которые, я надеюсь, когда-нибудь все же меня простят.

ПРОЛОГ

Острова — другие. И чем меньше остров, тем это верней. Возьмем Британию. Не верится, что эта узкая полоска суши вмещает столько своеобразия. Крикет, чаепития, Шекспир, Шеффилд, рыба с жареной картошкой в пахнущей уксусом газетной бумаге, Сохо, два университета, побережье Саут-Энда, полосатые шезлонги в Грин-парке, «Улица Коронации»^[1], Оксфорд-стрит, праздные послеполуденные часы воскресенья. Так много противоречий. Шествуют толпой, как поддатые демонстранты, еще не понявшие, что протестуют-то они в основном друг против друга. Острова — первопроходцы, раскольники, протестанты, изгои, изоляционисты от природы. Они, как уже было сказано, другие.

Вот, например, этот остров. Из конца в конец на велосипеде проедешь. Пешком по воде — за полдня доберешься до материка. Колдун и окружившие его островки застряли, как стайка крабов, на мелководье у побережья Вандей^[2]. Со стороны материка его загораживает Нуармутье^[3], с юга — Йё, и в туманный день его можно вообще не заметить. На картах он едва виден. Да, по правде сказать, он и не заслуживает называться островом — возомнившая о себе кучка песчаных дюн, скалистый хребет, вздымающий их из атлантических волн, пара деревушек, рыбозаводик, единственный пляж. В дальнем конце — моя родина, Ле Салан^[4], нестройный ряд домишек — трудно даже деревней назвать — спускается через скалы и дюны к морю, что подползает ближе с каждым «злым приливом». Дом, от которого никуда не денешься, место, куда указывает компас сердца.

Если б это зависело от меня, может, мой выбор пал бы на какое-нибудь другое место. Может, где-нибудь в Англии, где мы с мамой были счастливы почти год, пока моя неуемность не погнала нас дальше. Или Ирландия, или Джерси^[5], Айона^[6], Скай^[7]. Видите, я, словно инстинктивно, выбираю острова, будто пытаюсь частично воссоздать свой остров, Колдун, единственное место, которое ничем не заменить.

Формой остров напоминает спящую женщину. Ле Салан — голова, плечи сгорблены, чтоб защититься от непогоды. Ла Гулю — живот, Ла Уссиньер — укромная ложбинка под согнутыми коленями. Кругом — Ла Жете, хоровод песчаных островков, которые то разрастаются, то убывают по воле приливов, что медленно меняют линию берега, одну сторону

подгрызут, другую нарастят, и форма островков так переменчива, что мало кто из них успевает заслужить собственное имя. Дальше лежит полная неизвестность — отмель за Ла Жете резко обрывается, и дно уходит в никем не измеренные глубины; островитяне зовут это место Нидпуль^[8]. Если положить записку в бутылку и бросить в море с любого места на острове, она, скорее всего, вернется на Ла Гулю, что значит «жадина», — берег, за которым сгрудились домишки Ле Салана, словно прячась от пронизывающего ветра с моря. Ле Салан располагается к востоку от каменистого мыса Грино, а это значит, что зернистый песок, ил и прочие отбросы — все скапливается тут. Сильные приливы и зимние шторма еще усугубляют дело — они воздвигают на каменистом берегу целые крепостные стены из водорослей, и эти стены могут простоять полгода или год, пока их не снесет очередным штормом.

Так что, как видите, Колдун не блещет красотой. Скрюченная фигура острова схематична и груба, совсем как у Марины Морской — нашей святой покровительницы. Туристы тут редки. Их почти нечем привлечь. Если с воздуха острова похожи на балерин, закружившихся в танце, то Колдун — дурнушка в последнем ряду кордебалета, забывшая свои па. Мы отстали, она и я. Танец продолжается без нас.

Но остров сохранил свою суть. Полоска суши в несколько километров длиной, и все же у нее свой характер, наречия, кухня, обычаи, платья — и все столь же отличается от других островов, как все острова — от материковой Франции. Жители Колдуна считают себя островитянами — не французами и даже не вандейцами. У них нет никаких политических симпатий. Мало кто из сыновей островитян считает нужным служить в армии. Остров так далек от центра событий, что это кажется абсурдным. И так далек от всякой официальности и закона, что живет по законам собственным.

Впрочем, нельзя сказать, что здесь не любят чужаков. Наоборот; мы бы привлекали на остров туристов, если б только знали как. В Ле Салане туристы означают достаток. Мы смотрим через пролив на Нуармутье, с его отелями, пансионатами, магазинами и огромным красивым мостом, соединяющим остров и материк. Там дороги летом запружены машинами с иностранными номерами, с кучами багажа на крышах, пляжи чернеют от людей, и мы пытаемся представить себе, что было бы, если бы все эти туристы оказались у нас. Но мечта остается мечтой. Туристы — те немногие, что отваживаются забраться подальше, — застревают в Ла Уссиньере, на другой стороне острова. В Ле Салане, с его скалистым беспляжным берегом, с его каменными дюнами, цементированными

грубым песком, с его беспрестанным резким ветром, их нечем заманить.

Жители Ла Уссиньера это знают. Меж уссинцами и саланцами идет распря, уже так давно, что никто не помнит, когда она началась. Сначала религиозные несогласия, потом споры за право ловли рыбы, права на строительство, торговлю и, конечно, землю. По закону осушенная земля принадлежит тому, кто ее осушил, и его потомкам. Это единственное богатство саланцев. Но уссинцы контролируют доставки с материка (единственный паром принадлежит старейшей семье Ла Уссиньера) и устанавливают цены. Если уссинцу представляется случай надуть саланца, он не преминет это сделать. Если саланцу удастся одержать верх над уссинцем, торжествует вся деревня.

А еще у Ла Уссиньера есть тайное оружие. Оно называется «Иммортели» — это маленький песчаный пляж в двух минутах от гавани, с одной стороны его прикрывает древний мол. Здесь яхты скользят по воде, укрытые от западных ветров. Это единственное место, где можно купаться и ходить под парусом, не опасаясь сильных течений, раздирающих остров. Этот пляж — игра природы — и составляет главную разницу между двумя общинами. Деревня разрослась в городок. Из-за пляжа Ла Уссиньер, по островным меркам, процветает. Здесь есть ресторан, гостиница, кинотеатр, дискотека, кемпинг. Летом заливчик набит яхтами отдыхающих. В Ла Уссиньере располагаются мэр острова, полицейский, почта и единственный священник. В августе несколько семей с побережья снимают тут дома и приносят с собой оживление в торговле.

Ле Салан летом, напротив, совершенно мертвеет, задыхается, дубеет на жаре и ветру. Но для меня это все равно дом. Не самое прекрасное место в мире и даже не самое гостеприимное. Но мое.

Все возвращается. На Колдуне это вечное присловье. Людям, живущим на обрывке пестрого подола Гольфстрима, оно сулит надежду. Рано или поздно все возвращается. Разбитые лодки, послания в бутылках, спасательные круги, обломки кораблекрушения, потерявшиеся в море рыбаки. Ла Гулю тянет к себе, и многие не в силах противиться его тяге. Могут пройти годы. Материк завлекает — там деньги, большие города, незнакомая жизнь. Трое из четырех детей покидают остров в восемнадцать лет, мечтая о мире, что лежит за пределами Ла Жете. Однако Жадина не только голоден, но и терпелив. И для людей вроде меня, которых больше ничто нигде не держит якорем, возвращение, похоже, неизбежно.

У меня своя история, когда-то была. Теперь это уже не важно. На Колдуне никто не интересуется никакой историей, кроме здешней. Чего только не выкидывает на наш берег — обломки, пляжные мячи, дохлых

птиц, пустые бумажники, дорогие кроссовки, пластиковые вилки, даже людей, — и никто не спрашивает, откуда они взялись. То, что никому не пригодилось, море забирает обратно. И разные морские твари тоже порой приходят этим торным путем — португальские кораблики, акулы-няньки, морские коньки, хрупкие морские звезды, иногда киты. Они остаются или уходят — диковины, на них можно поглазеть несколько мгновений и забыть, как только они покинут наши воды. Для островитян нет ничего за пределами Ла Жете. Если выйти за Ла Жете и двигаться дальше, ничто не нарушит линию горизонта, пока не завиднеется Америка. За эти пределы никто не ходит. Никто не изучает приливы и то, что они приносят. Только я. Но меня тоже принесло морем, так что я имею право.

Взять, например, этот пляж. Это удивительное явление. Один остров, единственный пляж; удачное сочетание приливов и течений; сто тысяч тонн древнего песка, упорного, как скала, и от тысяч завистливых взглядов он словно позолотел, став драгоценнее золотой пыли. Разумеется, он обогатил уссинцев, хотя все мы — и уссинцы, и саланцы — знаем, что это богатство случайно, и с тем же успехом все могло быть ровно наоборот.

Чуть сместится течение, будет приходиться на сотню метров правее или левее. На градус изменится направление ветра. Поменяется рельеф дна. Случится сильный шторм. Любое из этих событий в любой момент может катастрофически изменить ситуацию на противоположную. Удача — как маятник, одно качание занимает десятилетия, и тень его несет с собой неизбежность.

Ле Салан все еще ждет, терпеливо, с надеждой, момента, когда маятник пойдет в другую сторону.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОБЛОМКИ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ

1

Я вернулась после десятилетнего отсутствия, в жаркий день, в конце августа, накануне первых «злых приливов» летнего сезона. Я стояла на палубе старого парома «Бриман-1» и смотрела на приближающийся Ла Уссиньер — все было так, словно я никогда и не покидала остров. Все было точно как раньше: резкий запах, палуба под ногами, крики чаек в жарком синем небе. Десять лет, едва не полжизни, стерто одним взмахом, словно каракули на песке. Ну или почти так.

У меня было очень мало багажа, и это усиливало иллюзию. Но я всегда путешествовала налегке. У обеих, у матери и у меня, никогда не было много балласта. Под конец я оплачивала нашу парижскую квартиру заработками в сомнительном ночном кафе, вдобавок к доходам от продажи картин, которые мать так ненавидела, а она в это время боролась с эмфиземой, умирала и делала вид, что не знает об этом.

Конечно, мне хотелось бы вернуться богатой, успешной. Показать отцу, что мы и без его помощи обошлись. Но скромные сбережения матери давно растаяли, а мое состояние — несколько тысяч франков на счету в банке «Морской кредит» и стопка непроданных картин — вряд ли больше того, что у нас было при отъезде. Хотя это не имело никакого значения. Я не собиралась оставаться. Какой бы сильной ни была иллюзия застывшего времени, у меня теперь другая жизнь. Я изменилась.

Никто не обращал ни малейшего внимания на меня, стоявшую поодаль от прочих пассажиров на палубе «Бримана-1». Был самый разгар сезона, и на борт набилось немало туристов. Некоторые были даже одеты точно как я, в парусиновые штаны и *vareuse*^[9] — бесформенное одеяние, нечто среднее между рубашкой и курткой, — горожане, что изо всех сил старались не выглядеть горожанами. Туристы с рюкзаками, чемоданами, собаками и детьми сгрудились на палубе меж ящиками фруктов и бакалеи, курами в клетках, почтовыми мешками и коробками. Шум был ужасный. Фоном служило «хшшшш» моря о корпус парома и чаечье «скрииии». Сердце мое билось в такт прибою.

Пока «Бриман-1» подходил к заливу, мой взгляд пересек водную гладь и упал на эспланаду. Ребенком я любила тут бывать; часто играла на пляже, пряталась под тяжелыми животами пляжных веранд, пока отец занимался своими делами в гавани. Я узнала выцветшие зонтики фирмы «Шоки» на

террасе маленького кафе, где любила сидеть моя сестра; тележку продавца сосисок; сувенирную лавочку. Народу стало, пожалуй, больше; вдоль берега выстроился неровный ряд рыбаков с омарами и крабами в садках — улов продают. С эспланады доносилась музыка; ниже эспланады, на пляже, играли дети, и пляж, несмотря на прилив, казался глаже и роскошнее, чем мне помнилось. Похоже, дела в Ла Уссиньере идут неплохо.

Я бродила взглядом по улице Иммортелей — главной улице города, идущей параллельно берегу. Вон трое сидят бок о бок там, где когда-то было мое любимое местечко: волнолом под эспланадой, глядящий на залив. Помню, ребенком я сиживала тут, глядя на далекую серую челюсть материка и гадая, что же там такое. Я прищурилась, чтобы разглядеть получше; даже с середины залива видно было, что два человека из трех — монахини.

Паром приблизился, и я разглядела их отчетливей: это были сестра Экстаза и сестра Тереза, кармелитки, что Христа ради ухаживали за обитателями дома престарелых на улице Иммортелей. Монахини были старухами еще до моего рождения. Меня странно обрадовало то, что они никуда не делись. Обе, подоткнув подола облачений до колен, сидели и ели мороженое. Рядом — мужчина, лицо закрыто широкополой шляпой; это мог быть кто угодно.

«Бриман-1» развернулся вдоль пристани. Перебросили сходни, и я стала ждать, пока сойдут отдыхающие. На пристани было так же тесно, как на пароме: стояли торговцы напитками и выпечкой; водитель такси зазывал пассажиров; дети с багажными тележками соперничали за туристов. Даже для августа было необычайнолюдно.

— Мадемуазель, поднести вам багаж? — Меня тянул за рукав круглолицый мальчик лет четырнадцати в застиранной красной футболке. — Поднести вам багаж в гостиницу?

— Спасибо, я сама, — показала я ему свой чемоданчик.

Мальчик поглядел удивленно, словно пытаясь понять, где он меня видел раньше. Потом пожал плечами и двинулся на поиски новой удачи.

На эспланаде тоже была толпа. Отъезжающие туристы, прибывшие туристы, а меж ними уссинцы. Я покачала головой в ответ на попытку какого-то старика продать мне брелок из морских узлов; это был Жожо Чайка, который летом катал нас на лодке, и хотя он никогда не был мне другом — в конце концов, он уссинец, — меня кольнула обида из-за того, что он меня не узнал.

— Вы здесь надолго? Отдыхать приехали?

Снова подошел тот круглолицый мальчик, но уже не один, а с

приятелем — темноглазым юнцом в кожаной куртке, который курил сигарету скорее с апломбом, чем с удовольствием. Оба мальчика несли чемоданы.

— Я не туристка. Я родом из Ле Салана.

— Ле Салана?

— Да. Я дочь Жана Прато. Который строит лодки. Или строил.

— Жана Большого Прато! — Мальчики поглядели на меня с нескрываемым любопытством.

Они, может, сказали бы больше, но тут к нам подошли еще три подростка. Самый старший с начальственным видом обратился к круглолицему.

— Чего это вы, саланцы, тут делаете, а? — важно спросил он. — Вы что, не знаете, что это уссинский берег? Вам не позволено таскать багаж в «Иммортели»!

— Кто сказал? — возразил круглолицый. — Набережная не ваша! И туристы не ваши.

— Правда, Лоло, — сказал темноглазый мальчик. — Мы первые пришли.

Двое саланцев чуть подались друг к другу. Уссинцы превосходили их числом, но я поняла, что мальчики готовы драться, лишь бы не отдать чемоданов. На мгновение я вспомнила себя в этом возрасте — как я ждала отца и не обращала внимания на смех хорошеньких девочек-уссинок, сидящих на террасе кафе, пока наконец их насмешки не становились невыносимыми, и тогда я спасалась под полы пляжных беседок.

— Они первые пришли, — сообщила я троице. — Так что идите себе.

Уссинцы несколько секунд глядели на меня презрительно, потом, что-то бормоча, удалились в сторону пристани. Во взгляде Лоло светилась чистая благодарность. Его друг лишь плечами пожал.

— Я пойду с вами, — сказала я. — «Иммортели», значит?

Большой белый дом отделяло от эспланады лишь несколько сот метров. В стародавние времена тут был дом престарелых.

— Тут теперь гостиница, — сказал Лоло. — Хозяин мсье Бриман.

— Да, я его знаю.

Клод Бриман; коренастый уссинец с карикатурно пышными усами, пахнувший одеколоном, обутый в эспадрильи^[10], словно крестьянин. Голос его звучал сочно и дорого, как хорошее вино. Бриман Лис, звали его в деревне. Бриман Удачник. Много лет я была уверена, что он вдовец, несмотря на слухи, что у него где-то на материке жена и ребенок. Хоть и уссинец, он мне нравился; бодрый, разговорчивый, карманы всегда набиты

сластями. Мой отец его ненавидел. Адриенна, моя сестра, словно назло, вышла за его племянника.

— Теперь все в порядке. — Мы дошли до конца эспланады. Через две стеклянные двери я видела вестибюль «Иммортелей» — конторку, вазу с цветами, крупного мужчину, что сидел у открытого окна и курил сигару. На секунду я задумалась, не войти ли внутрь, потом решила, что не стоит. — Я думаю, дальше вы уже и сами справитесь. Вперед.

Они пошли: темноглазый не сказал ни слова, Лоло скорчил гримасу, извиняясь за друга.

— Не обращайтесь внимания на Дамьена, он всегда такой, — тихо сказал он. — Вечно нарывается на ссоры.

Я улыбнулась. Я тоже была такая. Моя сестра, четырьмя годами старше, в хорошеньких платьицах и с прической из парикмахерской, всегда умела вписаться в компанию; на террасе кафе она всегда смеялась громче всех.

Я перешла оживленную улицу, направляясь туда, где сидели две старые кармелитки. Я сомневалась, что они меня узнают — саланку, которую последний раз видели девочкой, — но в те давние времена я их любила. Подойдя ближе, я увидела, что они совсем не изменились, и меня это ничуть не удивило: ясноглазые, но загорелые и выдубленные, словно высушенные солнцем вещи, что находишь на берегу. Сестра Тереза носила черный платок, а не белый *quichenotte* — чепец островитянок; а то я, может, и не отличила бы монахинь друг от друга. Мужчина, сидевший рядом, с ниткой кораллов вокруг шеи, в шляпе с обвислыми полями, закрывавшей глаза, был незнакомый. Лет тридцати, лицо приятное, но не ослепительный красавец; может, отдыхающий, но это не вязалось с непринужденностью, с какой он меня приветствовал, — типичный островной молчаливый кивок.

Сестра Экстаза и сестра Тереза пристально оглядели меня и тут же расплылись одинаковыми сияющими улыбками.

— Да это же дочурка Жана Большого.

Они так долго жили вне монастыря, вместе, что переняли друг у друга характерные черточки в поведении. Говорили они тоже одинаково — быстро, надтреснутыми голосами, как сороки. У них развилось особое взаимопонимание, как бывает у близнецов, — они заканчивали фразы друг за друга, и каждая снабжала речь другой, словно запятыми, утвердительными жестами. Как ни странно, они никогда не пользовались именами — всегда называли друг друга *ta soeur*^[11], хотя, насколько мне известно, не состояли в родстве.

— Это Мадо, *ta soeur*, малютка Мадлен Прато. Как она выросла! Здесь,

на островах...

— ...время летит так быстро. Кажется, всего пара лет...

— ...как мы сюда приехали, а мы уже постарели...

— ...и выжили из ума, *ta soeur*, выжили из ума. А до чего мы рады тебя видеть, малютка Мадо! Ты всегда была другая. Совсем-совсем не похожа на...

— ...свою сестру.

Последние слова старушки произнесли хором, блестя черными глазами.

— Я так рада, что вернулась. — Только произнеся эти слова, я поняла, до чего я на самом деле рада.

— Здесь мало что переменилось, верно, *ta soeur*?

— Да, почти совсем ничего. Только...

— Все постарело, только и всего. Как мы. — Монахини деловито покачали головами и опять занялись мороженым.

— Я гляжу, «Иммортели» перестроили, — сказала я.

— Верно, — кивнула сестра Экстаза. — Бóльшую часть, во всяком случае. Из нас еще кое-кто остался на верхнем этаже...

— Долгоживущие гости, как Бриман нас называет...

— Но совсем немного. Жоржетта Лойон, Рауль Лакруа, Бетта Планпен.

Они постарели и перестали справляться, и он купил у них дома...

— Купил задешево и перестроил для отдыхающих...

Монахини переглянулись.

— Бриман держит их тут только потому, что монастырь платит за них деньги. Он не ссорится с церковью. Он-то знает, с какой стороны у него облатка намазана маслом...

Обе задумчиво умолкли и принялись облизывать мороженое.

— А это Рыжий, малютка Мадо. — Сестра Тереза указала на незнакомца, который, ухмыляясь, слушал их речи.

— Рыжий, англичанин...

— Пришел свести нас с пути истинного лестью и мороженым. В наши-то годы.

Он покачал головой.

— Не верьте им, — посоветовал он, все так же ухмыляясь. — Я к ним подлизываюсь только для того, чтоб они не разболтали моих секретов.

Он говорил с сильным, но приятным акцентом. Сестры захихикали.

— Секреты, а! Да, от нас мало что укроется, верно, *ta soeur*, может, мы и...

— ...старухи, но со слухом у нас все в порядке.

— Люди не обращают на нас внимания...

— ...потому что мы...

— ...монахини.

Человек, названный Рыжим, посмотрел на меня и ухмыльнулся. У него было умное, своеобразное лицо, которое озарялось, когда он улыбался. Я почувствовала, что он разглядывает меня в мельчайших подробностях, не с дурными намерениями, но с выжидательным любопытством.

— Рыжий?

У островитян в обиходе прозвища. Если зовешь людей не по прозвищам, значит, ты иностранец или с материка.

Он снял шляпу и взмахнул ею в шутовском поклоне.

— Ричард Флинн: философ, строитель, скульптор, сварщик, рыбак, мастер на все руки, предсказатель погоды, а самое главное — исследователь пляжей и искатель пляжных сокровищ. — Он неопределенно махнул рукой в сторону пляжа «Иммортели».

Сестра Экстаза сопроводила его слова восторженным надтреснутым хихиканьем, так что, судя по всему, эта шутка была ей знакома.

— От него ни мне, ни тебе добра не ждать, — объяснила она.

Флинн засмеялся. Я заметила, что волосы у него почти в цвет корольков на шее. «Рыжий, красный — человек опасный», — говаривала мать, хотя на островах рыжие встречаются редко и считается, что рыжина приносит удачу. Вот и разгадка. Но все равно, если ты обзавелся прозвищем на Колдуне — значит, занял определенное положение, что для иностранца редкость. Островное имя так сразу не заработаешь.

— Вы здесь живете? — Мне в это не верилось. Мне почудилась в нем какая-то неумность; что-то неуловимое.

Он пожал плечами.

— Ну где-то ж надо жить.

Меня это несколько удивило. Как будто ему все равно, где жить. Я попробовала представить себе, каково это — когда тебе все равно, где твой дом, когда он не тянет тебя постоянно за сердце. Невыносимая свобода. И все же его наградили прозвищем. А я всю жизнь была просто *la fille á Grosjean*^[12], и моя сестра тоже.

— Так. — Он ухмыльнулся. — А чем вы занимаетесь?

— Я художник. То есть я продаю свои работы.

— А что вы рисуете?

Мне вспомнилась на миг наша парижская квартирка и комната, где у меня была мастерская. Крохотная, слишком маленькая для гостиной — но и эту мать уступила скрепя сердце, — к стене прислонен мольберт, папки, холсты. Мать любила говорить, что я могу нарисовать что угодно. У меня

дар. Чего же я тогда рисую всё одно и то же? Воображения не хватает? Или нарочно, чтобы ее помучить?

— В основном острова.

Флинн поглядел на меня, но ничего больше не сказал. Глаза у него были такого же грифельного цвета, как полоска туч на горизонте. Мне показалось очень трудно смотреть в эти глаза, словно они меня насквозь видели.

Сестра Экстаза доела мороженое.

— А что же твоя мама, малютка Мадо? Она тоже здесь?

Я заколебалась. Флинн все еще смотрел на меня.

— Она умерла, — ответила я наконец. — В Париже. А сестра не приезжала.

Монахини перекрестились.

— Жалко, малютка Мадо. Ай-яй-яй как жалко.

Сестра Тереза взяла меня за руку иссохшими пальцами. Сестра Экстаза погладила меня по коленке.

— Ты закажешь панихиду в Ле Салане? — спросила сестра Тереза. — Ради отца?

— Нет. — В моем голосе до сих пор слышалась резкость. — Это уже прошлое. И она сама всегда говорила, что никогда сюда не вернется. Даже в виде праха.

— Жаль. Так для всех было бы лучше.

Сестра Экстаза бросила на меня быстрый взгляд из-под полей *quichenotte*.

— Наверняка ей тут нелегко было. Острова...

— Я знаю.

«Бриман-1» снова отчаливал. На миг я совершенно растерялась.

— Да и отец не облегчал дела, — сказала я, все еще глядя вслед уходящему парому. — Но все-таки теперь он от нее освободился. Он же этого и хотел. Чтобы его оставили в покое.

2

— Прато? Это островная фамилия.

Таксист — уссинец, которого я не узнала, — говорил обвиняюще, словно я нахально присвоила чужое имя.

— Да. Я тут родилась.

— Э. — Водитель оглянулся на меня, словно пытаюсь разобрать знакомые черты. — У вас и родня тут есть?

Я кивнула.

— Отец, в Ле Салане.

— А.

Таксист пожал плечами, словно упоминание Ле Салана погасило всякий интерес. Пред моим мысленным взором предстали Жан Большой у себя в шлюпочной мастерской и я сама, наблюдающая за ним. Я вспомнила о мастерстве отца, и меня кольнула виноватая гордость. Я упорно пялилась на затылок таксиста, пока это чувство не исчезло.

— Ясно. Ле Салан, значит.

В салоне пахло затхлостью, и подвеска была совсем убитая. Мы ехали из Ла Уссиньера по знакомой дороге, и в желудке у меня трепетало. Теперь я все помнила уже слишком хорошо, слишком отчетливо: рощица тамарисков, скала, мелькнувшая на мгновение крыша из гофрированного железа над краем дюны словно до боли ободрали сердце воспоминаниями.

— Так вы, значит, знаете, куда вам надо, а?

Дорога была плохая, и за поворотом колеса такси на мгновение застряли в песчаном наносе; шофер выругался и злобно взревел мотором, чтобы освободить машину.

— Да. На Океанскую, в дальний конец.

— Точно? Там же нет ничего, только дюны.

— Точно.

Какое-то чутье подсказало мне, что лучше выйти, немного не доезжая до деревни; я хотела прибыть пешком. Таксист взял деньги и уехал, рассыпая песок веером от колес и стреляя глушителем. Пока вокруг опять воцарялась тишина, я насторожилась от охватившего меня непонятого чувства, и совесть опять кольнула, когда до меня дошло, что это — радость.

* * *

Я обещала матери никогда сюда не возвращаться.

Оттого и чувство вины. На мгновение я ощутила себя карлицей в его великанской тени, пылинкой под огромным небом. Мой приезд уже означал, что я предала мать, наши с ней счастливые годы вдвоем, жизнь, которую мы построили вдали от Колдуна.

После нашего отъезда нам никто не писал. Стоило нам покинуть пределы Ла Жете, как мы стали обломками кораблекрушения, не стоящими внимания, забытыми. Мать достаточно часто напоминала мне об этом холодными ночами в парижской квартирке, куда проникали непривычные шумы уличного движения и вывеска пивной бросала мерцающие отсветы, то синие, то красные, сквозь сломанные жалюзи. Мы ничего не были должны Колдуну. Адриенна выполнила свой долг: удачно вышла замуж, нарожала детей, переехала в Танжер с мужем — антикваром по имени Марэн. У Адриенны было два сына, которых мы видели только на фотографиях. Она редко писала нам. По мнению мамы, это доказывало преданность Адриенны мужу и детям. Мать ставила ее мне в пример. Моя сестра — достойная женщина, я должна ею гордиться.

Но я была упряма; я, хоть и сбежала, не смогла в полной мере воспользоваться ослепительными возможностями, которыми изобилует мир за пределами островов. Я могла заполучить все, что угодно, — хорошую работу, богатого мужа, уверенность в завтрашнем дне. Вместо этого я два года проучилась в художественном училище; еще два года бесцельно путешествовала; потом работала в баре; уборщицей; перебивалась на временных работах; продавала свои картины на перекрестках, чтобы не платить комиссионные галереям. И втайне носила в себе Колдун.

— Все возвращается.

Девиз береговых обитателей. Я произнесла его вслух, словно в ответ на невысказанное обвинение. В конце концов, я же не собираюсь тут оставаться. Я заплатила квартирной хозяйке за месяц вперед; мои немногочисленные пожитки лежат, как я их оставила, и ждут меня. Но сейчас мечта была слишком заманчива, чтоб ее игнорировать, — Ле Салан, не изменившийся, гостеприимный, и отец...

Я неуклюже побежала через разбитую дорогу, к домам, домой.

3

Деревня была безлюдна. Окна по большей части закрыты ставнями — от жары, — и дома выглядели словно сколоченные наспех, брошенные, как пляжные беседки после закрытия сезона. Некоторые дома, похоже, не красили с тех пор, как я уехала: стены, что когда-то заново белили каждую весну, песок выскоблил до полной потери цвета. Единственная герань поднимала голову из оконного ящика с высохшей землей. Некоторые дома — всего лишь деревянные хижины с крышами из гофрированного железа. Теперь я их вспомнила, хотя они не появились ни на одной моей картине.

Несколько *platts*, плоскодонок, вытащенных волоком вверх по *étier* — соленому ручейку, что шел в деревню от Ла Гулю, — лежали на буром отливном иле. На воде стояла пара пришвартованных рыбацких лодок. Я их сразу узнала: «Элеонора» семьи Геноле, построенная моим отцом и его братом за много лет до моего рождения, и «Сесилия», собственность Бастонне, конкурентов Геноле по рыбной ловле. Высоко на мачте одной из лодок что-то монотонно звякало на ветру: тин-тин-тин.

На улице, можно сказать, не было ни души. За одной из ставень мелькнуло лицо; хлопнула дверь, перекрывая доносящиеся голоса. Под зонтиком у входа в бар Анжело сидел старик и пил колдуновку, островной ликер на травах. Я сразу его узнала — это был Матиа Геноле, пронзительные голубые глаза светились на обветренном лице, — но когда я поздоровалась, в них не возникло любопытства. Только искорка узнавания, краткий кивок, что в Ле Салане сходит за учтивость.

Мне в туфли набился песок. У стен домов тоже кое-где скопились наносы песка, словно дюны наступали на деревню. Конечно, и летние шторма внесли свою лепту: у старого дома Жана Гроссея обрушилась стена, на крышах местами не доставало черепиц, а за Океанской улицей, там, где ферма и лавочка Оме Просажа и его жены Шарлотты, землю, кажется, затопило — широкие глади стоячей воды отражали небо. Ряд труб изрыгал воду в придорожную канаву, откуда она стекала обратно в ручеек. Я заметила у стены дома что-то вроде насоса — видимо, чтобы ускорить процесс — и услышала шум генератора. За фермой деловито вращались лопасти небольшого ветряка.

Я остановилась в конце главной улицы, у колодца при святилище Марины Морской. Тут был ручной насос, ржавый, но действующий, и я накачала немного воды, чтобы умыться. Почти забытым ритуальным

жестом я плеснула воды в каменную чашу у стены и при этом заметила, что маленькая ниша, в которой стоит святая, свежеевыкрашена, а на камнях разложены свечи, ленты, бусы и цветы. Сама святая, весома, непроницаемая, стояла среди приношений.

— Говорят, если приложиться к ногам и три раза сплунуть, потерянное к тебе вернется.

Я так резко повернулась, что чуть не упала. Позади меня, оперев руки в боки и чуть склонив голову набок, стояла большая розовая жизнерадостная женщина. С мочек ушей свисали позолоченные обручи; волосы были того же жизнеутверждающего оттенка.

— Капуцина!

Она немного постарела (когда я уезжала, ей было под сорок), но я ее узнала мгновенно; ее прозвище было Блоха, и жила она в ободранном розовом вагончике на границе дюн, с кучей шумных ребятишек. Она никогда не была замужем: «Миленькая, с мужчиной жить — одна морока», — но я помню, как поздно ночью с дюн доносилась музыка, и смущенные мужчины слишком старательно притворялись, что не замечают вагончик с кружевными занавесками и призывным огоньком над дверью. Моя мать не любила Капуцину, но та всегда относилась ко мне хорошо, угощала вишнями в шоколаде и пересказывала всяческие сплетни. Она смеялась фривольней всех остальных островитян — по правде сказать, кроме нее, вообще никто из взрослых на острове не смеялся вслух.

— Мой Лоло сказал, что видал тебя в Ла Уссиньере. Сказал, что ты едешь сюда! — Она расплылась в улыбке. — Надо мне усерднее прикладываться к святой, чтоб такое почаще случалось!

— Я так рада тебя видеть, Капуцина. — Я улыбнулась. — Я уж подумала, что тут никого не осталось.

Она пожала плечами.

— Говорят, удача переменчива. — Она ненадолго помрачнела. — Очень жалко, что твоя мама померла.

— Откуда ты знаешь?

— Э! Это ж остров. Мы тут только и живем новостями да сплетнями.

Я помедлила, чувствуя, как бьется сердце.

— А... а что мой отец?

Ее улыбка на мгновение погасла.

— Он как всегда, — небрежно сказала она. — В это время года всегда нелегко.

Она обрела свою прежнюю жизнерадостность и обняла меня за плечи.

— Пойдем выпьем колдуновки. Можешь остановиться у меня. Как

англичанин съехал, у меня койка освободилась...

Я, видно, заметно удивилась, потому что Капуцина засмеялась своим обычным сочным, фривольным смехом.

— Только не подумай чего. Я теперь приличная женщина... почти. — В темных глазах сверкало веселье. — Но Рыжий тебе понравится. Он приехал в мае и всех перебудоражил! Мы ничего подобного не видали с тех пор, как Аристид Бастонне поймал рыбу с двумя головами — с обоих концов тушки. Ох уж этот англичанин! — она тихо хихикнула, качая головой.

— В мае этого года?

Значит, он только три месяца здесь. И за три месяца заработал прозвище.

— Э. — Капуцина закурила «житан» и с наслаждением затянулась. — Он заявился сюда в один прекрасный день, без гроша в кармане, но сразу начал проворачивать какие-то дела. Сначала у болтал Оме и Шарлотту и работал у них до тех пор, пока ихняя девчонка не начала строить ему глазки. Я поселила его к себе в вагончик, пока он не обустроился отдельно. Он, похоже, повздорил со старым Бриманом и еще кое с кем там, в Ла Уссиньере.

Она бросила на меня любопытный взгляд.

— Твоя сестра ведь замужем за Марэном Бриманом? Ну и как они там?

— Они живут в Танжере. Пишут редко.

— В Танжере, значит? Ну что ж, она всегда говорила...

— Да, так что этот твой приятель? — перебила я. — Чем он занимается?

— У него всякие идеи. Он чинит всякие штуки. — Капуцина неопределенно махнула рукой через плечо, на Океанскую. — Вон ветряк Оме. Он его починил.

Мы обогнули дюну, и стал виден розовый вагончик — такой, каким он мне помнился, но чуть более облезлый и глубже ушедший в песок. Я знала, что за вагончиком — отцовский дом, хотя роца тамарисков скрывала его из виду. Капуцина заметила, куда я смотрю.

— Даже не думай, — твердо сказала она, беря меня под руку и ведя в ложбинку к вагончику. — Нам надо столько сплетен навестать. Дай отцу немного времени. Пускай сначала от кого-нибудь услышит, что ты приехала.

На Колдуне сплетни — нечто вроде разменной монеты. Это двигатель местной жизни: свары между конкурентами-рыбаками, незаконные дети, невероятные истории, слухи и откровения. Я могла понять, какую ценность имею в глазах Капуцины; сейчас я для нее просто находка.

— Почему? — Я все еще смотрела на рощу тамарисков. — Почему я не могу прямо сейчас пойти с ним повидаться?

— Много воды утекло, а? — ответила Капуцина. — Он привык быть один.

Она толкнула дверь вагончика, которая оказалась не заперта.

— Заходи, милая, я тебе все расскажу.

В вагончике было странно уютно — тесно, мебель выкрашена розовым, все свободные поверхности завешаны одеждой, пахнет дымом и дешевыми духами. Несмотря на явный бордельный душок, это место располагало к доверию.

Люди, кажется, доверяли Капуцине свои секреты охотнее, чем отцу Альбану, единственному на острове священнику. Видно, будуар, даже такой потрепанный, приятней исповедадьни. С возрастом Капуцина не стала образцом добродетели, но в деревне ее уважали. Ей, как и монахиням, было известно слишком много чужих тайн.

Мы беседовали за кофе с пирожными. Капуцина безостановочно поглощала маленькие сахарные пирожные, так называемые колдунки, перемежая их «житанами», кофе и вишнями в шоколаде, которые она доставала из большой коробки в форме сердца.

— Я навещаю к Жану Большому пару раз в неделю, — рассказывала она, подливая кофе в крохотные, словно из кукольного сервиза, кофейные чашечки. — Когда пирог с собой прихватчу, когда заброшу белье в стиральную машину.

Она ждала, как я отреагирую, и заметно обрадовалась, когда я ее поблагодарила.

— Но с ним все в порядке, нет? То есть, я хочу сказать, он бы и один справился?

— Ты же знаешь, какой он. Никогда не скажет, если что.

— Да, он всегда такой был.

— Верно. Кто его знает, те это понимают. Вот с чужаками он совсем не умеет. Ты правда не... — Она тут же поправилась: — Он просто не любит перемен, вот и все. У него свои привычки. Ходит к Анжело по пятницам, вечером, распить рюмочку колдуновки с Оме, регулярно, как часы. Он, конечно, говорит мало, но с головой у него все в порядке.

На острове люди по-настоящему боятся безумия. В некоторых семьях оно передается по наследству, шальной ген, подобно тому как в закрытых общинах, где женятся между собой, чаще встречается шестипалость и гемофилия. Как говорят уссинцы — слишком много двоюродных милуется. Моя мать всегда говорила, что Жан Большой потому и выбрал девушку с

материка.

Капуцина покачала головой.

— У него свои привычки, вот и все. К тому же в это время года всем нелегко. Дай ему немножко отдышаться.

Ах да. Праздник нашей святой. Когда я была ребенком, мы с отцом часто помогали красить заново ее нишу — в коралловый цвет с традиционным звездчатым рисунком — к ежегодному празднику. Саланцы суеверны. Да и как иначе; пускай уссинцы подсмеиваются над нашими поверьями и традициями. Но Ла Уссиньер прикрыт Ла Жете как щитом. Ла Уссиньер не находится в полной воле приливов. В Ле Салане море ближе к дому — приходится принимать меры, чтобы его умиловить.

— Конечно, — сказала Капуцина, прерывая цепочку моих мыслей, — Жан Большой потерял в море куда больше многих. Да еще в день святой, так сказать, годовщина... Ну что ж, Мадо, тебе придется сделать ему скидку.

Я кивнула. Я знала эту историю — история была старая, случилась она в те годы, когда мои родители еще не поженились. Жили-были два брата, близкие друг другу, словно близнецы; даже имя одно на двоих, на островной манер. Но Жан Маленький утонул в возрасте двадцати трех лет — бессмысленно, утопился из-за какой-то девушки. По-видимому, родне удалось убедить отца Альбана, что это был несчастный случай на рыбной ловле. Время и частый пересказ смягчили эту душераздирающую историю; теперь мне трудно было поверить, что по прошествии тридцати лет мой отец все еще винит себя. Но я видела надгробие — цельный кусок островного гранита — за Ла Гулю, на кладбище Ла Буш, где хоронят саланцев.

Жан-Марэн Прато

1949—1972

Любимый брат

Мой отец сам высек надпись — буквы в палец глубиной врезаны в толщу камня. На это ушло полгода.

— В общем, так, Мадо, — сказала Капуцина, откусывая от очередного пирожного. — Ты живешь у меня, по крайней мере до после праздника святой Марины. Тебе ведь не прямо сейчас ехать обратно? Можешь подождать день-два?

Я кивнула.

— Здесь просторней, чем кажется, — оптимистично сказала Блоха, показывая на занавеску, отделяющую жилое пространство от спального. Тебе там будет удобно, а мой Лоло — хороший мальчик, он не станет каждые пять минут совать нос за занавеску.

Капуцина взяла еще одну вишню в шоколаде из своих бесконечных запасов.

— Он уже скоро вернется. Не знаю, что он там делает целыми днями. Должно быть, бьет баклуши с этим мальчишкой Геноле.

Я поняла, что Лоло приходится Капуцине внуком; ее дочь Клотильда оставила его на попечение матери, а сама отправилась искать работы на материке.

— Говорят, что все возвращается. Э! Моя Кло, кажется, не очень торопится назад. Ей там слишком весело живется. — Взгляд Капуцины чуть помрачнел. — Нет, ради нее нет смысла целовать ноги святой. Она все время обещает приехать на праздники, но каждый раз у нее находится какая-нибудь отговорка. Может, лет через десять...

Она взглянула на меня и осеклась.

— Мадо, извини. Я не про тебя...

— Ничего. — Я допила кофе и встала. — Спасибо за предложение.

— Ты хочешь сейчас туда идти? Сегодня? — Капуцина, хмурясь, поглядела на меня секунду, руки в боки, розовая шаль наполовину сползла с плеч.

— Ну что ж, — наконец произнесла она. — Только многого не жди.

Моя мать была с большой земли. Так что я только наполовину островитянка. Романтичная девушка из Нанта она разлюбила Колдун так же быстро, как и суровую красоту моего отца. Она не годилась для жизни в Ле Салане. Она была говорунья, певунья, рыдала, раздражалась тирадами, хохотала, вся нараспашку. Отец же и поначалу был неразговорчив. Не умел поддерживать беседу. Говорил по большей части односложно; здоровался кивком. Нежные чувства, что он выказывал, были направлены по преимуществу на рыбацкие лодки, которые он строил на дворе за домом и там же продавал. Летом он работал на улице, на зиму перебирался в большой сарай, и я любила сидеть рядом, смотреть, как он гнет дерево, вымачивает доски для обшивки, чтобы придать им гибкость, выводит грациозные линии киля и носа, шьет паруса. Паруса были белые либо красные, по цветам острова. Нос лодки всегда украшали коралловой бусиной. Каждую лодку полировали, покрывали лаком, никогда не красили — только имя на носу черно-белыми буквами. Отец жаловал имена романтических героинь — «Прекрасная Изольда»^[13], «Мудрая Элоиза»^[14], «Бланш де Коэткен»^[15], имена из старых книг, хотя, насколько мне известно, сам он ничего не читал. Разговоры ему заменяла работа — в обществе своих «дам» он проводил большую часть времени, но ни одной лодки не назвал в честь кого-нибудь из нас, даже в честь матери, хотя она, я знаю, была бы рада.

Я обогнула дюну и увидела, что шлюпочная мастерская пуста. Двери сарая были закрыты, и, судя по высоте иссохшей травы, которой они заросли, их не открывали уже несколько месяцев. Два лодочных корпуса, брошенные у ворот, наполовину занесло песком. Под навесом из гофрированного пластика стоял тягач с прицепом — с виду вроде бы в рабочем состоянии, но подъемник, которым отец обычно грузил лодки на прицеп, заржавел, как будто им давно не пользовались.

В доме было не лучше. Он и раньше не блистал порядком, заваленный остатками грандиозных проектов, которые отец начинал и не заканчивал. Сейчас дом выглядел полностью заброшенным. Побелка стерлась; разбитое окно заколочено доской; краска на дверях и ставнях потрескалась и облупилась. От дома по песку тянулся провод к пристройке, где гудел генератор; единственный признак жизни.

Почтовый ящик был забит. Я вытащила утрамбованный пласт писем и брошюр и понесла в пустую кухню. Дверь была не заперта. У раковины — гора грязной посуды. На плите остывший кофейник. Запах как в комнате больного. Вещи матери — комод, сундук, квадратный гобелен — никуда не делись, но все покрылось пылью, а бетонный пол — песком.

И все же видно было, что о доме кто-то заботится. В углу комнаты стоял ящик для инструментов, с кусками трубок, проволоки и дерева, и я заметила, что колонку для нагрева воды, которую Жан Большой все собирался починить, заменили каким-то устройством — пузатый медный бак, соединенный с баллоном бутана. Болтающиеся провода аккуратно спрятаны за панель; кто-то починил камин и трубу, которая раньше вечно дымила. Эти следы человеческой деятельности резко выделялись на фоне запущенного дома, словно Жан Большой настолько погрузился в работу, что уже не успевал вытирать пыль и стирать белье.

Я бросила почту на кухонный стол. Я поняла, что дрожу, и рассердилась. Я просмотрела почту — накопившуюся, похоже, за полгода или год — и обнаружила свое последнее письмо к отцу, не вскрытое. Я долго смотрела на конверт с парижским адресом на обороте и вспоминала. Я носила его с собой несколько недель, прежде чем наконец опустила письмо в ящик, испытывая странную растерянность и в то же время ощущение свободы. Люк, мой приятель из кафе, спросил меня, чего я жду: «В чем проблема? Ты ведь хочешь его видеть, нет? Хочешь ему помочь?»

Все было не так просто. За десять лет Жан Большой не написал мне ни разу. Я посылала ему рисунки, фотографии, школьные табели, письма — ответа не было. Но я все писала, год за годом. Разумеется, матери я не говорила. Я точно знаю, что она об этом сказала бы.

Я опустила чуть дрожащую руку с письмом. Потом сунула его в карман. Может, в конце концов, так оно и лучше. Так у меня еще есть время подумать. Рассмотреть все варианты.

Как я и думала, дома никого не было. Я заглянула сначала в свою комнату, потом в комнату Адриенны, стараясь не чувствовать себя непрошеной гостьей. Почти все было на своих местах. Наши вещи никуда не делись: мои модели лодок, сестрины плакаты с киноактерами. Дальше была комната родителей.

Я толкнула дверь и оказалась в полутьме: ставни были закрыты. Пахло духом нежилья. Кровать была не застелена, из-под сбитой простыни виднелся полосатый тик матраса. У кровати — переполненная пепельница; на полу кучей грязная одежда. Гипсовая статуэтка святой Марины в нише у двери; картонная коробка со всякой всячиной. Я заметила

в коробке фотографию — и сразу узнала, хотя она теперь была без рамки. Фотографировала мать в день, когда мне исполнилось семь лет, и на фотографии мы трое — Жан Большой, Адриенна и я — широко улыбались, глядя на большой торт в форме рыбы.

Кто-то вырезал мое лицо из фотографии — неуклюже, ножницами, — так что остались только Жан Большой и Адриенна; она слегка опиралась рукой ему на плечо. Отец улыбался ей через дыру, где раньше была я.

Внезапно снаружи донесся звук. Я быстро смяла фотографию, сунула в карман и застыла, прислушиваясь, горло у меня сжалось. Кто-то тихо прошел под окном спальни, так бесшумно, что грохот моего сердца почти заглушил шаги; человек был босиком либо в эспадрильях.

Не теряя времени, я ринулась в кухню. Нервно поправила волосы, гадая, что он скажет... что я скажу... узнает ли он меня вообще. Десять лет меня изменили: исчезла детская пухлость; короткие волосы отросли до плеч. Я не такая красивая, как мать, хотя кое-кто говорит, что я на нее похожа. Я слишком высокая, двигаюсь не так грациозно, как она, и волосы тусклые, средне-русые. Но глаза под нависшими бровями у меня материнские — странного, холодного серо-зеленого цвета, который иные считают уродливым. Я вдруг пожалела, что не постаралась как-то прихорошиться. Могла бы хоть платье надеть.

Дверь открылась. На пороге стоял человек в тяжелой рыбацкой куртке, в руке — бумажный пакет. Я его сразу узнала, хотя волосы закрывала вязаная шапочка; быстрые, точные движения совершенно не походили на медвежью косолапость отца. Я и опомниться не успела, а он уже прошел мимо меня в дом и закрыл за собой дверь.

Англичанин. Рыжий. Флинн.

— Я кое-что принес, думаю, вам пригодится, — сказал он, бросив пакет на кухонный стол. Потом увидел выражение моего лица: — Что-нибудь случилось?

— Я не вас ждала, — наконец выдавила я из себя. — Вы меня застали врасплох.

Сердце у меня все еще колотилось. Я вцепилась в фотографию в кармане, меня бросало то в жар, то в холод, и я не знала, что он может прочесть у меня на лице.

— Волнуетесь, да? — Флинн открыл пакет, лежащий на столе, и начал вынимать содержимое. — Тут хлеб, молоко, сыр, яйца, кофе, все для завтрака. Вы мне ничего не должны, это все взято на его счет.

Он положил хлеб в полотняный мешочек, висящий с внутренней стороны двери.

— Спасибо. — Я не могла не заметить, что он чувствовал себя в доме моего отца как в своем собственном, уверенно открывал шкафы, раскладывая продукты по местам. — Надеюсь, это вас не очень беспокоило.

— Нисколько. — Он ухмыльнулся. — Я живу в двух минутах отсюда, в старом блокгаузе. Иногда захожу в гости.

Блокгауз стоял на дюнах над Ла Гулю. Официально он, как и полоска земли, на которой он стоял, принадлежал моему отцу. Я помнила этот блокгауз — немецкий бункер, оставшийся с войны, безобразный куб ржавого бетона, полузанесенный песком. Многие годы я верила, что там живут привидения.

— Никогда бы не подумала, что там можно жить, — сказала я.

— Я его обустроил, — бодро отозвался Флинн, убирая молоко в холодильник. — Труднее всего было избавиться от песка Конечно, там еще не все готово: надо выкопать колодец и сделать нормальный водопровод, но все же это прочное, удобное жилье, и я на него не трачу ни гроша — только время, ну и кое-какие мелочи приходится покупать — то, что я не могу найти или сделать сам.

Я подумала о Жане Большом, с его вечными незаконченными проектами. Неудивительно, что этот человек ему понравился. Капуцина говорила, он что-то строит. Теперь я поняла, кто все чинит в отцовском доме. У меня внезапно екнуло сердце.

— Знаете, вам, наверное, не удастся с ним повидаться сегодня, — сказал Флинн. — В последние дни ему не по себе. Его почти никто не видел.

— Спасибо. — Я отвернулась, чтобы спрятаться от его взгляда. — Я знаю своего отца.

Это правда; в ночь святой Марины, после шествия, Жан Большой всегда исчезает в направлении Ла Буша и там жжет свечи на могиле Жана Маленького. Этот ежегодный ритуал неприкосновенен. Ничто не может ему помешать.

— Он даже не знает еще, что вы вернулись, — продолжал Флинн. — Когда узнает, должно быть, решит, что святая услышала все его молитвы сразу.

— Спасибо вам за такие слова, — хладнокровно ответила я. — Но Жан Большой никогда не прикладывался к святой. Ни за кого.

Праздник нашей святой, Марины Морской, справляется раз в году, в августовское полнолуние. Этой ночью святую переносят из деревенского святилища в развалины ее храма на мысе Грино. Работа нелегкая — в святой три фута высоты, она тяжела, поскольку сделана из сплошного куска базальта, так что нужно четверо мужчин, чтобы перенести ее на цоколе к самой воде. Потом все деревенские проходят перед ней вереницей, один за другим; кто-то наклоняется, чтобы древним ритуальным жестом приложиться к голове святой, надеясь вымолить возвращение чего-нибудь (точнее — кого-нибудь) потерянного. Дети украшают святую цветами. Люди бросают скромные дары — еду, цветы, перевязанные ленточкой пакетики каменной соли, даже деньги — в приливные волны. В жаровнях по обе стороны святой горят кедровые и сосновые щепки. Иногда бывают фейерверки — разрываются над равнодушным морем, словно с вызовом.

Я дождалась темноты и вышла из дома. Ветер, который сильнее всего в этой части острова, повернул на юг и выбивал свою «пляску смерти» на окнах и дверях. Я двинулась в путь, плотно запахнув куртку, и сразу увидела отсветы жаровен на дальнем конце мыса. Там когда-то был храм, но в последние сто лет он стоял разрушенный и не использовался. За это время его постепенно присвоило море, так что ныне от храма остался единственный кусок — часть северной стены. Ниша, которую занимала когда-то святая Марина, еще виднеется в выветренных камнях. В башенке над нишей когда-то висел колокол — Маринетта, собственный колокол святой Марины, — но его давно уже нет. Легенда гласит, что он упал в море; другая повествует, как Маринетту украл и переплавил жадный уссинец, а святая прокляла его, и призрачный звон свел с ума. По временам колокол еще звонит — всегда в бурную ночь, всегда предвещая какое-нибудь несчастье. Скептики считают, что звуки, напоминающие колокольный звон, производит южный ветер, продувающий скалы и расщелины мыса Грино. Но саланцам лучше знать; это Маринетта все вызванивает свои предостережения, все приглядывает за саланцами из глубин.

Подходя к мысу, я видела силуэты на освещенной огнями стене старого храма. Много, не меньше тридцати, больше половины деревни. Отец Альбан, островной священник, стоял у воды, в руках — чаша и посох. В отсветах жаровен священник показался мне седым и осунувшимся; когда я

прошла мимо, он коротко поздоровался, нисколько не удивленный. От него слабо пахло рыбой; сутана аккуратно заправлена в рыбацкие сапоги.

Традиционное шествие — странно волнующее зрелище, хоть саланцы и не подозревают, что живописны. Они иной крови, чем мы с матерью, — по большей части невысокие, плотные, с мелкими чертами лица, кельты; черноволосые и голубоглазые. Однако эта потрясающая красота быстро вянет, и к старости они превращаются в горгулий — одеваются в черное по примеру предков, а женщины еще носят белый *quichenotte*. Какой момент ни возьми, три четверти населения деревни, кажется, старше шестидесяти пяти лет.

Я быстро обшарила взглядом лица, все еще надеясь. Старухи в вечном трауре, длинноволосые старики в рыбацких гамашах и черных матерчатых куртках или в рыбацких блузах и сапогах, пара молодых людей, скрасивших костюм рыбака рубашкой кричащего цвета. Отца среди них не было.

Праздничного оживления, памятного мне с детства, в этом году не наблюдалось; цветов вокруг святилища было меньше, а обычных приношений и вовсе почти не видно. Я подумала, что деревенские мрачны, словно жители осажденного города, хотя, быть может, дело лишь в том, что ребенку этот праздник виделся по-иному, чем взрослому человеку, каким я стала.

И вот наконец на дюнах за мысом Грино показался свет фонарей и донесся вой *biniou*; шествие святой Марины началось. Если играть на *biniou* умеючи, звук его немного походит на волынку. Но в этих звуках было что-то кошачье, пронзительный вой, перебивавший даже гул ветра.

Я видела каменную плиту, на которую водрузили статую; четверо мужчин, по одному с каждого угла, несли ее, напрягая силы, по неровной земле. По мере того как шествие приближалось, становились видны детали: горка красных и белых цветов под праздничными юбками святой, бумажные фонарики, свежая позолота на старом камне. Среди саланцев были и дети — лица розовые от ветра, голоса пронзительные от усталости и возбуждения. Я узнала круглолицего Лоло, внука Капуцины, и его приятеля Дамьена — они легко бежали по песку, неся бумажные фонарики, один зеленый, один красный.

Процессия обогнула последнюю дюну. Тут ветер вздул пламя в одном фонарике, и бумага вспыхнула; при свете пламени я узнала отца.

Он был среди тех, кто нес святую, и несколько мгновений я могла разглядывать его, не боясь, что он меня заметит. Свет огня был добр к отцу; в отсветах казалось, что он совсем не изменился, к тому же они придавали

его лицу несвойственную ему живость. Отец был плотнее, чем я его помнила: отяжелел с годами; большие руки напрягались, удерживая плиту горизонтально. Лицо ужасно сосредоточенно. Все остальные мужчины, несшие святую, были моложе; я узнала Алена Геноле и его сына Гилена, оба — рыбаки, привычные к тяжелой работе. Процессия остановилась перед стоящей в ожидании группой жителей деревни, и я с удивлением поняла, что четвертый человек, несущий святую, — Флинн.

— Святая Марина.

Передо мной из толпы вышла женщина и на миг прижалась губами к ногам статуи.

Я ее узнала: Шарлотта Просаж, хозяйка бакалейной лавки, пухленькая, похожая на птичку, с вечно беспокойным видом. Остальные деликатно стояли поодаль; кое-кто держал амулеты и фотографии.

— Святая Марина Помогите нам с землей. Зимние приливы вечно затапливают поля. В прошлый раз у меня три месяца ушло, чтоб их очистить. Ты наша святая. Помогите нам.

Она говорила униженно и в то же время слегка презрительно — непонятно, как ей это удавалось. Взгляд ее тревожно бегал.

Как только Шарлотта закончила молиться, ее сменили другие. Ее муж, Оме, прозванный Картошкой за смешное бесформенное лицо; Илэр, саланский ветеринар, лысый, в круглых очках. Рыбаки, вдовы, девочка-подросток с беспокойными глазами — все говорили одинаково — торопливо бормотали с оттенком обвинения в голосе. Я не могла протолкнуться ближе — это было бы нарушением этикета; лицо Жана Большого вновь скрылось за приливом качающихся вверх-вниз голов.

— Марина Морская, отведи море от моего порога. Пригони макрель ко мне в сети. И пускай этот браконьер Геноле не подходит к моим устричным отмелям.

— Святая Марина, пошли нам удачную ловлю. Пусть мой сын возвращается с моря целым и невредимым.

— Святая Марина, я хочу красное бикини и солнечные очки «Рэй-бан».

Отходя от святой, девушка бросила на меня мимолетный взгляд. Теперь я ее узнала: Мерседес, дочь Шарлотты и Оме, в пору моего отъезда ей было лет семь или восемь, а теперь она стала высокая, длинноногая, с распущенными волосами и красивым капризным ртом. Мы встретились глазами; я улыбнулась, но девушка наградила меня неприязненным взглядом и протолкнулась мимо меня в толпу. Кто-то занял ее место: старуха в платке, лицо умоляюще склонилось к потертой фотографии.

Процессия опять тронулась; под гору, к морю, где святую опустят

ногами в воду — для благословения. Когда я достигла дальнего края толпы, Жан Большой как раз отворачивался; я видела его профиль, покрытый бусинками пота, медальон блеснул на шее — и отец меня опять не заметил. Еще секунда, и стало слишком поздно: четверка носильщиков уже шла по каменистому склону к воде, напрягая силы, и отец Альбан рукой придерживал святую, чтобы она не опрокинулась. Мрачно завывали *binjou*; пламя охватило другой фонарик, потом третий, и черные бабочки запорхали по ветру.

Наконец они дошли до моря; отец Альбан отошел в сторону, и четверо внесли святую Марину в воду. У мыса нет песка, одни камни на дне, свет отражается от воды, и дно коварно. Прилив почти достиг высшей точки. Мне послышалось за воплями *binjou*, что первые порывы ветра загудели в расщелинах, завыл голодный южный ветер, и этот вой тут же усилился, почти звеня, словно колокол под водой...

— Маринетта!

Это закричала старуха в платке, Дезире Бастонне; глаза ее потемнели от страха. Худые нервные руки все еще теребили фотографию, с которой улыбалось мальчишеское лицо, отражая свет фонарей.

— Ничего подобного.

Аристид, муж Дезире, глава рыбацкой династии, носящей ту же фамилию; старик, за семьдесят, усищи патриарха, длинные седые волосы под плоской островной шляпой. Он потерял ногу за много лет до моего рождения, несчастный случай в море, тот же, что унес жизнь его старшего сына. Старик пронзил меня взглядом, когда я проходила мимо. Он тихо продолжил, обращаясь к жене:

— Чтоб я от тебя больше не слышал про злой рок. И убери эту штуку.

Дезире отвела взгляд и сплела пальцы на фотографии. За спиной у нее юноша лет девятнадцати-двадцати глянул на меня с робким любопытством из-за очочков в проволочной оправе. Он, кажется, собирался что-то сказать, но тут Аристид повернулся, и юноша поспешил к нему, бесшумно ступая босиком по камням.

Носильщики уже стояли в воде по грудь, лицом к берегу, и держали святую так, чтобы ее ноги погрузились в воду. Волны бились о плиту, смывая цветы в море. Ален и Гилен были впереди; Флинн с моим отцом — позади, они напрягались, пытаясь противостоять течению. Вода, должно быть, холодная, несмотря на август; у меня лицо занемело от летящей водяной пыли, и я дрожала, потому что ветер насквозь продувал шерстяную куртку. А ведь я стояла на берегу.

Когда все деревенские разошлись по местам, отец Альбан поднял посох

для финального благословения. В эту секунду Жан Большой поднял голову, чтобы посмотреть на священника, и встретился глазами со мной.

На какой-то миг нас с отцом, казалось, окутал кокон тишины. Отец смотрел на меня через просвет между ногами святой, слегка приоткрыв рот, меж бровями пролегла сосредоточенная морщинка. Медальон на шее горел алым пламенем.

У меня что-то встало в горле, какая-то преграда, она не давала дышать. Руки стали словно не мои, чужие.

Мне показалось, что Флинн, стоящий рядом с отцом, пошевелился. Потом их резко ударило сзади волной, и Жан Большой, все еще глядя на меня, пошатнулся в волне, потерял равновесие, вытянул руку, чтобы не упасть... и уронил святую Марину с каменной плиты в глубокие воды у мыса Грино.

Долю секунды она, казалось, чудом держалась на плаву в бурном море; шелковая юбка раздувалась вокруг алым колоколом. Потом святая исчезла.

Жан Большой растерянно стоял, глядя в никуда. Отец Альбан протянул руки, тщетно пытаясь поймать святую. Аристид издал удивленный смешок. Юноша в очках за спиной Аристида сделал шаг к воде и остановился. Мой отец стоял еще секунду, и нелепо праздничный свет фонариков играл у него на лице, лишенном каких-либо иных признаков оживления. Потом он обратился в бегство — выбрался из моря, оскальзываясь на камнях, с усилием выпрямляясь снова, борясь с тяжестью намокшей одежды.

— Отец, — крикнула я, когда он поравнялся со мной, но он исчез, не оглянувшись.

Мне показалось, что, достигнув высшей точки мыса Грино, он издал какой-то звук — долгий прерывистый стон, — но, может, это был ветер.

6

По традиции после церемонии на вершине утеса все идут в бар к Анжело — выпить за святую. На этот раз пошло меньше половины участников; отец Альбан отправился прямо домой, в Ла Уссиньер, даже вино не благословил; дети — и большинство матерей — ушли спать, и собравшимся явно недоставало обычной жизнерадостности.

Конечно, главной причиной была потеря святой Марины. Теперь молитвы останутся не услышаны; прилив будет буйствовать безнаказанно. Горе моего отца не так было важно для деревенских, как их собственные суеверные страхи; мне стало неприятно, что о его бегстве так легко забыли. Оме Картошка предложил немедленно отправиться на поиски пропавшей святой, но прилив был слишком высок, неровное каменистое дно слишком опасно, и экспедицию отложили на утро.

Сама я сразу направилась в отцовский дом и принялась ожидать возвращения Жана Большого. Он не пришел. Наконец, около полуночи, я пошла обратно к Анжело и обнаружила там Капуцину, поправляющую нервы при помощи кофе с колдунками.

При виде меня она встала, глядя сочувственно.

— Его нет, — сказала я, садясь рядом с ней. — Он не приходил домой.

— И не придет. Сейчас-то, — ответила Капуцина.

Люди глядели на меня; я уловила любопытство и еще холодность, от которой я почувствовала себя неуклюжей и чужой. Капуцина закурила сигарету и, выдыхая дым через ноздри, заговорила деловито, хоть и сочувственно:

— Ты всегда была упрямая. Как попроще — тебе не годится, да? Вечно кидаешься напролом. — Она устало улыбнулась. — Мадо, не дыши отцу в затылок. Дай ему шанс.

— Шанс? — Это подошел Аристид Бастонне, с Дезире под руку. — После сегодняшнего вечера, после того, что случилось на мысу, какой у нас может быть шанс?

Я подняла глаза. Старик стоял позади нас, тяжело опираясь на палку, глаза словно кремни. Рядом, чуть в стороне, — юноша в очках, волосы упали на глаза, вид смущенный. Теперь я его узнала — Ксавье, внук Аристида; в давние времена он был одиночка, книги предпочитал играм. Мы с ним почти не разговаривали, хотя нас разделяло лишь несколько лет.

Аристид все еще сверлил меня взглядом.

— Ты зачем вернулась, а? — спросил он. — Тут больше ничего нет.

— Не отвечай, — сказала Капуцина. — Он пьян.

Аристид словно бы не услышал.

— Вы, молодые, все одинаковые! — сказал он. — Вы только тогда возвращаетесь, когда вам чего-нибудь надо!

— Дедушка, — запротестовал Ксавье, кладя руку старику на плечо.

Но Аристид стряхнул ее. Хотя старик был на голову ниже, в гневе он словно стал великаном, глаза горели, как у пророка.

Его жена, стоявшая рядом, беспокойно посмотрела на меня.

— Не сердись, — тихо сказала она. — Святая Марина... наш сын...

— Закрой рот! — рявкнул Аристид и так стремительно повернулся, опираясь на палку, что мог бы упасть, если б не стоявшая рядом Дезире. — Думаешь, ей на это не плевать?

Он вышел, не оборачиваясь, с усилием волоча деревянную ногу по бетонному полу, домочадцы потянулись за ним. Их проводили молчанием.

Капуцина пожала плечами.

— Не обращай на него внимания. Он просто перебрал колдуновки.

— Я не понимаю.

— Нечего тут и понимать, — сказал Матиа Геноле. — Это ж Бастонне. Каменный лоб.

Его слова меня не очень подбодрили; Геноле и Бас-тонне ненавидели друг друга на протяжении многих поколений.

— Бедный Аристид. Обязательно против него кто-нибудь строит козни.

— Я повернулась и увидела, что на барную табуретку рядом со мной взгромоздилась маленькая старушка в черных вдовьих одеждах. Туанетта Просаж, мать Оме, старейшая обитательница деревни. — Если верить Аристиду, кто-то вечно старается его куда-нибудь упрятать, прибрать к рукам его сбережения — э! — Она расхохоталась, словно ворона каркнула. — Все ведь знают, он столько потратил на свой дом — святая Марина! Даже если его сын теперь вернется, ему ничего не достанется — только старая лодка да затопленная полоска земли, на которую и Бриман не польстился!

Я ощупывала письмо, которое так и лежало в кармане.

— Бриман?

— Разумеется, — сказала Туанетта. — Кто еще может себе позволить что-то делать в этих местах?

Согласно Туанетте, у Бримана были планы на Ле Салан. Планы эти были столь же зловещи, сколь и неопределенны. Я узнала традиционную

неприязнь саланцев к преуспевающему уссинцу.

— Ему ничего не стоит сделать в Ле Салане все, что надо, для него это тьфу! — сказала старуха, сопроводив слова выразительным жестом. — У него есть и деньги, и машины. Осушить болота, поставить волноломы на Ла Гулю — за полгода справился бы. И никаких больше паводков. Э! Конечно, все это не за бесплатно, даже не думай. Он не благотворительностью себе капитал сколотил.

— Может, имеет смысл узнать, чего он хочет взамен.

Матиа Геноле кисло посмотрел на меня.

— Что? Продаться уссинцу?

— Не кидайся на девочку, — сказала Капуцина. — Она хочет как лучше.

— Да, но если он может прекратить паводки...

Матиа решительно покачал головой.

— Морю не прикажешь, — сказал он. — Оно делает что хочет. Если святой угодно нас утопить, то так оно и будет.

Я узнала, что деревню постигла череда плохих лет. Несмотря на покровительство святой Марины, приливы с каждой зимой поднимались все выше. В этом году затопило даже Океанскую улицу, впервые после войны. Лето тоже выдалось беспокойным. Ручеек вздулся и залил всю деревню соленой водой на три фута — эти повреждения еще не везде успели починить.

— Если и дальше так будет, мы кончим как старая деревня, — сказал Матиа. — Там все утонуло, даже церковь.

Он набил трубку и утрамбовал табак грязным большим пальцем.

— Только подумать. Церковь. Если святая не поможет, то кто?

— Ну, то был Черный год, — заявила Туанетта Просаж. — Тысяча девятьсот восьмой. В тот год умерла от инфлюэнцы моя сестра Мари-Лора, а я родилась.

Она пронзила воздух кривым пальцем.

— Вот она я, дитя Черного года; никто не думал, что я выживу. А я выжила! Так что если мы хотим пережить и этот год, нечего цапаться между собой, как бакланы.

Она строго посмотрела на Матиа.

— Легко сказать, Туанетта, но раз святая больше за нас не стоит...

— Я не про то говорю, Матиа Геноле, и ты это прекрасно знаешь.

Матиа пожал плечами:

— Не я первый начал. Если Аристид Бастонне хоть один раз признает, что был не прав...

Туанетта сердито повернулась ко мне.

— Видишь, что делается? Взрослые мужчины — старики — ведут себя как дети. Неудивительно, что святая гневается.

Матиа оцетинился.

— Не мои же внуки уронили святую...

Капуцина злобно уставилась на него. Он осекся.

— Извини, — сказал он, обращаясь ко мне. — Жан Большой не виноват. Если кто и виноват, то Аристид. Он не дал своему внуку нести святую, ведь тогда там были бы двое Геноле и только один Бастонне. Он сам, конечно, не мог помочь, с деревянной ногой-то.

Он вздохнул.

— Я же уже говорил. Будет Черный год. Вы же все слышали, как Маринетта звонила.

— Это не Маринетта была, — сказала Капуцина.

Она машинально сложила левой рукой «рожки», чтобы отвести несчастье. Матиас сделал то же.

— Я тебе говорю, этого следовало ожидать, прошло тридцать лет...

Матиас опять сложил «рожки».

— Семьдесят второй. Плохой был год.

Я знала, что плохой: в тот год погибло трое деревенских, в том числе брат отца.

Матиа отхлебнул колдуновки.

— Аристиду однажды показалось, что он нашел Маринетту. Ранней весной, в тот год, когда он потерял ногу. Оказалось, это старая мина, осталась с первой войны. Ирония судьбы, скажешь нет?

Я согласилась. Я слушала вежливо, как могла, хотя девочкой слышала эту старую байку много раз. Ничего не изменилось, говорила я себе с каким-то отчаянием. Даже байки тут такие же старые и потрепанные, как сами островитяне, заезженные, как бусины в четках. Жалость и нетерпение скопились у меня в груди, и я глубоко вздохнула Матиа, ничего не замечая, продолжал рассказывать так, будто история произошла вчера.

— Эта штука лежала, наполовину зарытая в песчаном наносе. Если ударить по ней камнем, она звенела. Тогда все дети сошлись с палками и камнями, колотили по ней, чтоб звенела. Несколько часов спустя прилив забрал ее обратно, и она взорвалась сама по себе примерно в ста метрах от того места, где сейчас Ла Жете. Оглушила всю рыбу оттуда до Ле Салана. Э! — Матиа смачно затянулся из трубки. — Дезире сварила ведро буйабеса, не могла вынести, что столько рыбы пропадает зря. Отравила полдеревни.

Он посмотрел на меня из-под покрасневших век.

— Я так и не решил, что это было — чудо или нет.

Туанетта согласно кивнула.

— Что бы это ни было, с тех пор наша удача сошла на нет. Оливье, сын Аристида, умер в тот год и... ну, ты знаешь... — Она взглянула на меня.

— Жан Маленький.

Туанетта опять кивнула.

— Э! Эти братцы! Слыхала бы ты их в старые времена, — сказала она. — Как сороки, оба два. Болтали без умолку.

Матиа глотнул колдуновки.

— Черный год забрал у Жана Большого сердце, точно так же как забрал дома у Ла Гулю. В тот год приливы, может, были и больше нынешних, но ненамного.

Он мрачно вздохнул — с таким видом, словно ему было приятно пророчить беду, — и ткнул в мою сторону черенком трубки.

— Девочка, я тебя предупредил. Не обживайся здесь. Потому что еще один такой год...

Туанетта встала и поглядела в окно, на небо. За мысом нависал тускло-оранжевый горизонт, уже отрастивший ножки дальних молний.

— Плохие времена наступают, — заметила она без особого беспокойства в голосе. — Совсем как в семьдесят втором.

Я спала в своей старой комнате, и море шумело у меня в ушах. Когда я проснулась, было светло, а отец так и не появился. Я сварила кофе и как могла растянула процесс питья. На душе у меня было несуразно тяжело. Чего я ждала? Что мне заколют упитанного тельца? На меня все еще давила мрачность вчерашнего праздника, а состояние дома только ухудшало дело. Я решила выйти наружу.

Небо было затянуто облаками, с Ла Гулю доносились крики чаек. Должно быть, уже пришло время отлива. Я надела куртку и пошла поглядеть.

Ла Гулю сначала чувствуешь, только потом видишь. При отливе пахнет всегда сильнее — водорослями, рыбой, чужаку этот запах может показаться неприятным, но мне он навеивает сложные ностальгические ассоциации. Подходя со стороны острова, я видела заброшенные солончаки, блестящие в серебристом свете. Старый немецкий бункер, полузарытый в дюну, похож был на детский кубик, брошенный с неба. Из башни шел дым — видно, Флинн, готовил завтрак.

Ла Гулю за прошедшие годы пострадал сильнее всего остального Ле Салана Подбрюшье острова сильно размыло, и памятная мне с детства тропа ушла в море, оставив вместо себя беспорядочный каменный оползень. Ряд древних пляжных веранд, памятных мне с детства, смыло; осталась лишь одна, словно длинноногое насекомое на камнях. Устье ручейка расширилось, хотя кто-то явно пытался его укрепить — кривая грубая стена из камней, скрепленных раствором, стояла с западной стороны, но западный берег ручья со временем сместился и русло оказалось беззащитным перед приливами. Я начала понимать пессимизм Матиа Геноле: случись сильный прилив с ветром в ту же сторону, и вода пойдет вверх по ручью, перельется через дамбу на дорогу. Но главная перемена в Ла Гулю была гораздо красноречивей. Крепостные стены из водорослей, которые всегда были тут, даже летом, теперь исчезли, осталась полоса голых камней, не прикрытых и слоем грязи. Меня это удивило. Неужели ветра переменялись? Как я уже говорила, все всегда возвращается на Ла Гулю. Но сегодня тут не было ничего: ни водорослей, ни обломков, ни даже куска плавника Чайки словно тоже это понимали: гневно крича друг на друга, они кружили в воздухе, но не опускались поесть. В

отдалении виднелись на фоне темной воды кружевные оборки пены вокруг кольца Ла Жете.

Отца на берегу, судя по всему, не было. Я сказала себе, что, может, он пошел на Ла Буш; кладбище было чуть поодаль от деревни, по направлению ручья. Я там бывала, хоть и не часто; на Колдуне забота о мертвецах — мужское дело.

Постепенно я поняла, что рядом кто-то есть. Может, по движениям чаек: сам он совершенно точно не издавал никаких звуков. Я повернулась и увидела Флинна, который стоял в нескольких метрах позади меня и глядел в том же направлении, на море. В руках у него было два садка с омарами, а на плече — спортивная сумка. Садки были полные, и оба помечены красной буквой «Б» — Бастонне.

Браконьерство — единственное преступление, которое на Колдуне воспринимают всерьез. Украсть добычу из чужого садка — не лучше, чем переспать с чужой женой.

Флинн улыбнулся мне без тени раскаяния:

— Удивительно, чего только не приносит море, — бодро заметил он, показывая одним из садков на мыс. — Я думал прийти пораньше и проверить, пока не явится полдеревни искать святую.

— Святую?

Он покачал головой.

— Боюсь, у мыса ее нет. Должно быть, приливом откатило в сторону. Здесь такие сильные течения — вполне возможно, она уже на полпути к Ла Гулю.

Я ничего не сказала. Не знаю насчет святой, но вот чтобы смыть садок для омаров, одного течения недостаточно. Когда я была ребенком, мужчины Геноле и Бастонне, бывало, залегали в дюнах, поджидая друг друга, вооружившись дробовиками с зарядом каменной соли — каждая семья надеялась поймать другую на месте преступления.

— Везет вам, — сказала я.

— Ничего, справляюсь, — сверкнул глазами он.

Но еще мгновение — и он отвлекся, выкапывая пальцами босых ног жемчужинки дикого чеснока, растущие в песке. Набрал несколько штук, он наклонился и положил их в карман. Я на миг уловила острый запах чеснока на фоне соленого моря. Помню, я сама собирала этот чеснок для матери, когда она тушила рыбу.

— Здесь раньше была тропа, — сказала я, глядя на залив. — Я ходила по ней к солончакам. Теперь ее нет.

Флинн кивнул.

— Туанетта Просаж помнит, как здесь была целая улица домов, причал, пляжик, все дела. Все это давным-давно свалилось в море.

— Пляж?

Наверное, в этом что-то есть; когда-то от Ла Гулю до банок Ла Жете при отливе можно было пешком дойти, но за годы они переместились. Я поглядела на единственную пляжную беседку, теперь бесполезную, торчащую высоко над камнями.

— На острове нет ничего постоянного, — ухмыльнулся он.

Я опять глянула на садки. Он прижал омаров, чтобы они не подрались.

— «Элеонору» Геноле нынче ночью сорвало со швартовов, — продолжал Флинн. — Они думают на Бастонне. Но скорее всего, это ветер.

Наверняка Ален Геноле, его сын Гилен и его отец Матиа встали с рассветом и ищут пропавшую «Элеонору». Крепкая плоскодонная рыбацкая лодка, она, может быть, ушла вместе с водой и теперь лежит, невредимая, где-нибудь на мелях, обнажающихся с отливом. Оптимистично, конечно, но попробовать стоит.

— А мой отец знает? — спросила я.

Флинн пожал плечами. По лицу видно было, что он уже считает «Элеонору» потерянной.

— Может, и не слышал. Он ведь не приходил ночевать?

Должно быть, я очень заметно удивилась, потому что он улыбнулся.

— У меня чуткий сон, — сказал он. — Я слышал, как он прошел на Ла Буш.

Воцарилась пауза, во время которой Флинн теребил свои коралловые бусы.

— Вы ведь туда не ходили?

— Нет. Я не очень люблю там бывать. А что?

— Пойдемте, — сказал он, бросая садки и протягивая мне руку. — Я обязательно должен вам кое-что показать.

Человека, впервые пришедшего на Ла Буш, кладбище всегда удивляет. Может, просто размерами: ряды, аллеи надгробий, на всех саланские фамилии, сотни, а может, и тысячи Бастонне, Геноле, Просажей и наших — Праго, все разлеглись на солнце, как усталые купальщики на пляже, забыв свои распри.

Второе, что бросается в глаза, — размер этих надгробий; отполированные ветром, покрытые шрамами великаны из островного гранита, они стоят как обелиски, пришипленные собственным весом к островной земле. В отличие от живых саланцев мертвые весьма

общительны: они ходят друг к другу в гости, так как песок смещается, не ведая о семейной розни. Мы удерживаем своих покойников в рамках при помощи самых тяжелых камней, какие только удастся найти. Надгробие Жана Маленького — массивный кусок розово-серого островного гранита, полностью закрывающий могилу, словно родственники решили, что упрятали покойного недостаточно глубоко.

Всю дорогу до старого кладбища Флинн отказывался отвечать на мои вопросы. Я шла за ним неохотно, осторожно ступая по каменистой земле. Уже показались первые надгробия — они высились над краем прикрывавшей их дюны. Ла Буш всегда служил моему отцу убежищем. Даже сейчас я чувствовала себя виноватой, словно вторгалась в чужую тайну.

— Пойдем на вершину дюны, — сказал Флинн, поняв мою нерешительность. — Оттуда все видно.

Я долго стояла неподвижно на вершине дюны, глядя вниз на Ла Буш.

— И давно оно так? — спросила я наконец.

— После весенних штормов.

Кто-то пытался уберечь могилы. Вдоль дорожки, проходящей ближе всего к ручью, были уложены мешки с песком, а отдельные надгробия окружены горками накопанной земли, но ущерб явно был слишком силен, и эти простые средства оказались бесполезны. Надгробные камни стояли как большие зубы, не прикрытые деснами, — иные все еще вертикально, иные опасно накренились над мелководьем, там, где разлился ручеек, затопив низкие берега. Там и сям над поверхностью воды торчали мертвые цветы в вазах; кроме них, кругом метров на пятьдесят не было ничего, кроме камней и бледного гладкого отражения неба.

Я долго стояла молча и смотрела.

— Он сюда приходит каждый день, уже много недель, — пояснил Флинн. — Я ему объяснял, что это бесполезно. Он не верит.

Теперь я видела могилу Жана Маленького, недалеко от затопленной дорожки. Мой отец убрал ее красными цветами и коралловыми бусами в честь святой Марины. Эти скромные приношения на каменном островке выглядели странно жалкими.

Должно быть, отец принял происшедшее очень близко к сердцу. Он глубоко суеверен, и, пожалуй, даже звон Маринетты не был для него такой значащей вестью, как это.

Я шагнула к дорожке.

— Не стоит, — предостерег Флинн.

Я не обратила внимания. Отец стоял спиной и был так поглощен своим занятием, что не слышал меня, пока я не подошла на расстояние протянутой руки. Флинн остался стоять где стоял, не двигаясь, почти невидимый среди поросших травой дюн, если бы не приглушенное сияние волос цвета осенних листьев.

— Отец, — сказала я, и он повернулся ко мне.

Теперь, при дневном свете, я увидела, насколько постарел Жан Большой. Он показался мне меньше, чем накануне ночью, словно съезжился, и одежда была ему велика; большое лицо в седой стариковской щетине; глаза заплыли кровью. Рукава заляпаны грязью, словно он что-то копал, и рыбацкие сапоги тоже по самые манжеты в грязи. С губы свисала прилипшая сигарета «голуаз».

Я шагнула вперед. Отец молча наблюдал за мной; синие глаза, окруженные вечными морщинками от солнца, сияли. Казалось, он никак не реагировал на мое присутствие; может, он смотрел на рыбацкую лодку, скользящую по воде, или в мыслях рассчитывал расстояние от лодки до причала, чтобы не попасть в волну.

— Отец, — повторила я, ощущая свою улыбку как странную жесткую личину. Я откинула назад волосы, чтобы показать ему лицо. — Это я.

Но Жан Большой ничем не выдал даже, что услышал. Глаза его блестели; но от радости или от гнева — я не могла понять. Он потянулся пальцами к горлу, к подвеске на шее. Нет, не просто подвеска. Медальон. В таких прячут драгоценные памятки.

— Я тебе писала... я думала... может, тебе нужно...

Голос тоже казался чужим. Жан Большой смотрел на меня без всякого выражения. Тишина, словно черные бабочки, окутала все кругом.

— Может, скажешь хоть что-нибудь?

Тишина. Взмах крыльев.

— Ну?

Тишина. У него за спиной на дюне стоит Флинн, наблюдает.

— Что? — не отставала я. Теперь бабочки порхали у меня в голосе, и он дрожал. Мне трудно было дышать. — Я вернулась. Может, ты все-таки хоть что-нибудь скажешь?

Мне на мгновение показалось, что в глазах у него что-то мелькнуло. Может, я это выдумала. Но как бы то ни было, один миг — и все исчезло. Потом, не успела я и опомниться, как отец повернулся и, не сказав ни слова, направился обратно к дюнам.

Этого следовало ожидать. В каком-то смысле я этого и ожидала, ведь он меня отверг уже много лет назад. Но все равно мне было горько: мама умерла, Адриенна уехала — уж наверное, я могла рассчитывать на какой-нибудь ответ.

Может, будь я мальчиком, все было бы по-другому. Жан Большой, как и большинство мужчин на острове, хотел сыновей: чтобы строили лодки вместе с ним, ухаживали за могилами предков. Дочери и все связанные с ними расходы Жану Прато были ни к чему. Первенец, оказавшийся дочерью, — это уже плохо; вторая дочь, четыре года спустя, окончательно убила отношения между родителями. Я росла, пытаюсь искупить разочарование, вызванное моим появлением на свет: коротко стриглась, не водилась с другими девочками — все старалась заслужить его одобрение. Это работало до определенной степени: иногда он разрешал мне поехать с ним на ловлю морских окуней или брал с собой на устричные отмели, вооружившись корзинами и вилами. Эти минуты были для меня драгоценны; они случались урывками, когда мать и Адриенна уезжали в Ла Уссиньер; я хранила их, втайне перебирала, наслаждалась ими.

В такие моменты он говорил со мной, хотя с моей матерью в то время уже не разговаривал. Показывал мне чайчьи гнезда и песчаные отмели у Ла Жете, куда год за годом возвращались тюлени. Порой мы находили разные штуки, выброшенные прибоем, и приносили домой. Очень редко он пересказывал мне островные предания и поговорки.

— Сочувствую. — Это был Флинн. Он, должно быть, подошел бесшумно, пока я стояла у могилы Жана Маленького.

Я кивнула. Горло болело, словно я только что кричала.

— Он, по правде сказать, вообще ни с кем не разговаривает, — сказал Флинн. — Объясняется знаками по большей части. Со мной он говорил, наверное, раз десять за все время, что я на острове.

На воде у самой дорожки плавал красный цветок. Я смотрела на него, и меня мутило.

— С вами, значит, он разговаривает, — сказала я.

— Иногда.

Я чувствовала, он стоит рядом, расстроенный, с утешением наготове, и на миг мне больше всего на свете захотелось это утешение принять. Я знала, что стоит повернуться к нему — он был как раз такого роста, чтобы

положить голову ему на плечо, — он будет пахнуть озоном, и морем, и небеленой шерстью от свитера. А под свитером он теплый, я знала.

— Мадо, я тебе очень сочувствую...

Я смотрела прямо перед собой, мимо него, без всякого выражения на лице, его жалость была ненавистна мне, а моя собственная слабость — еще более ненавистна.

— Старый козел, — сказала я. — Он опять взялся за свое.

Я втянула воздух — долгими неровными толчками.

— Все как всегда.

Флинн с беспокойством смотрел на меня.

— Вам плохо?

— Я в порядке.

Он проводил меня до дома, подобрав по пути свою сумку и садки с омарами. Я почти все время молчала; он без конца болтал, я не разбирала слов, но была ему смутно благодарна. Временами я ощупывала письмо в кармане.

— Куда вы теперь? — спросил Флинн, когда мы вышли на тропу, ведущую в Ле Салан.

Я рассказала ему про свою парижскую квартирку. С фасада — ресторанчик. Кафе, куда мы, бывало, ходили летними вечерами. Липовая аллея.

— Звучит приятно. Может, я там поселюсь когда-нибудь.

Я поглядела на него.

— А я думала, вам нравится на острове.

— Может быть, но я не собираюсь тут оставаться. Зарывшись в песок, денег не зарабатываешь.

— Заработать денег? Вы за этим сюда приехали?

— Конечно. Как и все остальные, скажете — нет? — Он игриво ухмыльнулся.

Воцарилась тишина. Мы шли молча, он — бесшумно, я — едва слышно хрустя подошвами ботинок по обломкам раковин, устилающим дюну.

— А вы по своему дому никогда не тоскуете? — спросила я наконец.

— Боже мой, нет, конечно! — Он поморщился. — С какой стати? Там ничего нет.

— А ваши родители?

Он пожал плечами.

— Мать всю жизнь работала на износ, — сказал он. — Отец... с нами не жил. А брат...

— У вас есть брат?

— Да. Джон.

Кажется, ему не хотелось обсуждать брата, но это лишь подстегнуло мое любопытство.

— Вы с ним не ладите?

— Скажем так: мы — совсем разные люди. — Он ухмыльнулся. — Родственники. Кто их только выдумал, а?

Я подумала: может, и Жан Большой того же мнения. Может, потому и вычеркнул меня из своей жизни.

— Я не могу его бросить просто так, — тихо сказала я.

— Конечно можете. Ясно же, он не хочет...

— Какая разница, чего он хочет? Вы ведь видели шлюпочную мастерскую? Видели дом? Откуда он берет деньги? И что будет, когда эти деньги кончатся?

В Ле Салане нет банков. Островная пословица гласит: «Банк дает зонтик займы до первого дождя». Островитяне хранят свои состояния в обувных коробках и под раковиной на кухне. Деньги обычно занимают частным порядком. Я не могла себе представить, чтобы Жан Большой брал у кого-то займы; еще меньше мне верилось, что у него под половицей кубышка с деньгами.

— Он справится, — сказал Флинн. — У него есть друзья. Они за ним присмотрят.

Я попыталась представить себе, как за моим отцом ухаживает Оме Картошка, или Матиа, или Аристид. Вместо этого мне вспомнилось лицо Жана Большого в день нашего отъезда: пустой взгляд, который с равным успехом мог означать отчаяние, равнодушие или что-нибудь совершенно другое; едва заметный кивок, означавший, что отец принял происходящее к сведению, прежде чем отвернуться. Надо строить лодки. Нет времени на долгие проводы. Кричу из окна такси: «Я буду писать! Честное слово!» Мать с трудом ворочает чемоданы, лицо скривилось под бременем невысказанных слов.

Мы уже приблизились к дому. Я видела красные черепицы крыши над дюной. Из трубы вилось тонкое волоконец дыма. Флинн шел рядом, склонив голову, молча, спрятав выражение лица за водопадом волос.

Вдруг он остановился. В доме кто-то был; кто-то стоял у окна кухни. Я не могла разглядеть лица, но грузный силуэт ни с чем не спутать; крупное, медвежье тело, лицо прижато к стеклу.

— Жан Большой? — прошептала я.

Он покачал головой, взгляд его был насторожен.

— Бриман.

Он не изменился. Постарел. Поседел. Раздался в ширину, но на нем все те же памятные мне с детства эспадрильи и рыбацкая кепка, толстые пальцы тяжелы от колец, на рубашке потные круги под мышками, хотя сегодня прохладно. Он стоял у окна, когда я вошла, и держал в одной руке кружку, из которой поднимался пар. В комнате отчетливо пахло кофе с арманьяком.

— А, малютка Мадо.

Голос его завораживал. Роскошный, переливчатый; открытая, заразительная улыбка. Усы, хоть и поседели, стали еще пышнее прежнего, словно у водевильного комика или коммунистического тирана. Он сделал три быстрых шага вперед и обхватил меня густо-веснушчатými руками:

— Мадо, ну до чего же, до чего же я рад тебя опять видеть!

Объятия у него тоже были массивные, как и все остальное.

— Я сварил кофе. Надеюсь, ты не возражаешь. Мы же все одна семья, верно? — (Я полузадушенно кивнула.) — Как Адриенна? А дети? Мой племянник не очень-то часто пишет.

— Моя сестра тоже.

Он в ответ засмеялся — густым, как кофе, смехом.

— Э, молодежь! Но ты-то, ты! Дай я на тебя погляжу. Ты выросла! Гляжу и чувствую себя столетним стариком. Но оно того стоит, чтобы поглядеть на твое лицо, Мадо. Ты такая красивая.

Вот про это я почти забыла — про его обаяние. Он умел заставить врасплох, обезоружить. За его экзотическим видом чувствовался ум — глаза всезнающие, грифельного цвета, почти черные. Да, в детстве он мне нравился. И до сих пор нравится.

— Что, деревня все еще под водой? Плохо дело. — Он испустил мощный вздох. — Должно быть, ты уже видела, как сильно все изменилось. Не всякому такая жизнь подходит, верно? На острове-то? Молодежи хочется веселиться, а на нашем бедном старом острове негде.

Я помнила про Флинна — он все еще стоял за дверью со своими садками. Ему, видно, не хотелось входить, хотя я чувствовала его любопытство и нежелание оставлять меня наедине с Бриманом.

— Заходите, — сказала я Флинну. — Выпейте кофе.

Флинн покачал головой.

— До свидания.

Бриман едва глянул на уходящего Флинна, опять повернулся ко мне и дружески обхватил рукой за плечи.

— Ну расскажи мне про себя все-все-все.

— Мсье Бриман...

— Мадо, зови меня Клод, я тебя очень прошу. — Его необъятное дружелюбие, под стать какому-нибудь огромному Санта-Клаусу, слегка подавляло. — Что ж ты меня не предупредила, что приедешь? Я уж почти и надеяться перестал...

— Я не могла раньше приехать. Мама болела.

— Я знаю. — Он налил мне стаканчик кофе. — Бедная ты, бедная. А теперь еще с Жаном Большим беда...

Он уселся на стул, заскрипевший под его весом, и похлопал по соседнему стулу.

— Я ужасно рад, что ты приехала, маленькая Мадо, — бесхитростно сказал он. — Я рад, что ты мне доверилась.

Первые годы после отъезда с Колдуна были тяжелее всего. Хорошо, что мы были сильны. Мать из романтической натуры превратилась в жесткого, практичного человека, боялась потратить лишний грош — и это нам сильно помогло. Мать, не умеющая делать никакой квалифицированной работы, устроилась уборщицей. Все равно мы жили очень бедно.

Жан Большой нам денег не присылал. Матери этот факт доставлял горькое удовлетворение — она чувствовала, что ее это оправдывает. В школе, большом парижском лицее, я ощущала себя еще более чужой из-за поношенной одежды.

Но Бриман нам в какой-то степени помогал. Что ни говори, мы теперь были родня, хоть и с другой фамилией. Денег он не слал, но на Рождество приходили посылки с одеждой, и книгами, и красками для меня — когда он узнал про мое увлечение. В школе я находила утешение в кабинете рисования — он чем-то напоминал отцовскую шлюпочную мастерскую, где вечно что-нибудь деловито шумело под сурдинку и пахло свежими опилками. Я стала с нетерпением ждать уроков рисования. У меня оказались хорошие способности к этому предмету. Я рисовала пляжи, рыбацкие лодки, низкие беленые домики под нависшим небом. Мать, конечно, эти рисунки ненавидела. Потом они стали нашим основным источником дохода, но она не перестала ненавидеть то, что было на них изображено. Она подозревала, хотя никогда не произносила вслух, что я таким образом нарушаю наш с ней договор.

Когда я училась в колледже, Бриман продолжал писать. Не моей матери

— она погрузилась в Париж, в его блеск и безвкусицу, и не желала, чтобы ей напоминали про Колдун, — но мне. Письма были недлинные, но у меня ничего не было, кроме них, и я жадно поглощала каждую крупичку новостей. Я решила, что Бриман не заслужил репутации, которой пользовался у саланцев, что виной тому их мелочность, предрассудки и зависть. Больше никто не поддерживал с нами отношений; он один хоть как-то помогал. Иногда я ловила себя на мысли: вот бы он, а не Жан Большой, оказался моим настоящим отцом.

Потом, год назад, начались намеки, что в Ле Салане что-то неладно. Сначала Бриман вскользь упомянул, что уже довольно давно не видел Жана Большого. Дальше — больше. Отец всегда был эксцентричен, даже во времена моего детства, но теперь его эксцентричность усиливалась. Ходили слухи, что он очень болен, но он отказался повидать доктора. Бриман беспокоился.

Я не отвечала на его письма. Все мое время уже занимал уход за матерью. Ее эмфизема, которая стала хуже от грязного городского воздуха, резко усилилась, и врач пытался убедить маму переехать. Куда-нибудь к морю, говорил он, где воздух чище. Но мать отказалась его слушать. Она обожала Париж. Она любила магазины, кино, кафе. Она странным образом не завидовала богачкам, чьи квартиры убирала, вчуже радуясь их одежде, их мебели, их жизни. Я понимала, что такой жизни она хочет для меня.

Бриман продолжал писать. Он все беспокоился. Он написал Адриенне, но ответа не было. Я могла в это поверить: когда маму положили в больницу, я позвонила сестре, но к телефону подошел Марэн и сказал, что Адриенна опять беременна и ехать никуда не может. Через четыре дня мама умерла, и Адриенна, вся в слезах, сказала мне по телефону, что доктор запретил ей утомляться.

Я пила кофе долго. Бриман терпеливо ждал, обняв меня большой рукой за плечи.

— Я знаю, Мадо, тебе нелегко пришлось.

Я вытерла глаза.

— Этого следовало ожидать.

— Ты должна была прийти ко мне.

Он огляделся; я поняла, что он заметил грязный пол, гору посуды, невскрытые письма, запущенность.

— Я хотела увидеть своими глазами.

— Я понимаю. — Бриман кивнул. — Он твой отец. Семья для человека — это всё.

Он встал, словно внезапно заполнив собой комнату, и всунул руки в карманы.

— Ты знаешь, у меня был сын. Моя жена его увезла, когда ему было три месяца. Я ждал тридцать лет и все надеялся... знал... что в один прекрасный день он вернется домой.

Я кивнула. Я знала эту историю. Саланцы, конечно, считали, что виноват сам Бриман.

Он покачал головой и внезапно показался стариком, словно отбросил всякий наигрыш.

— Глупо, правда? Как мы себя обманываем. Какие шипы вонзаем друг в друга.

Он поглядел на меня.

— Мадо, Жан Большой тебя любит. По-своему.

Я подумала о фотографии с моего дня рождения и об отцовской руке, лежащей на плече Адриенны. Бриман осторожно взял меня за руку.

— Я мог бы помочь тебе позаботиться об отце, — сказал он.

— Я знаю.

— Я могу все устроить. Там очень хорошо, Мадо. В «Иммортелях». Медицинское обслуживание не хуже, чем в больнице; доктор с материка; комнаты большие; и он сможет видаться с друзьями так часто, как только пожелает.

Я заколебалась. Сестра Тереза и сестра Экстаза уже рассказали мне про то, как живут у Бримана пенсионеры. Судя по всему, это должно было стоить кучу денег.

Он покачал головой, словно отметая мои сомнения.

— Я все устрою. Продажа земли покроет все расходы. Может, еще и с лихвой. Я понимаю, Мадо, тебе это не по душе. Но может быть, так будет лучше.

Я обещала подумать. Бриман и раньше намекал на это в письмах, но открыто заговорил впервые. Мне казалось, что это стоящее предложение: Жан Большой в отличие от мамы никогда не верил в медицинскую страховку, а я не могла оплачивать уход за ним из своих скудных заработков. Несомненно, он нуждается в помощи. А у меня своя жизнь, в Париже, куда я могу — нет, должна — вернуться. Десять лет я идеализировала Ле Салан, воображая себя изгнанницей, ради места, которого уже нигде не было — а может, и вообще никогда не было, — кроме как в моей памяти. Но каковы бы ни были мои мечты, столкновения с суровой реальностью им не пережить. Мой дом уже не здесь. Слишком многое изменилось.

На выходе из дома мне попались Ален Геноле и его сын Гилен — они шли навстречу мне, из деревни. Оба запыхались. Они были очень похожи, но Ален — в традиционной парусиновой *vareuse*, а Гилен — в ядовито-желтой футболке, неоново светившейся на фоне загорелой кожи. Завидев меня, он ухмыльнулся и рывками побежал вверх по большой дюне.

— Мадам Жан Большой, — выдохнул он, останавливаясь, чтобы перевести дух. — Дайте нам на время ваш прицеп из шлюпочной мастерской. Это очень срочно.

Сначала я решила, что он меня не узнал. Это Гилен Геноле, он двумя годами старше меня; мы играли вместе детьми. Неужели он действительно назвал меня мадам Жан Большой?

Ален поздоровался кивком. Он тоже беспокоился, но явно не считал дело настолько важным, чтобы из-за него бегать.

— «Элеонора», — крикнул он из-за дюны. — Мы ее нашли в Ла Уссиньере, сразу за «Иммортелями». Мы сейчас идем туда, забирать ее, но нам нужно взять прицеп у вашего отца. Он дома?

Я покачала головой.

— Я не знаю, где он.

Гилен явно забеспокоился.

— Дело неотложное, — сказал он. — Нам придется забрать прицеп так. Может, вы... скажете ему, для чего это...

— Конечно берите, — сказала я. — Я пойду с вами.

Тут Ален, наконец поравнявшийся с нами, посмотрел на меня с сомнением.

— Не думаю...

— Это лодка работы моего отца, — твердо сказала я. — Он ее построил много лет назад, еще до моего рождения. Он мне никогда не простит, если я не помогу. Вы знаете, как он ее любит.

Он любил ее по-настоящему; это я помнила. «Элеонора» была первой из его дам, не самая красивая, но для него — дороже всех. Одна мысль о том, что лодка может погибнуть, приводила меня в отчаяние.

Ален пожал плечами. Для него лодка была средством к существованию. Где под угрозой деньги, там нет места сантиментам. Гилен побежал за прицепом, а мне вдруг стало легче — словно эта чрезвычайная ситуация означала для меня отсрочку приговора.

— Может, вам не стоит беспокоиться? — спросил Ален, пока его сын привязывал трос к старой машине. — Там ничего особенно интересного не будет.

Меня обидело его неявное предположение.

— Я хочу помочь, — ответила я.

«Элеонора» застряла на камнях в Ла Уссиньере, метрах в пятистах от берега. Приливным течением ее заклинило между камнями, и хотя вода была все еще не очень высока, дул резкий ветер, и с каждой волной поврежденный корпус вбивало в камни. Кучка саланцев — в том числе Аристид, его внук Ксавье, Матиа, Капуцина и Лоло — наблюдали за происходящим с берега. Я жадно оглядела лица — отца среди них не было. Но я заметила Флинна, в рыбацких сапогах и свитере, со спортивной сумкой через плечо. Скоро к ним подошел Дамьен, приятель Лоло; теперь, видя его рядом с Аленом и Гиленом, я улавливала семейные черты Геноле.

— Держись подальше, Дамьен, — сказал Ален, завидев его. — Нечего тебе путаться под ногами.

Дамьен мрачно посмотрел на отца и сел на камень. Через несколько секунд я опять взглянула на него и увидела, что он зажег сигарету и демонстративно курит, повернувшись спиной. Ален, казалось, ничего не замечал — он не сводил глаз с «Элеоноры».

Я села рядом с мальчиком. Какое-то время он меня игнорировал. Потом любопытство взяло верх, и он повернулся ко мне.

— Я слышал, вы жили в Париже, — тихо сказал он. — Какой он?

— Как любой другой большой город, — ответила я. — Огромный, шумный, толпы народу.

Он ненадолго расстроился. Потом просветлел:

— Может, это европейские города такие. В Америке не так. У моего брата есть американская футболка. Вот, она сейчас на нем надета.

Я улыбнулась, отводя взгляд от люминесцирующего торса Гиленна.

— В Америке люди едят одни гамбургеры, — сказал Ален, слушавший наш разговор, — и все девушки там толстые.

Мальчик возмутился:

— Ты-то почему знаешь? Ты там сроду не бывал.

— Ты тоже.

На близлежащем молу, прикрывающем бухточку, стояло несколько уссинцев — они тоже смотрели на поврежденную лодку. Жожо-Чайка, старый уссинец с повадками моряка и сальным взглядом, приветственно

махнул нам.

— Посмотреть пришли? — ухмыльнулся он.

— Пшел вон, Жожо, — огрызнулся Ален. — Тебе тут нечего делать, это мужская работа.

— Работенка еще та, снимать ее с места, — расхохотался Жожо. — Вода поднимается, и ветер с моря. Я не удивлюсь, если что-нибудь пойдет не так.

— Не обращайтесь на него внимания, — посоветовала Капуцина. — Он так болтает с тех самых пор, как мы пришли.

Жожо явно обиделся.

— Я могу снять ее с камней и довести до берега, — предложил он. — Моя «Мари-Жозеф» ее запросто утащит. А дальше можно привести тягач на берег, проще простого. И погрузить тоже просто.

— Сколько? — подозрительно спросил Ален.

— Ну, во-первых, моя лодка Во-вторых, работа. Доступ... Скажем, тысячу.

— Доступ? — Ален был в ярости. — Куда?

Жожо ухмыльнулся.

— На «Иммортели», конечно. Это частный пляж. Распоряжение мсье Бримана.

— Частный пляж! — Ален поглядел на «Элеонору», и лицо у него сделалось злое. — С каких это пор?

Жожо осторожно закурил огрызок «житан».

— Только для постояльцев отеля, — сказал он. — Нечего всякому сброду тут ошиваться.

Он врал, и все это знали. Я видела, что Ален мысленно прикидывает, нельзя ли снять «Элеонору» вручную.

Я сердито глянула на Жожо.

— Я очень хорошо знаю мсье Бримана, — сказала я ему. — Не думаю, что он станет брать деньги за вход на пляж.

Жожо ухмыльнулся.

— Пойдите да спросите, — предложил он. — Сами увидите, что он ответит. Торопиться вам некуда: «Элеонора» никуда не денется.

Ален опять поглядел на «Элеонору».

— Мы справимся? — спросил он Гилена.

Гилен пожал плечами.

— Рыжий, мы справимся?

Флинн, который на время этого разговора удалился в направлении мола со своей спортивной сумкой, теперь вернулся без нее. Он поглядел на лодку

и покачал головой.

— Не думаю, — сказал он. — Без «Мари-Жозеф» — вряд ли. Лучше сделать, как он говорит, пока прилив не поднялся выше.

«Элеонора» была тяжелая — типичная островная устричная лодка, с низким носом и освинцованным дном. Прилив бьет ей в корму, и скоро станет почти невозможно снять ее с камней. А если ждать, пока начнется отлив — десять часов или больше, — за это время лодку побьет еще сильнее. Торжествующая ухмылка Жожо стала шире.

— Я думаю, у нас может получиться, — сказала я. — Надо будет развернуть ее носом в ту сторону, по ветру. Мы затащим ее на мелководье, а дальше потянем тягачом.

Ален поглядел на меня, потом на других саланцев. Я видела, он мысленно прикидывает наши силы, считает, сколько рук понадобится на эту работу. Я оглянулась, надеясь увидеть среди остальных лицо Жана Большого, но его не было.

— Я — за, — сказала Капуцина.

— Я тоже, — сказал Дамьен.

Ален нахмурился.

— Вы, мальчишки, держитесь подальше, — приказал он. — Еще поломаете себе чего-нибудь.

Он опять поглядел на меня, потом на остальных. Матиа был слишком стар для дела, но Флинн, Гилен, Капуцина и я — может, мы и справимся. Аристид презрительно держался поодаль, а вот Ксавье явно жалел, что не может к нам присоединиться.

Жожо ждал, ухмыляясь.

— Ну, что скажете?

Старого моряка, видно, очень веселило, что Ален прислушивается к мнению женщины.

— Попробуем, — настаивала я. — Мы ничего не теряем.

Но Ален все колебался.

— Она права, — нетерпеливо сказал Гилен. — Чего вы? Вдруг одряхлели или что? У Мадо больше запала, чем у всех вас!

— Ладно, — наконец согласился Ален. — Попытка не пытка.

Флинн взглянул на меня.

— Кажется, вы обзавелись поклонником.

Он ухмыльнулся и легко спрыгнул на мокрый песок.

Уже почти свечерело, и прилив прошел три четверти до высшей точки, когда мы наконец признали свое поражение, а Жожо к тому времени вздул

цену еще на тысячу франков. Мы замерзли, не чувствовали рук и ног, совершенно вымотались. Флинн держался уже не как на увеселительной прогулке, а меня чуть не раздавило между «Элеонорой» и скалой, пока мы силились развернуть лодку. Неожиданная приливная волна, нос лодки резко вильнул в сторону вместе с ветром — и корпус «Элеоноры» больно до тошноты въехал мне в плечо, отшвырнул в сторону и хлестнул по лицу черным флагом воды. Я ощутила спиной скалу и на протяжении панической секунды была уверена, что сейчас меня придавит или еще похуже. От страха — и от облегчения, когда оказалось, что я чудом осталась невредима, — я разозлилась. Я повернулась к Флинну, который стоял как раз позади меня.

— Вы должны были держать нос! Какого черта?!

Флинн бросил концы, которыми мы крепили лодку. В гаснущем свете лицо его казалось расплывчатым пятном. Он полуотвернулся от меня, и я услышала, как он ругается — удивительно умело для иностранца.

Послышался длительный визг — это корпус «Элеоноры» в очередной раз переместился на камнях, потом накренился и уселся на прежнее место. Уссинцы на молу издевательски закричали «ура!».

Ален злобно крикнул Жожо через водное пространство:

— Ладно, твоя взяла. Давай сюда «Мари-Жозеф».

Я поглядела на него, и он покачал головой.

— Без толку. У нас ничего не выйдет. Пора кончать.

Жожо ухмыльнулся. Все это время он глазел на нас, безостановочно курил свои окурки, зажигая один от другого, и молчал. Я, сердитая, начала пробираться к берегу. Остальные последовали за мной, с трудом продвигаясь в мокрой одежде. Флинн шел ближе всех — голова опущена, руки спрятаны под мышками.

— У нас почти получилось, — сказала я. — Могло получиться. Если б только мы удержали этот чертов нос...

Флинн пробормотал что-то невнятное.

— Чего-чего?

Он вздохнул.

— Когда закончите меня ругать, пожалуйста, приведите тягач. Он понадобится на «Иммортелях».

— Я думаю, что прямо сейчас мы точно никуда не поедем.

От разочарования у меня в голосе появилась резкость; Ален, слышав это, на мгновение поднял голову, потом отвел взгляд. Кучка зевак-уссинцев разразилась издевательскими аплодисментами. Саланцы были мрачны. Аристид, наблюдавший с мола, неодобрительно поглядел на меня. Ксавье,

который во все время нашей спасательной операции стоял рядом с дедом, неловко улыбнулся мне поверх проволочной оправы очков.

— Надеюсь, ты считаешь, что с пользой провела время, — сказал Аристид.

— У нас могло получиться, — тихо ответила я.

— Пока ты тут доказывала, что не хуже всех остальных, Геноле лишился лодки.

— Я хотя бы попыталась, — ответила я. — Если бы нас было хоть на одного человека больше, мы могли бы ее спасти.

Старик пожал плечами.

— Чего это мы будем помогать Геноле?

Тяжело опираясь на палку, он пошел обратно по молу, а Ксавье молча последовал за ним.

Понадобилось еще два часа, чтобы вытащить «Элеонору» на берег, и еще полчаса у нас ушло, чтобы поднять ее с мокрого песка и погрузить на прицеп. К этому времени прилив уже достиг высшей точки, и спускалась ночь. Жожо курил свои бычки и жевал высыпавшийся из них табак, время от времени сплевывая табачную жвачку на песок меж ногами. По настоянию Алена я наблюдала небыстрый процесс спасения лодки с безопасной точки, выше линии прилива, и ждала, пока в ушибленной руке восстановится чувствительность.

Наконец работа была сделана, и все присели отдохнуть. Флинн сел на сухой песок, прислонившись спиной к колесу тягача. Капуцина и Ален закурили «житан». С этого конца острова хорошо виден был материк, залитый оранжевым светом. Время от времени начинал мигать выговаривая несложное послание, *balise* — предупреждающий бакен. Холодное небо было фиолетовое, с млечным оттенком по краям, и меж облаков как раз начали показываться звезды. Ветер с моря словно ножом резал тело через мокрую одежду, и меня била дрожь. У Флинна кровоточили руки. Даже при тусклом свете я видела места, где мокрые веревки врезались ему в ладони. Мне стало немножко стыдно, что я на него накричала.

Подошел Гилен и встал рядом. Я слышала, как он дышит рядом с моей шеей.

— Вы как? Вас очень здорово лодкой треснуло.

— Все в порядке.

— Вам холодно. Вы дрожите. Давайте я вам принесу...

— Не надо. Все в порядке.

Наверно, я зря на него огрызнулась. Он хотел мне помочь. Но у него в

голосе было что-то такое... ужаснувшая меня снисходительность. Мне показалось, что Флинн в тени колеса тихо засмеялся.

Я была так уверена, что Жан Большой в конце концов объявится. Теперь, когда прошло уже столько времени, я наконец задумалась, почему он не пришел. Он же не мог не знать про «Элеонору». Я вытерла глаза, меня одолело уныние.

Гилен все смотрел на меня поверх сигареты. В полутьме его люминесцентная футболка зловеще светилась.

— Вы уверены, что с вами все в порядке?

Я мрачно улыбнулась.

— Простите. Мы должны были спасти «Элеонору». Если б только было побольше народу. — Я потерла руку об руку, чтоб согреться. — Я думаю, Ксавье помог бы нам, если бы Аристид тут не было. Заметно было, что ему хотелось помочь.

Гилен вздохнул.

— Мы с Ксавье всегда нормально ладили, — сказал он. — Он, конечно, Бастонне. Но тогда это как-то не имело значения. А теперь Аристид не спускает с него глаз, и...

— Ужасный старик. Что с ним такое?

— Я думаю, он боится, — ответил Гилен. — У него никого больше нет, кроме Ксавье. Аристид хочет, чтобы Ксавье остался на острове и женился на Мерседес Просаж.

— Мерседес? Она хорошенькая.

— Да, ничего.

Было темно, но голос Гилен прозвучал так, что я была уверена — он покраснел.

Мы наблюдали, как темнеет небо. Гилен докурил свою сигарету, пока Ален и Матиа осматривали «Элеонору», определяя размеры ущерба. Он превзошел наши худшие предположения. У «Элеоноры», как у всех устричных лодок, был небольшой киль, ведь она предназначалась для устричных отмелей, а не для ловли на глубине. Камни полностью сорвали с лодки дно. Руль разлетелся на куски; красный коралл, которым отец украшал на счастье все свои лодки, еще болтался на остатках мачты; мотор исчез. Мужчины вытащили лодку на дорогу, и я вышла следом, обессиленная и больная. Выйдя на дорогу, я заметила, что старый волнолом в дальнем конце пляжа укрепили каменными блоками, и получилась широкая дамба, достигающая Ла Жете.

— Это новое, верно? — спросила я.

Гилен кивнул.

— Это Бриман сделал. Последние года два были сильные приливы. Смывали песок. Эти камни его хоть как-то прикрывают.

— Вот что надо бы сделать в Ле Салане, — заметила я, думая про разоренный Ла Гулю.

Жожо ухмыльнулся.

— Пойди поговори с Бриманом. Он точно знает, что делать.

— Как будто его кто спрашивает, — пробормотал Гилен.

— Вот ведь упертые, — сказал Жожо. — Скорее готовы дожидаться, пока всю деревню смоем, чем заплатить за работу сколько надо.

Ален взглянул на него. Ухмылка Жожо на миг разъехалась еще шире, обнажив пеньки зубов.

— Я всегда говорил твоему отцу, что ему нужна страховка, — заметил он. — Да только он меня не слушал.

Он взглянул на «Элеонору».

— А эту посудину все равно пора на слом. Заведи себе что-нибудь новое. Посовременнее.

— Нет, она еще годится, — ответил Алан, не клюнув на приманку. — Эти старые лодки практически невозможно уничтожить. На самом деле она в лучшем состоянии, чем кажется. Надо кое-где подлатать, поставить новый мотор...

Жожо засмеялся и покачал головой.

— Валяй, латай ее. Это тебе обойдется вдесятеро дороже самой лодки. А потом что? Знаешь, сколько я зарабатываю за день в сезон катаньем туристов?

Гилен нехорошо посмотрел на него.

— Может, это ты спер двигатель, — вызывающе сказал он. — Продашь его во время очередной поездки на побережье. Ты вечно что-нибудь продаешь. И никто не задает вопросов.

Жожо оскалился.

— Я вижу, вы, Геноле, по-прежнему мастера болтать-сказал он. — Твой дед точно такой же. Чем там кончилась ваша тяжба с Бастонне? Сколько вы отсудили, а? А во сколько она тебе обошлась, что скажешь? А твоему отцу? А брату?

Гилен, обескураженный, опустил глаза. В Ле Салане все знали, что тяжба между Геноле и Бастонне шла двадцать лет и разорила обе стороны. Причина — почти забытый спор из-за устричной отмели на Ла Жете — теперь представляла лишь гипотетический интерес, так как спорную территорию давно поглотили блуждающие песчаные банки, но вражда

сторон так и не утихла, переходя из поколения в поколение, словно взамен промотанного наследства.

— Ваш двигатель, скорее всего, вынесет на берег где-нибудь вон там, — сказал Жожо, лениво махнув рукой в сторону Ла Жете. — Или это, или вы найдете его на Ла Гулю, только копайте глубже.

Он сплюнул на песок мокрую табачную жвачку.

— Я слышал, вы и святую свою вчера потеряли. Ну и растяпы же у вас там.

Ален с трудом сохранял спокойствие.

— Тебе легко смеяться, Жожо, — сказал он. — Но счастье переменяется, как говорят, даже тут. Не будь у вас этого пляжа...

Матиа кивнул.

— Верно, — прорычал он. Его островной акцент был так силен, что даже я с трудом разбирала слова. — Этот пляж — вся ваша удача. Не забывайте. Он мог быть наш.

Жожо закаркал от смеха.

— Ваш! — издевательски протянул он. — Если б он был ваш, вы бы его давно просрали, как и все остальное...

Матиа шагнул вперед — руки старика тряслись. Ален предостерегающе положил руку отцу на плечо.

— Хватит. Я устал. У нас много работы на завтра.

Но эти слова почему-то застряли у меня в голове. Они были как-то связаны с Ла Гулю, с Ла Бушем, с запахом дикого чеснока на дюнах. «Он мог быть наш». Я попыталась понять, в чем связь, но соображала плохо — слишком замерзла и устала. К тому же Ален был прав — это ничего не меняло. У меня по-прежнему было много работы на завтра.

Явившись домой, я обнаружила, что отец уже лег. Это отчасти было даже хорошо — я была не в состоянии обсуждать что-либо прямо сейчас. Я развесила мокрую одежду у печки, посушить, выпила стакан воды и пошла к себе в комнату. Включив ночник, я увидела, что у кровати кто-то поставил баночку с букетом диких цветов — розовые песчаные гвоздички, голубой чертополох, «заячьи хвостики». Нелепый и трогательный жест со стороны отца, обычно не склонного демонстрировать свои чувства; я заснула не сразу — лежала и пыталась понять, что все это значит, потом наконец сон одолел меня, и через секунду настало утро.

Проснувшись, я обнаружила, что Жан Большой уже ушел. Он всегда был ранней пташкой — летом просыпался в четыре часа утра и отправлялся в долгие прогулки по дюнам; я оделась, позавтракала и последовала его примеру.

Я добралась до Ла Гулю часов в девять утра, и там уже было полно саланцев. Сначала я не поняла почему; потом вспомнила о пропаже святой Марины, о которой на время забыла вчера из-за потери «Элеоноры». Сегодня утром святую начали опять искать, как только позволил прилив, но пока что никаких следов не нашли.

Казалось, на поиски собралось полдеревни. Тут были все четверо Геноле, они обыскивали отмели, обнажающиеся с отливом, а на галечной полоске ниже тропы собралась кучка зрителей. Мой отец ушел далеко за кромку воды; вооружившись деревянными граблями с длинной ручкой, он медленно, методически прочесывал дно, время от времени останавливаясь, чтобы вытащить из зубьев ком водорослей или камушек.

На краю галечной полоски стояли Аристид и Ксавье — наблюдали, но не участвовали. Позади них нежилась на солнце Мерседес, читая журнал, а Шарлотта с беспокойным видом наблюдала за окружающими. Я заметила, что, хоть Ксавье и старается обычно не смотреть на людей, на Мерседес он не смотрит особенно старательно. У Аристида вид был злорадный — словно кого-то постигла беда.

— Не повезло с «Элеонорой», э? Ален говорит, в Ла Уссиньере с него просят шесть тысяч за ремонт.

— Шесть тысяч?

Вся лодка столько не стоила, и, конечно, Геноле такая сумма не по карману.

— Э. — Аристид кисло улыбнулся. — Даже Рыжий говорит, что овчинка не стоит выделки.

Я поглядела мимо него, на небо: желтая полоска меж облаками бросала болезненный отсвет на осыхающие отмели. По ту сторону приливного ручья немногочисленные рыбаки разложили сети и тщательно выбирали из них водоросли. «Элеонору» выволокли вверх по берегу, и она валялась в грязи, сверкая ребрами, точно дохлый кит.

Мерседес у меня за спиной картинно перевернулась на бок.

— Насколько мне известно, — отчетливо произнесла она, — было бы куда лучше, если бы она не лезла не в свое дело.

— Мерседес! — простонала ее мать. — Что ты такое говоришь!

Девушка пожала плечами.

— А что, неправда, что ли? Если бы они не потеряли столько времени...

— Замолчи сейчас же! — Взбудораженная Шарлотта повернулась ко мне: — Простите. Она очень чувствительная.

Ксавье, судя по его виду, было не по себе.

— Не повезло, — тихо сказал он, обращаясь ко мне. — Хорошая была лодка.

— Хорошая. Мой отец ее строил.

Я поглядела через отмели туда, где все трудился Жан Большой. Он ушел уже на добрый километр, крохотная упрямая фигурка, почти неразличимая в дымке.

— Сколько времени они уже ищут?

— Часа два. Как только отлив начался. — Ксавье пожал плечами, избегая моего взгляда. — Она сейчас может быть уже где угодно.

Геноле, судя по всему, чувствовали свою ответственность. Из-за того что они потеряли «Элеонору», поиски святой были отложены, а поперечные течения с Ла Жете довершили дело. Ален решил, что святую Марину занесло песком где-нибудь в заливе и найти ее вновь можно лишь чудом.

— Сперва Ла Буш, потом «Элеонора», теперь это. — Это был Аристид — он все еще наблюдал за мной со злорадным торжеством. — А что, ты уже сказала отцу про Бримана? Или это будет очередной сюрприз?

Я ошарашенно поглядела на него:

— Про Бримана?

Старик ослабилась.

— А я все думал, сколько времени пройдет, пока он начнет шнырять кругом. Место в «Иммортелях» в обмен на землю? Это он тебе обещал?

Ксавье глянул на меня, потом на Мерседес и Шарлотту. Обе

внимательно слушали. Мерседес уже не притворялась, что читает, а смотрела на меня поверх журнала, слегка приоткрыв рот.

Я не дрогнула под пристальным взглядом старика, не хотела, чтобы меня вынудили лгать.

— Мои дела с Бриманом вас не касаются. Я не собираюсь их с вами обсуждать.

Аристид пожал плечами.

— Значит, я прав, — сказал он с горьким удовлетворением. — Речь идет о благе Жана Большого. Так всегда говорят, верно? Что это для его же блага?

У меня всегда был тяжелый характер. Я вспыхивала не сразу — пламя долго тлело под спудом, но стоило ему разгореться, и начинался яростный пожар. Я чувствовала, как он разгорается у меня внутри.

— А вы-то откуда знаете? — резко спросила я. — За вами, кажется, пока никто не вернулся ухаживать!

Аристид застыл.

— Это тут ни при чем, — ответил он.

Но я уже не могла остановиться.

— Вы на меня кидались с момента моего приезда, — сказала я. — Вы только одного не можете понять — что я люблю своего отца. Вы-то никого не любите!

Аристид дернулся, словно я его ударила, и в этот момент я увидела его таким, как есть, — не злобным людоедом, но усталым стариком, желчным и напуганным. Внезапно меня пронзили жалость и сочувствие к нему... и к себе. Я растерянно подумала: ведь я ехала домой, исполненная добрых намерений. Почему же они так быстро переродились?

Но Аристид еще не был окончательно сломлен: он посмотрел на меня с вызовом, хоть и знал, что я победила.

— Хочешь сказать, что ты не за этим сюда приехала? — тихо спросил он. — Да люди приезжают только тогда, когда им чего-то надо!

— Аристид, как тебе не стыдно, старый ты баклан! — Это Туанетта тихо подошла к нам сзади по тропе. Лица ее под крыльями *quichenotte* было почти не разобрать, но я видела глаза, яркие, блестящие, как у птички. — В твои-то годы слушать дурацкие сплетни! Пора бы и поуменьить.

Аристид вздрогнул и обернулся. Туанетте, по ее собственным расчетам, было под сотню; он в свои семьдесят был юнцом в сравнении с ней. Видно было, что он невольно уважает старуху и устыдился, услышав ее слова.

— Туанетта, Бриман был у них... — начал он.

— А почему ему там не быть? — Старуха шагнула вперед. — Девочка

его родственница. Что такое? Может, ты хочешь, чтобы ей было дело до твоих старых дряг? Которые раздирают Ле Салан уже лет пятьдесят?

— Я все ж таки хочу сказать...

— Ничего ты не хочешь сказать. — Глаза Туанетты сверкали, как петарды. — И если я еще раз услышу, что ты распускаешь эти дрянные сплетни, я...

Аристид надулся.

— Туанетта, мы на острове. Тут и не захочешь, да услышишь. Я не виноват, если Жан Большой узнает.

Туанетта взглянула за отдели, потом на меня. В лице ее было беспокойство, и я поняла, что уже поздно. Аристид успел посеять ядовитые семена. Интересно, кто рассказал ему про визит Бримана, откуда он так много знает.

— Не переживай. Я его наставлю на путь истинный. Меня он послушает.

Туанетта взяла мою руку в свои ладони; они были сухи и коричневые, как пла́вник.

— Ну пойдём, — отрывисто сказала она, таща меня за собой по тропе. — Нечего тебе тут околачиваться. Пойдем ко мне домой.

Туанетта жила в однокомнатном домике на дальнем конце деревни. Дом был старомодный даже по островным стандартам — стены из дикого камня, замшелая черепица на низкой крыше, которую поддерживают почернелые от дыма балки. Окна и дверь — крохотные, словно для ребенка, туалет — шаткая будка за домом, у поленницы. Подходя, я видела одинокую козу, щипавшую траву с крыши.

— Ну что, признавайся, ты так и сделала, — сказала Туанетта, распахивая дверь.

Мне пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку.

— Я ничего не делала.

Туанетта сняла *quichenotte* и строго взглянула на меня.

— Не увиливай, девочка, — сказала она. — Я все знаю про Бримана и про его планы. Он и со мной пытался удрать ту же штуку, ну, знаешь, место в «Иммортелях» взамен моего дома. Даже пообещал заплатить за похороны. Похороны!

Она хихикнула.

— Я ему сказала, что собираюсь жить вечно.

Она повернулась ко мне, опять посерьезнев.

— Я знаю, что он за человек. Он и монашку уболтает трусы снять, если

на них найдется покупатель. А на Ле Салан у него есть планы. Только никто из нас в этих планах не фигурирует.

Это я уже и раньше слыхала, у Анжело.

— Если и есть, я никак не возьму в толк, что за планы, — сказала я. — Он мне помогал, Туанетта Больше многих саланцев.

— Аристид... — Старуха нахмурилась. — Не осуждай его, Мадо.

— Почему?

Она ткнула в меня пальцем, больше похожим на сухую веточку.

— Твой отец не единственный человек на острове, кто страдал, — строго сказала она — Аристид потерял двух сыновей. Одного — в море, другого — по собственной глупости. Это его ожесточило.

Старший сын Аристида, Оливье, погиб на рыбной ловле в 1972 году. Младший, Филипп, прожил следующие десять лет в доме, превращенном в молчаливое святилище памяти Оливье.

— Он, конечно, слетел с катушек. — Туанетта покачала головой. — Связался с девицей — уссинкой, можешь себе представить, что его отец на это сказал.

Ей было шестнадцать лет. Филипп, узнав о ее беременности, запаниковал и сбежал на материк, оставив Аристида и Дезире объясняться с разгневанными родителями девушки. После этого в доме Бастонне было запрещено всякое упоминание о Филиппе. Еще несколько лет спустя вдова Оливье умерла от менингита, оставив Ксавье, своего единственного сына, на попечение бабки с дедом.

— Ксавье теперь их единственная надежда, — объяснила Туанетта почти теми же словами, что Гилен. — Стоит ему чего-нибудь захотеть, и он это получает. Все, что угодно, — лишь бы оставался тут.

Я вспомнила лицо Ксавье — бледное, лишенное всякого выражения. Гилен тогда сказал: если Ксавье женится, то наверняка не уедет. Туанетта угадала мои мысли.

— О да, его, можно сказать, сговорили с Мерседес, еще когда они были детьми, — сказала она. — Но моя внучка — та еще штука. У нее свое мнение на этот счет.

Я подумала о Мерседес; о нотках в голосе Гилена, когда он о ней говорил.

— И она никогда не выйдет за бедняка, — продолжала Туанетта. — Стоило Геноле потерять лодку, и их мальчик потерял всякий шанс жениться на Мерседес.

Я поразмыслила над этим.

— Вы что, хотите сказать, что Бастонне приложили руку к «Элеоноре»?

— Я ничего не хочу сказать. Я не разношу сплетен. Но что бы с ней ни случилось — именно ты не должна лезть в это дело.

Я опять подумала про отца.

— Это была его любимая лодка, — упрямо сказала я.

Туанетта поглядела на меня.

— Э, может, и так. Но это на «Элеоноре» Жан Маленький вышел в море в последний раз, и это «Элеонору» нашли дрейфующей в тот день, когда он погиб, и с тех пор твой отец каждый раз, глядя на эту лодку, наверняка видит брата, который его зовет. Поверь мне, теперь, когда лодки не стало, ему полегчает.

Туанетта улыбнулась и взяла меня за руку маленькими пальцами, сухими и легкими, как осенние листья.

— Мадо, не переживай за отца, — сказала она. — Он справится.

Спустя полчаса я вернулась домой и обнаружила, что Жан Большой побывал там до меня. Дверь была приотворена, и, еще не успев войти в дом, я уже знала: что-то не так. Из кухни донесся резкий запах спиртного, а когда я туда вошла, под ногами захрустели осколки разбитой бутылки из-под колдуновки.

Это было только начало.

Он побил всю посуду и фарфор, какие нашел. Все чашки, тарелки, бутылки. Блюда фирмы «Жан де Бретань», принадлежавшие моей матери, чайный сервиз, ликерные рюмочки, что стояли рядом в шкафчике. Дверь в мою комнату была открыта; ящики с одеждой и книгами вывернуты на пол. Ваза с цветами, стоявшая у кровати, раздавлена; цветы втоптаны в стеклянный порошок. Тишина все еще зловеще вибрировала от силы отцовского гнева.

Для меня это была не совсем новость. Припадки ярости у отца были нечасты, но ужасны, а за ними всегда следовал период спокойствия, продолжавшийся несколько дней, иногда — недель. Мать всегда говорила, что именно эти затишья сильнее всего ее изводят; долгие интервалы пустоты, время, когда отец словно исчезал, присутствуя лишь на своих собственных ритуалах — визитах на Ла Буш, посиделках в баре у Анжело, одиноких прогулках вдоль берега.

Я села на кровать — у меня вдруг подогнулись ноги. Что вызвало эту вспышку? Потеря святой? Потеря «Элеоноры»? Что-то другое?

Я поразмыслила над рассказом Туанетты про Жана Маленького и «Элеонору». Я об этом понятия не имела. Я попыталась представить себе, что мог почувствовать отец, когда лодка пропала. Может, печаль о потере своего первого создания? Облегчение, что дух Жана Маленького наконец обрел покой? Я начала понимать, почему отец не явился на спасательные работы. Он хотел, чтобы лодка пропала, а я, дура такая, полезла ее спасать.

Я подобрала книгу — одну из тех, что остались, когда я уехала, — и расправила обложку. Кажется, его ярость была направлена в особенности на книги: из некоторых были вырваны страницы; другие растоптаны. Я была единственная любительница чтения: мать и Адриенна предпочитали журналы и телевизор. Я поневоле решила, что это разрушение было прямой атакой на меня.

Лишь через несколько минут я сообразила заглянуть в комнату

Адриенны. Та была не тронута. Кажется, Жан Большой туда и не заходил. Я сунула руку в карман, проверяя, там ли фотография со дня рождения. Она была все еще там. Адриенна улыбалась мне через дырку, где я когда-то была, длинные волосы скрывали ее лицо. Теперь я вспомнила: она всегда получала какой-нибудь подарок на мой день рождения. В тот год ей подарили платье, в котором она была на фотографии, — белое платьерубашку с красной вышивкой. Мне подарили первую в жизни удочку. Я, конечно, обрадовалась подарку, но порой я задумывалась, почему же мне никто не покупает платьев.

Я лежала на кровати Адриенны — в ноздри мне бил запах колдуновки, а лицо упиралось в выцветшее розовое покрывало. Потом я встала. Я видела себя в зеркале на дверце гардероба: бледная, опухшие глаза, жидкие прямые волосы. Я посмотрела хорошенько. Потом вышла из дому, осторожно ступая по битому стеклу. Я сказала себе: в чем бы ни была проблема Жана Большого, в чем бы ни была проблема с Ле Саланом, исправлять их — не мое дело. Он предельно ясно дал мне это понять. На этом моя ответственность кончилась.

Я направилась в Ла Уссиньер, испытывая настолько сильное облегчение, что не могла бы признаться в нем даже самой себе. Я повторяла: я пыталась. Честно пыталась. Если б мне хоть кто-нибудь помог.. но молчание отца, неприкрытая враждебность Аристиды и даже двусмысленная доброта Туанетты — все говорило мне, что я в одиночестве. Даже Капуцина, узнав, что я задумала, скорее всего, примет сторону моего отца. Она всегда хорошо относилась к Жану Большому. Нет, Бриман прав. Кто-то должен повести себя как разумный человек. А саланцы, которые отчаянно цепляются за свои суеверия и старые обычаи, в то время как море с каждым годом уносит все больше народу из их числа, скорее всего, не поймут. Значит — Бриман. Раз мне не удалось убедить Жана Большого, что для него лучше, — может, это удастся Бримановым докторам.

Я пошла длинной дорогой — к «Иммортелям», мимо Ла Буша. Я никого не видела, кроме Дамьена Геноле, сидевшего в одиночестве на камнях с рыболовной сумкой и удочками. Я махнула ему рукой, он в ответ молча кивнул. Уже опять начался прилив — белый шум где-то вдалеке. Подальше, в самом узком месте острова, можно было наблюдать, как прилив идет сразу с двух сторон. В один прекрасный день талия, соединяющая тело Колдуна, пресечется, и Ле Салан будет отрезан от Ла Уссиньера навсегда. Я подумала, что это будет означать конец для всех саланцев.

На полпути к «Иммортелям» я встретила Флинна. Я не ждала никого

увидеть — тропа, идущая вдоль берега, была узка, и пользовались ею нечасто, — но он, кажется, совсем не удивился, увидев меня. Сегодня утром он вел себя как-то по-другому — бодрая беспечность сменилась сдержанной нейтральностью, огонек в глазах почти погас. Не из-за «Элеоноры» ли, подумала я, и сердце у меня сжалось.

— Что, про святую никаких новостей? — Даже я слышала, как фальшив мой жизнерадостный голос.

— Вы идете в Ла Уссиньер.

Это прозвучало не как вопрос, хотя я видела, что он ожидает ответа.

— Повидаться с Бриманом, — продолжал он тем же невыразительным тоном.

— Кажется, всем очень интересно, куда я хожу.

— И неудивительно.

— Что вы хотите сказать? — Я услышала резкость в собственном голосе.

— Ничего.

Он, кажется, собирался пойти своей дорогой — сделал шаг в сторону, чтобы пропустить меня, глаза уже устремлены куда-то еще. Внезапно мне показалось, что ни в коем случае нельзя дать ему уйти. Хотя бы он должен меня понять.

— Я вас очень прошу. Вы его друг, — начала я.

Я знала, он поймет, про кого я говорю.

Он на мгновение застыл.

— Ну и что?

— Может, вы с ним поговорите. Попробуете его убедить.

— Что? — переспросил он. — Убедить его переехать?

— Ему нужен особый уход. Надо, чтобы он это понял. Кто-то должен взять ответственность на себя.

Я подумала про дом, битое стекло, растерзанные книги.

— Он может причинить себе вред, — сказала я наконец.

Флинн поглядел на меня, и я поразились жесткости его взгляда.

— Звучит правдоподобно, — тихо сказал он. — Но мы-то с вами знаем правду, верно?

Он улыбнулся, совсем не дружелюбно.

— Речь идет о вас. Все разговоры про ответственность — в конечном итоге они сводятся именно к этому. Как для вас будет удобнее.

Я хотела сказать ему, что всё совсем не так. Но слова, казавшиеся такими естественными в устах Бримана, звучали фальшиво и беспомощно, когда исходили от меня. Я видела, что Флинн в самом деле так думает, —

думает, что я делаю все это для себя, для собственной безопасности, а может, даже в какой-то степени хочу отомстить Жану Большому за все годы молчания... Я хотела сказать ему, что это не так. Я была уверена, что это не так.

Но Флинн уже потерял ко мне интерес. Пожал плечами, кивнул и удалился по тропе быстро и бесшумно, как браконьер, а я стояла, уставившись ему вслед, и в душе у меня росли гнев и растерянность. Какого черта, да кто он такой вообще? Какое право имеет меня судить?

По прибытии в «Иммортели» мой гнев, вместо того чтобы утихнуть, разгорелся еще сильнее. У меня больше не доставало уверенности на разговор с Бриманом — помимо всего прочего, я боялась, что от первого же доброго слова плотину прорвет слезами, копившимися со дня моего приезда. Так что я вместо этого болталась у причала, наслаждаясь тихим плеском воды и яхточками, летавшими поперек залива. Для отдыхающих было еще рано; лишь немногие лежали на верхнем краю пляжа, под эспланадой, где рядом сидели на белом песке свежеевыкрашенные пляжные беседки.

Я заметила, что через улицу с седла броского японского мотоцикла за мной наблюдает молодой человек. Длинные волосы свисают на глаза, пальцы лениво держат сигарету, джинсы в обтяжку, кожаная куртка, мотоциклетные ботинки... Я его узнала лишь через несколько секунд. Жоэль Лакруа, красивый и балованный сын единственного на острове полицейского. Молодой человек оставил мотоцикл у тротуара и перешел через дорогу ко мне.

— Вы нездешняя, да? — спросил он, затягиваясь сигаретой.

Ясно, он меня не помнит. И ничего удивительного. Последний раз я с ним говорила еще в школе, а он был на пару лет старше меня.

Он оценивающе разглядывал меня и ухмылялся.

— Хотите, я вам покажу окрестности? — предложил он. — Посмотрим виды, ну, какие есть. У нас тут насчет видов небогато.

— Спасибо, в другой раз.

Жоэль щелчком отшвырнул сигарету через дорогу.

— Где вы остановились, а? В «Иммортелях»? Или у вас тут родственники?

Почему-то — может, из-за этого оценивающего взгляда — мне не хотелось говорить ему, кто я. Я кивнула:

— Я в Ле Салане.

— Любите простую жизнь, а? На западе, среди коз и солончаков? А

знаете, каждый второй саланец — шестипалый. «Тесные семейные связи».

Он закатил глаза, потом взглянул на меня пристальнее, с запоздалым узнаванием.

— Да я тебя знаю, — сказал он наконец. — Ты Прато. Моника?.. Мари?..

— Мадо, — сказала я.

— Я слышал, что ты вернулась. Я тебя не узнал.

— И неудивительно.

Жоэль неловко откинул волосы назад.

— Так значит, ты вернулась в Ле Салан? Ну что ж, всяко бывает.

Мое равнодушие охладило его интерес. Он опять закурил — от серебряной зажигалки «харлей-дэвидсон» размером почти с пачку «житан».

— Мне-то подавай город. В один прекрасный день сяду на мотоцикл, и поминай как звали, э. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Уж я-то не собираюсь околачиваться в Колдуне до конца жизни.

Он сунул зажигалку в карман и прошествовал обратно через улицу, к ждущей его «хонде», а я опять осталась одна перед пляжными беседками.

Я сняла туфли, песок под пальцами был уже теплый. Я опять почувствовала, какой толстый этот слой песка. В одном месте еще оставались со вчерашнего вечера следы тягача; я вспомнила, как колеса пробуксовывали в песке, пока мы напрягали силы, толкая покалеченную «Элеонору» к дороге; как тягач подавался под нашим объединенным весом; и запах дикого чеснока на дюнах...

Я остановилась. Этот запах. Тогда я тоже о нем подумала. Запах ассоциировался у меня с Флинном и еще с какими-то словами Матиа Геноле — руки его тряслись от ярости, когда он отвечал Жожо Чайке, что-то насчет пляжа.

Ага, вот оно. «Он мог быть наш».

Почему? Удача переменчива, сказал он. Но при чем тут пляж? Я все никак не могла уловить нужную мысль; она пахла тимьяном, диким чесноком, соленым ароматом дюн. Ладно, это не важно. Я дошла до самой воды, которая опять поднималась, но не спеша, тонкими ручейками ползла через промоины в песке, просачивалась в низины меж камней. Слева от меня, близ пристани, был мол, свежеукрепленный каменными блоками, — получился широкий волнолом, уходящий в море метров на сто. На него уже карабкались двое ребятишек; я слышала их крики, так похожие на крики чаек, в чистом воздухе. Я попробовала себе представить, что было бы, если бы пляж был в Ле Салане; какое оживление в торговле он принес бы, какое

вливание жизни. Этот пляж — вся ваша удача, сказал тогда Матиа Бриман-везунчик в очередной раз оправдал свое прозвище.

Камни, составляющие волнолом, были гладки, не обросли еще морскими желудями и водорослями. С ближней стороны он был высотой метра два, дальняя сторона не так сильно возвышалась над землей. С той стороны накопился песок — его принесло течением. Я слышала, как двое детей играют там, кидаясь друг в друга горстями водорослей и пронзительно, возбужденно вопя. Я поглядела назад, на пляжные беседки. Единственная оставшаяся беседка на Ла Гулю торчала высоко над землей; я помнила ее длинные, как ноги насекомого, сваи, вбитые в скалу. В «Иммортелях» беседки плотно сидели на земле, под пол разве что ползком можно забраться.

Похоже, пляж-то прирос песочком, сказала я себе.

Внезапно меня озарило: запах дикого чеснока усилился, и я услышала, как Флинн говорит: «причал, пляжик, все дела». Он говорил про Ла Гулю; я глядела на веранду и дивилась, куда пропал весь песок.

Дети все еще кидались водорослями. На дальней стороне мола водорослей было много; не так много, как бывало на Ла Гулю, но на «Иммортели» наверняка кто-нибудь ежедневно приходит их убирать. Подходя ближе, я заметила среди бурых и зеленых водорослей темно-красное пятно, которое мне о чем-то напомнило. Я поковыряла его ногой, сдвинув слой водорослей.

И тут я увидела, что это. Прибой жестоко обошелся с ней; шелк потерялся, вышивка распустилась, и вся она забилась мокрым песком. Но ошибиться было невозможно. Церемониальная юбка святой Марины, содранная со статуи в ночь шествия, — море вынесло ее на берег, но не на Жадину, как мы ожидали, а сюда, на «Иммортели», на счастье Ла Уссиньеру. Вынесло приливом.

Прилив.

Внезапно я поняла, что дрожу, но не от холода. Саланцы винули в своих несчастьях южный ветер, но на самом деле это приливы переменялись; приливы, что когда-то загоняли рыбу к Жадине, а теперь ободрали Жадину, отняв у него все, что можно; приливы, что гнали ручей вспять, в деревню, которую когда-то защищал мыс Грино.

Я долго смотрела на кусок истлевшего шелка, едва осмеливаясь дышать. Я думала о пляжных беседках, о песке, о волноломе, который был тут раньше. В каком году его построили? А в каком году смыло пляж и причал в Ла Гулю? А этот новый мол, надстроенный на старый так недавно, что не успел еще и морскими желудями обрасти?

Одна мелочь тянула за собой другую; цепочки непримечательных событий, незначительные перемены. На таком маленьком песчаном островке, как Колдун, приливы и течения могут меняться очень быстро; и любое изменение может стать губительным. Злые приливы смывают песок, сказал мне Гилен в ночь, когда мы спасали «Элеонору». Бриман защищал свои капиталовложения.

Бриман заботился обо мне, беспокоился насчет затопления. И закидывал удочки насчет земли Жана Большого. Туанетте он тоже предлагал купить у нее дом. Интересно, к скольким еще людям он подкатывался?

Первый мой порыв был — сразу же пойти к Бриману. Однако, поразмыслив, я передумала. Я словно наяву видела его удивленное лицо, юморной блеск в глазах; словно слышала, как он смеется густым смехом над моими попытками объяснить свои подозрения. И он ведь был добр ко мне, почти по-отцовски. До чего же я злобная дура, что его подозреваю.

Я попыталась рассказать о виденном Капуцине и Туанетте, но их это совершенно не впечатлило. За ночь вода поднялась еще выше, и в баре у Анжело народ был еще менее весел, чем обычно, — саланцы топили свои новые беды в вине, сохраняя мрачное молчание.

— Вот если б ты саму святую нашла... — ухмыльнулась Туанетта, показывая пеньки зубов. — Это в ней удача саланцев, а не в каком-то пляже, который тут, может, был тридцать лет назад. И еще, ты же не хочешь сказать, что святая Марина добралась до самых «Иммортелей», а? Вот это и правда было бы чудо.

Я старалась не дать воли отчаянию. Эти разговоры о чуде и удаче, кажется, лишь усиливали пораженческие настроения среди островитян, их пассивность. Слово бы мы с ними говорили на совершенно разных языках.

Конечно, на мысу пока так и не обнаружилось никаких следов пропавшей святой, и в Ла Гулю — тоже. Скорее всего, сказала Туанетта, ее занесло песком, она зарылась в отливной ил у мыса Грино, и через двадцать лет на нее наткнется какой-нибудь мальчишка, ищущий мидии, — то есть если ее вообще найдут когда-нибудь.

Все деревенские были убеждены, что святая оставила Ле Салан. Те, кто посуевернее, говорили, что опять будет Черный год; и даже молодые жители деревни были обескуражены потерей святой. «Празднество святой Марины — единственное, что мы делали всей деревней, — объяснила Капуцина, щедро подливая колдуновки себе в кофе. — Единственная возможность, чтобы сплотиться. А теперь все разваливается. И мы ничего не можем поделать».

Она показала на окно, и мне не нужно было выглядывать наружу, чтобы понять, что она имеет в виду. Ни погода, ни улов не улучшились. Августовские высокие приливы уже подходили к концу, но сентябрь должен был принести еще худшие, а октябрь — шторма с Атлантики, что прокатятся через весь остров. Океанская улица превратилась в полосу

взбитой грязи. Несколько плоскодонок унесло в море, и они повторили судьбу «Элеоноры», хоть владельцы и вытащили их высоко на берег, далеко за линию прилива. Хуже всего было то, что макрель полностью пропала и рыбная ловля прекратилась. В довершение обиды, рыболовы Ла Уссиньера переживали небывалый период процветания.

— Я не понимаю! — воскликнула я. — Что такое случилось с Ле Саланом? Все наперекосяк, дорогу наполовину затопило, лодки уносит приливом, дома разваливаются. Почему никто ничего не делает? Что вы сидите и смотрите на все это?

— А что мы, по-твоему, должны делать? — бросил через плечо Аристид. — Попробовать остановить прилив, наподобие короля Кнута?^[16]

— Что-то всегда можно сделать, — ответила я. — Как насчет волноломов, наподобие уссинских? Или укрепить дорогу хоть чем-нибудь, хоть мешками с песком?

— Без толку, — словно выплюнул старик, нетерпеливо дрыгнув деревянной ногой. — Морю не прикажешь. Все равно что плевать против ветра.

Ветер приятно оведал лицо, когда я, разочарованная, шла по Океанской. Что толку пытаться им помочь? Этот упрямый стоицизм — отличительная черта саланцев, она происходит не от уверенности в себе, а от фатализма, даже от суеверности. Я подобрала с дороги камешек и швырнула его, насколько хватило сил, против ветра; камешек упал в купу песчаного овса и исчез. На миг я вспомнила о матери — как вся ее теплота, ее добрые намерения выветрились и она стала сухой, беспокойной, исполнилась обиды. Она тоже любила остров. Какое-то время.

Но во мне — отцовское упрямство. Она часто говорила об этом вечерами в нашей парижской квартирке. Мать говорила, что Адриенна больше на нее похожа: любящая, ласковая девочка. Я же была трудным ребенком: замкнутая, угрюмая. Если бы только Адриенне не пришлось уехать в Танжер...

Я не отвечала на эти жалобы. Смысла не было даже пытаться. Я давно перестала говорить об очевидном: Адриенна почти никогда не писала, не звонила, ни единого раза не пригласила нас в гости. Словно они с Марэном хотели как можно дальше уехать от Колдуна — и всего, что о нем напоминало. Но для моей матери молчание Адриенны было лишь доказательством ее преданности новой семье. Немногие полученные от нее письма хранились как сокровища; поляроидные снимки детей заняли почетное место над камином. Новая, танжерская жизнь Адриенны,

романтизированная превыше всякой меры и превращенная в волшебную сказку о храмах и восточных базарах, была той нирваной, к которой мы обе должны были стремиться и в которую нас в конце концов должны были призвать.

Я вернулась в дом. Страшный разгром никуда не делся, и я на миг почти пала духом. Бриман сказал, что в «Иммортелях» для меня всегда найдется комната. Только попроси. Я представила себе чистую постель, белые простыни, горячую воду. Я подумала о своей парижской квартирке, где пол паркетный и приятно пахнет краской и лаком. Я подумала о кафе напротив, о мидиях с жареной картошкой по пятницам, а потом, может быть, кино. Что я тут делаю столько времени? — спросила я у себя. Зачем заставляю себя терпеть все это?

Я подняла книгу и стала разглаживать мятые страницы. Книга с картинками — роскошно иллюстрированная сказка про принцессу, которую злая колдунья превратила в птицу, а охотник... В детстве у меня было богатое воображение, внутренний мир компенсировал мне однообразные ритмы островной жизни. Я предполагала, что мой отец такой же. Теперь я уже не была уверена, что хочу разгадать его молчание... если там вообще есть что разгадывать.

Я подобрала еще несколько книг — мне больно было видеть, как они, разбросанные, с поломанными корешками, валяются на битом стекле. Одежду мне было не так жалко — я привезла с собой очень мало вещей и все равно собиралась прикупить что-нибудь в Ла Уссиньере, — но я стала подбирать и ее, складывая в машину, чтобы постирать. Немногие мои бумаги, рисовальные принадлежности, которыми я пользовалась еще девочкой, — коробку потрескавшейся акварели, кисть — я сложила обратно в картонный ящик у кровати. И тут я заметила кое-что у изножья кровати — что-то блестящее, наполовину втоптанное в кусок ковра, прикрывавший каменный пол. Не стекло — блестит слишком ярко, мягким блеском, в беглом солнечном луче, пробравшемся меж ставень. Я подобрала вещь. Это был отцовский медальон, что я видела у него раньше, теперь слегка помятый. С колечка свисали обрывки цепочки. Должно быть, отец потерял его, когда громил комнату, подумала я; может быть, рванул воротник, чтобы легче было дышать; разорвал цепочку и не заметил, как медальон выскользнул из-под рубашки. Я посмотрела на медальон повнимательнее: размером примерно с пятифранковую монету, сбоку петли, чтобы открывать и закрывать крышку. Женская вещица. Я почему-то подумала про Капуцину. Памятка Я подняла крышечку с непонятным

чувством вины, словно шпионила за какими-то секретными делами отца, и что-то выпало мне в ладонь — кудрявый локон. Волосы были русые, как когда-то у отца, и первая мысль моя была, что это, может быть, прядь волос его брата. Жан Большой, кажется, не очень романтичный человек и, насколько я знала, даже про мамин день рождения или день их свадьбы особо не вспоминал, и предположение, что он носит с собой локон маминых волос, было настолько абсурдным, что я смущенно улыбнулась. Потом я открыла медальон пошире и увидела фотографию.

Она была вырезана ножницами из фотографии побольше: детское лицо в позолоченной рамке расплылось улыбкой, короткие волосы торчат спереди иголками, большие круглые глаза... Я, не веря себе самой, глядела на фотографию, словно пытаюсь заменить собственный образ чужим, более достойным. Но это я, сомнений нет: моя собственная фотография со снимка, сделанного на дне рождения, одна рука еще застыла на ноже, разрезающем торт, другая тянется прочь из рамки — к отцовскому плечу. Я вытащила большой снимок из кармана — он уже обтрепался по краям оттого, что я его все время трогала. Теперь лицо сестры на фотографии показалось мне мрачным, завистливым, она отвернулась — сердито, как ребенок, не привыкший, что его обделяют вниманием...

От бури непонятных чувств у меня разгорелись щеки и заколотилось сердце. Значит, он все-таки меня выбрал: мою фотографию носил на шее и локон моих младенческих волос. Не мать. Не Адриенну. Меня. Я думала, что меня забыли, но все это время именно меня он помнил, втайне носил с собой, как талисман. Что за беда, что он не отвечал на мои письма? Что за беда, что он не хочет со мной разговаривать?

Я встала, крепко сжав медальон в руке, забыв свои сомнения. Теперь я точно знала, что мне делать.

Я ждала темноты. Прилив почти достиг высшей точки, подходящее время для того, что я задумала. Я надела сапоги и vareuse и вышла на ветреные дюны. С Ла Гулю виднелись отсветы материкового берега, и бакен каждые несколько секунд высвечивал красный предостерегающий огонек; все остальное море слегка светилось перламутровым светом, характерным для Нефритового берега^[17], и порою вспыхивало более жестким блеском, когда облака раздвигались, показывая кусочек луны.

На крыше блокауза я увидела Флинна — он глядел на залив; я едва могла разобрать его силуэт на фоне неба. Я несколько секунд смотрела на него, пытаюсь понять, что он делает, но он был слишком далеко. Я поспешила дальше, к Ла Гулю, где прилив вскоре должен был смениться

отливом.

В сумке через плечо у меня лежало несколько пластмассовых оранжевых поплавок, что островные рыбаки привешивают к сетям на макрель. Ребенком я училась плавать в спасательном жилете, сделанном из таких поплавок, а еще мы часто метили ими садки для омаров и верши для крабов, собирали эти полавки на камнях во время отлива и нанизывали на веревку, словно гигантские бусы. Тогда это была игра, но серьезная; любой рыбак платил по франку за каждый найденный поплавок, и часто это были единственные наши карманные деньги. Сегодня ночью эта игра — и полавки — помогут мне еще раз.

Я встала на камнях под утесом и побросала полавки в море, все тридцать штук, стараясь перекинуть их через полосу прибоя прямо в течение. Когда-то, не так давно, по крайней мере половину поплавок следующим же приливом вынесло бы обратно в залив. А сейчас... но в этом и был смысл моего эксперимента.

Я постояла еще несколько минут, глядя на море. Было тепло, несмотря на ветер; последнее дуновение лета, и, когда облака у меня над головой рассеялись, я увидела широкую полосу Млечного Пути, пересекающую все небо. Внезапно на меня снизошел покой, и я, стоя под огромным небом, где буйствовали звезды, ждала, пока начнется отлив.

В окне кухни горел свет — значит, Жан Большой вернулся. Я видела его силуэт — в губах сигарета, сгорбленная фигура монолитом на фоне желтого свечения. Я слегка нервничала. Заговорит он? Или разъярится?

Он не оглянулся, когда я вошла. Я это предвидела; он стоял недвижно среди учиненного им же разгрома, в одной руке чашка с кофе, сигарета «житан» зажата в горсти меж пожелтевших пальцев.

— Ты медальон обронил, — сказала я, кладя его на стол рядом с отцом.

Он, кажется, чуть изменил позу, но на меня не посмотрел. Плотный, тяжелый, как статуя святой Марины, — казалось, его не сдвинуть с места.

— Я завтра начну тут прибираться, — сказала я — Придется руки приложить, но ничего, скоро тебе опять будет удобно.

По-прежнему тишина. Ребенком я умела толковать знаки, читала его жесты, как жрец — потроха жертвенного животного. Это я тоже предвидела и не разозлилась, но внезапно всем сердцем пожалела его, за это жалкое молчание, за усталые глаза.

— Ничего, — сказала я. — Все будет хорошо.

И я подошла к нему и обняла его руками за шею, и почуяла всегдашний запах соли и пота, краски и лака, и так мы сидели с минуту, до тех пор пока его сигарета не превратилась в окурочек и не выпала из руки на каменный пол, рассыпавшись пригоршней ярких искр.

На следующее утро я встала спозаранку и отправилась искать свои поплавки. Ни на Ла Гулю, ни выше по ручью в Ле Салане я не нашла ни одного; впрочем, я так и знала.

Еще не было шести утра, когда я оказалась в Ла Уссиньере; небо было бледное и чистое, и народу мало — в основном рыбаки. Кажется, я видела издали Жожо Чайку — он что-то копал на отмелях, и два человека стояли в прибое с большими квадратными сачками, какими ус-синцы обычно ловят креветок. Если не считать этого, кругом было совершенно безлюдно.

Первый свой оранжевый поплавок я нашла под пристанью. Я подобрала его и пошла к кромке воды, время от времени останавливаясь, чтобы перевернуть камень или шмат водорослей. По дороге к воде я нашла еще с дюжину поплавков, и еще три застряли на камнях в таких местах, куда мне было не дотянуться.

Итого шестнадцать. Хороший улов.

— Ну как, удачно?

Я повернулась — слишком быстро — и уронила сумку на мокрый песок, рассыпав содержимое. Флинн с любопытством взглянул на поплавки. Ветер трепал его волосы, словно предостерегающий флажок.

— Ну?

Я вспомнила его вчерашнюю холодность. Сегодня он был расслаблен, доволен собой, пытливый взгляд исчез.

Я ответила не сразу. Сначала заставила себя подобрать все поплавки и очень медленно сложить в сумку. Шестнадцать из тридцати. Чуть больше половины. Но хватит подтвердить то, что я и без того знала.

— Никогда бы не подумал, что вы из пляжных «искателей сокровищ», — сказал Флинн, все так же наблюдая за мной. — Нашли что-нибудь интересное?

Интересно, а что же он обо мне думал? Городская девица, отдыхающая? Помеха его планам? Угроза?

Мы сидели у подножия волнолома, и я рассказывала ему о своем открытии, рисуя схемы на песке. Я все еще дрожала — утренний ветер был холоден, — но в голове у меня прояснилось. Все доказательства были на месте, и их невозможно было не заметить, стоило только начать искать. Теперь, когда я все нашла, Бриману придется обратить на меня внимание. Он вынужден будет меня выслушать.

Флинн совершенно не удивился, что меня безумно разозлило.

— Неужели вам это совсем безразлично? Вас совсем-совсем не интересует, что здесь творится?

Флинн с любопытством глядел на меня.

— Вы, однако, круто сменили курс. Последний раз, когда я вас видел, вы практически умыли руки — по отношению ко всему Ле Салану. Включая вашего отца.

Я почувствовала, что кровь прилила к лицу.

— Это неправда, — ответила я. — Я хочу помочь.

— Я знаю. Но вы зря теряете время.

— Бриман мне поможет, — упрямо сказала я. — Никуда не денется.

Он невесело улыбнулся.

— Думаете?

— А если не поможет, то мы сами что-нибудь придумаем. В деревне куча народу захочет помочь. Теперь, когда у меня есть доказательства...

Флинн вздохнул.

— Этим людям вы ничего не докажете, — терпеливо проговорил он. — Ваша логика им недоступна. Они лучше будут сидеть на попе ровно, молиться и жаловаться, пока вода не сомкнется у них над головой. Неужели

вы действительно можете себе представить, как они забывают свои разногласия и трудятся на благо всей деревни? Думаете, если вы им такое предложите, они вас послушают?

Я пронзила его взглядом. Он, конечно, прав. Я и сама все это понимала.

— Я могу попробовать, — сказала я. — Кто-то должен хотя бы попробовать.

Он ухмыльнулся.

— Знаете, как вас зовут в деревне? Квочка. Вы вечно над чем-нибудь кудахтаете.

Квочка. Несколько секунд я стояла недвижно, онемев от злости. Я злилась на себя за то, что мне не все равно. На его бодрое пораженчество. На их дурацкое коровье равнодушие.

— Нет худа без добра, — ехидно сказал Флинн. — Зато теперь у вас есть островное прозвище.

Нечего было вообще с ним разговаривать, сказала я себе. Я ему не доверяю; он мне не нравится; с чего я решила, что он меня поймет? Шагая по пустынному пляжу к зданию, носящему то же имя, я чувствовала, как меня бросает то в жар, то в холод. Я как дура искала его одобрения, потому что он чужак; приезжий с материка, привыкший решать технические проблемы. Мне хотелось произвести на него впечатление своими собственными открытиями; доказать ему, что я не просто любительница лезть в чужие дела, какой он меня считает. А он только посмеялся надо мной. Песок завихрялся вокруг моих ботинок, пока я лезла вверх по ступенькам на эспланаду; песок набился мне под ногти. Нечего было вообще разговаривать с Флинном, говорила я себе. Надо было прямо идти к Бриману.

Бримана я обнаружила в вестибюле «Иммортелей», он просматривал какие-то бумаги. Он, кажется, обрадовался, увидев меня, и на миг я ощутила такое облегчение, что чуть не разрыдалась. Я утонула в объятиях Бримана; запах его одеколона заполнил все на свете; голос — радостный рев.

— Мадо! А я как раз про тебя думал. Я тебе подарок купил.

Я уронила сумку с поплавками на плитки пола. Я едва дышала в великанском объятии.

— Минутку. Я сейчас его принесу. Кажется, я угадал размер.

На минуту я осталась одна в вестибюле, а Бриман исчез в одной из задних комнат. Потом появился, неся что-то завернутое в тонкую оберточную бумагу.

— Вот, миленькая, разверни. Красный тебе пойдет. Я знаю.

Мать всегда считала, что я в отличие от нее самой и Адриенны просто не интересуюсь красивыми вещами. Я сама создала у нее такое впечатление своими презрительными замечаниями и явным равнодушием к собственной внешности, но на самом деле я презирала свою сестру, ее вырезки из журналов, ее косметику, ее хихикающих подружек — потому что знала, толку мне от этого все равно не будет. Лучше притвориться, что меня все это не интересует. Лучше, если мне будет все равно. Оберточная бумага хрупко хрустывала под пальцами. На мгновение я потеряла дар речи.

— Тебе не нравится, — сказал Бриман, и усы его обвисли, как у

грустного пса.

Я онемела от удивления.

— Нравится, — выдавила я наконец. — Очень.

Он в точности угадал мой размер. Платье было прекрасно: ярко-красный крепдешин сверкал в холодных лучах утреннего солнца. Я представила себя в этом платье в Париже, может, в босоножках на высоком каблуке, с распущенными волосами...

Бриман был смешно доволен собой.

— Я надеялся, что тебя это немножко отвлечет. Чуть развеселит.

Его взгляд упал на сумку у моих ног.

— Это что, малютка Мадо? Искала сокровища на пляже?

Я помотала головой:

— Эксперимент.

С Флинном мне было легко говорить о своем открытии. С Бриманом оказалось намного труднее, хотя он слушал без тени улыбки, время от времени заинтересованно кивая, пока я рассказывала о своих находках, помогая себе жестами.

— Вот Ле Салан. Видите, как проходят основные течения с Ла Жете. Вот — преобладающий западный ветер. Вот тут — Гольфстрим. Мы знаем, что Ла Жете прикрывает остров с востока, но вот эта, — ставя ударение на слове жестом указательного пальца, — песчаная банка отводит это течение вот сюда, и оно проходит мимо мыса Грино и оказывается вот тут, у Ла Гулю.

Бриман молча кивал, чтобы я продолжала.

— Точнее, оказывалось. Но теперь все изменилось. Вместо того чтобы упираться в Ла Гулю, оно проходит вот тут... и останавливается тут...

— Да, у «Иммортелей».

— Именно поэтому «Элеонора» проскочила мимо бухты и оказалась на другой стороне острова. Потому и макрель ушла оттуда сюда!

Он снова кивнул.

— Но это еще не все, — продолжала я. — Почему все изменилось именно сейчас? Что именно произошло?

Он как будто задумался на минуту. Глаза его обратились к морю, и в них отразился солнечный свет.

— Смотрите.

Я показала через пляж, на свежестроенные сооружения. С того места, где мы сидели, их было очень хорошо видно — тупой нос мола, обращенный на восток; волноломы по обе стороны.

— Теперь понятно, что произошло. Вы надстроили мол ровно

настолько, чтобы защитить пляж. Волноломы помогают сохранить песок, чтобы его не смывало. Мол загоразживает пляж и самую малость смещает течение, вот сюда, так что песок переносится с Ла Жете — с нашей стороны острова — в сторону «Иммортелей».

Бриман опять кивнул. Конечно же, сказала я себе, он не понял в полной мере, что следует из моих слов.

— Ну неужели вы не понимаете, что случилось? — напирала я. — Надо что-то делать. Надо прекратить это, пока не стало еще хуже.

— Прекратить? — Он поднял бровь.

— Ну да. Ле Салан... затопление...

Бриман сочувственно положил руки мне на плечи.

— Малютка Мадо. Ты хочешь помочь, я знаю. Но «Иммортели» надо защищать. Для того волноломы и построены. Не могу же я теперь их снести только потому, что какое-то там течение повернуло в другую сторону. Почему я знаю, может, оно бы и без того повернуло.

Он испустил свой обычный монументальный вздох.

— Представь себе сиамских близнецов, — сказал он. — Иногда их приходится разделить, чтобы выжил хоть один.

Он вперил в меня взгляд, чтобы убедиться, что его слова доходят.

— И порой приходится делать нелегкий выбор.

Я уставилась на него, внезапно словно оцепенев. Что он такое говорит? Что придется пожертвовать Ле Саланом для спасения Ла Уссиньера? Что происходящее в каком-то смысле неизбежно?

Я вспомнила, как все эти годы он поддерживал отношения с нами: словоохотливые письма, посылки с книгами, подарки по случаю. Он не хотел отсекал ни одной возможности, не рвал связей. Защищал свои капиталовложения.

— Вы знали, верно? — медленно произнесла я. — Вы с самого начала знали, что это случится. И никому ни словом не обмолвились.

Он умудрился всем телом, согбенными плечами, руками, глубоко засунутыми в карманы, выразить свою боль и обиду от такого жестокого обвинения.

— Малютка Мадо. Как ты можешь такое говорить? Конечно, это несчастье. Но такое случается. И, с твоего позволения, это еще одна причина побеспокоиться о твоём отце, и я совершенно уверен, что в конечном итоге ему будет гораздо лучше в другом месте.

Я посмотрела на него.

— Вы сказали, что мой отец болен, — отчетливо сказала я. — Что именно с ним не так?

Я увидела, что он на мгновение растерялся.

— У него больное сердце? — напирала я. — Печень? Легкие?

— Мадо, я точно не знаю и честно тебе скажу...

— Рак? Цирроз?

— Мадо, я же сказал, я точно не знаю. — Радушия у него поубавилось, и челюсть заметно напряглась. — Но я могу в любой момент пригласить своего врача, и он даст тебе обоснованное заключение специалиста.

«Своего врача». Я поглядела на подарок Бримана, завернутый в кокон оберточной бумаги. Солнечный свет ласкал алый шелк. Он прав, подумала я: мне идет красное. Я знала, что могу просто оставить всё на него. Уехать обратно в Париж — в галереях как раз начинается сезон, — начать новую серию картин. На сей раз городские пейзажи и, может, портреты. Я уже десять лет рисую одно и то же — пора бы, наверное, и сменить тему.

Но я знала, что никогда этого не сделаю. Все изменилось: остров изменился, и что-то во мне изменилось вместе с ним. Тоска по Ле Салану, жившая во мне все годы, что я была в отъезде, стала чем-то другим — более нутряным, более жестким чувством. А мое возвращение — все иллюзии, все сантименты, все разочарования, вся радость, — теперь я поняла, что ничего этого на самом деле не было. На самом деле я вернулась домой только сейчас.

— Я не сомневался, что могу на тебя рассчитывать. — Он принял мое молчание за согласие. — Знаешь, ты можешь переехать в «Иммортели», пока мы не разберемся со всем этим. Мне неприятно будет, что ты в том доме, с Жаном Большим. Я тебя поселю в свой самый лучший номер. За счет заведения.

Даже сейчас, хотя я точно знала, что он что-то крутит, я почувствовала совершенно неуместную благодарность. Я стряхнула это чувство. Я услышала собственный голос:

— Нет, спасибо. Я останусь дома.

Следующая неделя принесла с собой еще порцию ненастья. Солончаки за деревней затопило, и два года работ по осушению пошли насмарку. Поиски святой пришлось временно прекратить из-за высоких приливов, при том что лишь у кучки оптимистов еще осталась надежда ее отыскать. Погибла вторая рыболовная шлюпка: «Корриган»^[18] Матиа Геноле, самую старую из рабочих лодок на острове, выбросило сильным ветром на сушу совсем рядом с мысом Грино, и Матиа с Аленом не удалось ее спасти. Даже Аристид сказал, что лодку жалко.

— Сто лет ей было, — горевала Капуцина. — Помню, как она выходила в море, когда я еще девочкой была. Паруса были красивые, красные. Конечно, у Аристида в те времена тоже была лодка, «Réoch ha Labour»^[19], я помню, они выходили в море вместе, и каждая пыталась поймать ветер так, чтоб перехватить его у другой. Конечно, еще до того, как Оливье, Аристидов сын, погиб, а сам Аристид потерял ногу. После того «Réoch» гнила в ручейке, пока ее не забрали зимние приливы, и Аристид даже пальцем не шевельнул, чтоб ее спасти.

Она пожала пухлыми плечами.

— В те дни, Мадо, ты бы его не узнала. Он был тогда совсем другой, мужчина в расцвете лет. Смерть Оливье его вчистую подкосила. Он про него никогда не говорит.

Нелепый несчастный случай. Как всегда. Оливье и Аристид осматривали разбитый траулер на Ла Жете, при отливе; внезапно траулер сдвинулся, и Оливье застрял ниже ватерлинии. Аристид пытался добраться до него на «Réoch», но провалился между своей лодкой и корпусом разбитого корабля, и ему раздробило ногу. Он звал на помощь, но никто не услышал. Через три часа Аристида подобрала идущая мимо рыбацкая лодка, но к этому времени уже начался прилив, и Оливье утонул.

— Аристид все слышал, — сказала Капуцина, отправляя вдогонку кофе глоток черносмородинового ликера. — Говорит, слышал, как Оливье звал на помощь, кричал и плакал там внизу, пока вода поднималась.

Тела так и не нашли. Траулер не успели обыскать — его утащило приливом в Нидпуль, он ушел под воду слишком глубоко и слишком быстро. Илэр, местный ветеринар, ампутировал Аристиду ногу (в Ле Салане врача не было, а обращаться за помощью к уссинцу Аристид

наотрез отказался), но Аристид утверждает, что чувствует ногу до сих пор — она зудит и ноет по ночам. Он считает, это потому, что Оливье не похоронили. Зато похоронили ногу — Аристид настоял на своем, — и могила в дальнем конце Ла Буш сохранилась до сих пор. Она отмечена деревянным столбом, на котором написано: «Здесь лежит нога старого Бастонне — отправилась в рай вперед хозяина!» Вокруг столба кто-то посадил нечто с первого взгляда напоминающее цветы, но если приглядеться, оказывается, что это картошка. Капуцина подозревает Геноле.

— Потом другой сын, Филипп, от него сбежал, — продолжила она. — А Аристид ввязался в тяжбу против Геноле, а Дезире присматривала за Ксавье, своих-то детей у нее не осталось. Бедняга Аристид с тех пор так и не оправился. Хотя я ему и говорила, что для меня не нога его важна.

Она фривольно-устало хихикнула.

— Еще кофе со смородиновкой?

Я помотала головой. Слышно было, как за вагончиком на дюнах перекрикиваются Лоло и Дамьен.

— Он тогда был красивый мужик, — вспоминала Капуцина. — Да, пожалуй, все они были красивы, все мои особенные мальчики. Сигаретку?

Она ловко закурила и затаилась, издав стон удовольствия.

— Нет? А зря. Знаешь, как успокаивает нервы.

— Не думаю, — улыбнулась я.

— Как хочешь. — Она пожала пухлыми плечами, передернув ими под шелком халата. — А я вот не могу без маленьких грешков.

Она кивнула на коробку вишни в шоколаде, стоявшую у окна.

— Передай-ка мне вот эту, а, миленькая?

Коробка была новая, в форме сердца, и в ней еще оставалась примерно половина конфет.

— От поклонника, — сказала Капуцина, кидая конфету в рот. — Я еще нравлюсь, несмотря на возраст. Возьми штучку.

— Не надо — ты от них получаешь больше удовольствия, чем я.

— Миленькая, я от всего получаю больше удовольствия, чем ты, — сказала Капуцина, закатывая глаза.

Я засмеялась.

— Вижу, ты не позволяешь себе расстраиваться из-за потопов.

— Пфе. — Она опять пожала плечами. — Я всегда могу переехать, если придется. Работы, конечно, будет невпроворот, я ж столько лет тут живу, но я справлюсь.

Она покачала головой.

— Нет, это не мне надо беспокоиться. А что до всех остальных...

— Я знаю. — Я уже рассказала ей о переменах на пляже «Иммортели».

— Но это же такая мелочь, — запротестовала она. — Я не понимаю, как это всего несколько метров волнолома могут так все изменить.

— Для этого много не нужно, — сказала я. — Отвести течение всего на несколько метров. Да, кажется, что это ничего не значит. И все-таки это может поменять ситуацию вокруг всего острова. Как костяшки домино падают, одна за другой. А Бриман знает. Может, он даже именно это и планировал.

Я рассказала ей про сравнение, которое употребил Бриман, — с сиамскими близнецами. Капуцина кивала, слушая и подкрепляясь шоколадными вишнями.

— Миленькая, с этих чертовых уссинцев все станется, — беспечно сказала она. — Хм. Возьми конфетку. Мне еще надарят.

Я нетерпеливо покачала головой.

— Но зачем ему покупать затопленную землю? — продолжала Капуцина. — Ему от нее не больше толку, чем нам.

Всю долгую неделю я пыталась предостеречь саланцев, несмотря на предупреждение Флинна. Мне показалось, что кафе Анжело — самое удобное для этого место, и я часто ходила туда, надеясь заинтересовать рыбаков. Но там вечно шла то игра в карты, то шахматный турнир, то передавали футбол по спутниковому телевидению, это было им гораздо интереснее, а когда я настаивала, то видела лишь пустые взгляды, вежливые кивки, ухмылки, и мои добрые намерения застревали у меня в глотке, я чувствовала, что смешна, и злилась. Люди замолкали, когда я входила. Спины горбились. Лица вытягивались. Я словно слышала, как они шепчут, будто мальчишки при появлении строгой учительницы: «Квочка идет. Быстро делай вид, что занят».

Аристид был со мной все так же враждебен. Это он наградил меня прозвищем Квочка; и мои попытки просветить саланцев насчет передвижения приливов лишь усилили его антагонизм. Теперь он приветствовал меня с мрачным сарказмом каждый раз, как я попадалась ему на глаза.

— А вот и Квочка. Ну как, придумала еще что-нибудь, чтобы нас всех спасти, э? Хочешь вывести нас в землю обетованную? Собираешься сделать нас всех миллионерами?

— Э, Квочка пришла. Ну что, какие планы на сегодня? Собираешься повернуть приливы обратно? Прекратить дождь? Воскресить мертвецов?

Капуцина объяснила мне, что его злость частично объясняется неуспехом его внука у Мерседес Просаж, несмотря на все недостатки соперника. Похоже, сковывающая робость Ксавье в присутствии девушки была еще бóльшим недостатком, чем потеря Геноле средств к существованию. Да и привычка Аристида все время наблюдать за Мерседес и злобно кривиться, стоило ей хоть несколько слов сказать с любым мужчиной, делу не помогала. Я часто видела, как Мерседес сидит у *étier*, когда возвращаются лодки. Она, казалось, не обращала внимания на обоих молодых поклонников, занятая полировкой ногтей или чтением журнала и одетая в разнообразные, одинаково откровенные туалеты.

По ней вздыхали не только Гилен и Ксавье. Я заметила, и меня это немало развеселило, что Дамьен тоже проводил у ручейка довольно много времени — курил, подняв воротник для защиты от ветра. Лоло играл в дюнах один, без Дамьена, с одиноким видом. Мерседес, конечно, совершенно не замечала чувств Дамьена, а если и замечала, то не подавала виду. Я, наблюдая за возвращением детей на микроавтобусе из уссиньерской школы, видела, что Дамьен часто сидит молча даже в компании друзей. Несколько раз я заметила у него на лице синяки.

— Похоже, уссинские дети его в школе обижают, — сказала я в тот вечер Алену в баре у Анжело.

Но Ален не проникся сочувствием. С тех пор как его отец потерял «Корриган», он стал мрачен и неразговорчив и легко обижался даже на невинное замечание.

— Пусть привыкает, — коротко сказал он. — Всегда так: одни дети обижают других. Ему надо с этим свыкнуться, вот и все, как и мы все свыклись.

Я сказала, что, по моему мнению, это слишком жесткая позиция по отношению к тринадцатилетнему мальчику.

— Ему почти четырнадцать, — сказал Ален. — Такова жизнь. Уссинцы и саланцы. Как крабы в корзине. Так всегда было. Моему отцу приходилось меня колотить, чтоб я ходил в школу, — так я боялся. Я ведь выжил, э?

— Может быть, просто выжить — недостаточно, — сказала я. — Может, нам надо научиться давать отпор.

Алан неприятно ухмыльнулся. За спиной у него Аристид поднял голову и изобразил руками хлопанье крыльев. Кровь прилила у меня к щекам, но я сделала вид, что не замечаю.

— Ты знаешь, что делают уссинцы. Ты видел волноломы на «Иммортелях». Если бы мы построили что-нибудь такое на Ла Гулю, тогда, может быть...

— Э! Опять за свое! — рявкнул Аристид. — Даже Рыжий говорит, что это не работает!

— Да, опять! — Я уже разозлилась, и несколько человек подняли головы, услышав мои слова. — Мы могли бы быть в безопасности, если бы сделали то же, что уссинцы. Мы еще можем добиться этой безопасности, если начнем что-то делать сейчас, пока еще не поздно...

— Делать? Что ты хочешь делать? И кто будет за это платить?

— Мы все. Мы можем скинуться. Объединить средства...

— Чепуха! Ничего не выйдет! — Старик уже стоял и яростно глядел на меня через голову Алена.

— У Бримана вышло, — сказала я.

— Бриман, Бриман... — Он треснул палкой оземь. — Бриман богат! И ему везет!

Он зашелся резким кашляющим смехом.

— На острове это все знают!

— Бриману везет, потому что он сам везет, — отозвалась я. — И мы тоже можем. Вам это известно. Этот пляж мог быть наш. Если мы найдем способ повернуть вспять то, что случилось...

На мгновение Аристид встретился со мной взглядом, и мне показалось, что между нами что-то произошло, словно искорка понимания проскочила. Потом он опять отвернулся.

— Мы — саланцы! — отрезал он с прежней злостью в голосе. — На кой черт нам пляж?

Я, разочарованная и злая, обратила все силы на завершение ремонта дома. Я позвонила в Париж, своей квартирной хозяйке, предупредив ее, что задерживаюсь на несколько недель, сняла еще денег с банковского счета и проводила все дни за уборкой и покраской. Жан Большой, кажется, слегка оттаял, хотя все еще редко удостаивал меня словом; он молча наблюдал, как я работала, иногда помогал мыть посуду, держал лестницу, когда я красила или меняла выбитые черепицы на крыше. Иногда он терпел радио; очень редко — разговоры.

Мне пришлось вновь научиться толковать его молчание, читать его жесты. Ребенком я это умела и опять научилась, как руки вспоминают давно забытый музыкальный инструмент. Мелкие жесты — незаметные для постороннего, но исполненные тайного смысла. Горловые звуки, означающие удовольствие или усталость. Редкая улыбка.

Я поняла, что молчание отца на самом деле — глубокая, молчаливая депрессия. Отец словно изъял себя из потока обыденной жизни и погружался, как тонущая лодка, все глубже и глубже в слои равнодушия, пока наконец не погрузился так глубоко, что стал почти недосыгаем; и посиделки за рюмками в баре Анжело, кажется, только ухудшали дело.

— Он придет в себя в конце концов, — сказала Туанетта, когда я поделилась своими опасениями. — На него порой находит — на месяц, полгода, бывает — дольше. Мне только жалко, что с некоторыми другими людьми никогда такого не бывает.

Я нашла ее в саду, она собирала улиток с поленницы в большую кастрюлю; кажется, ей в отличие от всех саланцев нравилась плохая погода.

— Кое-чем и дождь полезен, — объявила она, наклоняясь так сильно, что у нее затрепал хребет. — Улитки вот повылезли.

Она с трудом нагнулась за поленницу, вытащила, сопя, улитку и плюхнула в кастрюлю.

— Ха! Мелкая гадина. — Она подняла кастрюлю и показала мне. — Лучшая в мире еда, вот. Ползают кругом, прямо-таки просят на обед. Подержать их с солью, чтобы слизь вышла Потом на сковородку с луком-шалотом и красным вином. Будешь жить вечно. Знаешь что, — она протянула мне кастрюлю, — снеси-ка отцу несколько штук. Вдруг ему это поможет вылезти из скорлупы, э?

И она радостно захихикала.

Хотелось бы мне, чтобы все было так просто. Жан Большой все так же ежедневно ходил на Ла Буш, хотя вода слегка спала. Иногда он оставался там до ночи, копая отводные канавы вокруг залитых водой могил, но чаще лишь стоял возле устья ручейка и смотрел, как вода поднимается и спадает.

Мокрый август перешел в штормовой сентябрь, и, хотя ветер опять свернул на запад, положение Ле Салана не улучшилось. Аристид сильно простудился, собирая моллюсков на отмели у Ла Гулю. Туанетта Просаж тоже заболела, но отказалась повидать Илэра.

— Еще не хватало, чтоб ветеринар мне указывал, как лечиться, — сердито хрипела она. — Пускай лечит своих коз и лошадей. Мне еще не настолько плохо.

Оме пытался шутить на эту тему, но я видела, что ему не по себе. Бронхит в девяносто лет — не шутки. А ведь самая плохая погода была еще впереди. Это все знали, и все были на взводе.

По общему мнению, Ла Буш был наименьшей из проблем.

— Там всегда было плохо, — сказал Анжело, который был родом из Фроментина, и, следовательно, никто из его родни не лежал на Ла Буш. — Что поделаешь, э?

Только старики по-настоящему расстраивались из-за затопленного кладбища; в том числе — Дезире Бастонне, жена Аристида, которая навещала могилу сына с трогательной пунктуальностью, каждое воскресенье после мессы. Все сочувствовали Дезире, но общее мнение было таково, что живые важнее мертвых.

С Дезире я со времени своего приезда разве что здоровалась — она убегала почти сразу, задерживаясь ровно настолько, чтоб не показаться невежливой, хотя, как мне казалось, она не то чтобы не хотела со мной говорить, а просто боялась разгневать Аристида. На этот раз она была одна; возвращалась по уссиньерской дороге пешком, одетая в привычный траур. Я улыбнулась ей, когда она проходила мимо, и она посмотрела на меня ошарашенно, а потом, торопливо оглянувшись вправо и влево, улыбнулась в ответ. Ее личико ныряло вверх-вниз под черной островной шляпой. В руке она держала букетик желтых цветов.

— Мимоза, — сказала она, уловив мой взгляд. — Оливье эти цветочки больше всего любил. Мы всегда их ставили на его день рождения — такие веселые цветочки и пахнут так хорошо.

Она неловко улыбнулась.

— Аристид говорит, это все чепуха, конечно, и они такие дорогие, когда не сезон. Но я подумала...

— Вы идете на Ла Буш.

Дезире кивнула.

— Ему было бы пятьдесят шесть.

Пятьдесят шесть лет; может, и внуками обзавелся бы. Я видела у нее в глазах что-то яркое и невыразимо печальное: образ внуков, которые у нее могли быть.

— Я собираюсь купить мемориальную дощечку, — продолжала она. — Для церкви в Ла Уссиньере. «Любимый сын; погиб в море». Отец Альбан говорит, я смогу класть к ней цветы, когда перееду в «Иммортели».

В ее улыбке были доброта и боль.

— Мадо, твой отец — счастливчик, что бы там ни говорил Аристид, — сказала она. — Ему повезло, что ты вернулась домой.

Это была самая длинная речь, какую я когда-либо слышала от Дезире Бастонне. Меня это так поразило, что я не могла выговорить ни слова, а к тому времени, когда я нашлась, что ответить, она уже прошла мимо, все так же держа свой букетик мимозы.

Я нашла Ксавье возле *étier* — он промывал из шланга пустые садки для омаров. Он был даже бледнее обычного, а очки делали его похожим на заблудившегося профессора.

— Твоя бабушка что-то плохо выглядит, — сказала я ему. — Скажи ей, в следующий раз, как ей понадобится в Ла Уссиньер, пусть скажет мне, я ее на тягаче отвезу. Ей нельзя ходить туда пешком, в ее-то возрасте.

Ксавье явно было не по себе.

— Она простыла, вот и все, — сказал он. — Она столько времени торчит на Ла Буш. Она думает, если достаточно долго молиться, можно выпросить чудо.

Он пожал плечами.

— Я думаю, если б святая могла дать нам чудо, она б это уже давно сделала.

Я видела на том берегу ручейка, у останков «Элеоноры», Гилена с братом. Разумеется, и Мерседес была неподалеку, полировала ногти, одетая в ярко-розовую футболку с надписью «ДАВАЙ СЮДА». Все время, пока мы говорили, Ксавье не сводил с нее глаз.

— Мне предложили работу в Ла Уссиньере, — сказал он. — На фасовке рыбы. Платят хорошо.

— Да?

Он кивнул.

— Не могу же я здесь оставаться, — сказал он. — Надо перебираться

туда, где деньги. Все знают, что Ле Салану конец. Так лучше брать что дают, пока кто-нибудь не перебил.

Гилен на том берегу засмеялся, чуть-чуть слишком громко, над какими-то словами Дамьена. Большой кукан кефали небрежно висел на носу лодки.

— Он покупает эту рыбу у Жожо Чайки, — тихо сказал Ксавье. — И делает вид, что поймал ее на Ла Гулю. Можно подумать, ей не наплевать, сколько он рыбы наловил.

Мерседес, словно поняв, что мы говорим о ней, вынула зеркальце и подновила помаду на губах.

— Если бы только удалось убедить дедушку, — продолжал Ксавье. — За дом еще можно что-то выручить. И за лодку. Если бы только он не был так намертво против того, чтобы продавать уссин...

Он неловко осекся, словно поняв, что выдал себя.

— Он старый человек, — сказала я. — Он не любит перемен.

Ксавье покачал головой.

— Он пытается осушить Ла Буш, — сказал он, чуть понизив голос. — Он думает, что про это никто не знает.

Оттого он и заболел, сказал Ксавье: простудился, копая канавы вокруг могилы сына. Судя по всему, старик в одиночку прокопал десять метров канавы, вдоль всей кладбищенской дорожки, пока не свалился. Его нашел Жан Большой и привел к нему Ксавье.

— Старый дурак, — сказал Ксавье, но в голосе его слышалась любовь. — Он и правда думает, что можно что-то изменить.

Я, должно быть, заметно удивилась, потому что Ксавье засмеялся.

— Он не такой жесткий, как прикидывается, — сказал он. — И он знает, как Дезире переживает из-за Ла Буша.

Это меня удивило. Я всегда считала Аристиду патриархом, равнодушным к чьим бы то ни было чувствам. Ксавье продолжал:

— Будь он один, он бы уже давно ушел в «Иммортели», когда мог получить хорошую цену за дом. Но он не мог так поступить из-за бабушки. Он ведь и за нее отвечает.

Я думала об этом по дороге домой. Аристид — заботливый муж? Аристид — сентиментален? Интересно, нет ли и у моего отца этой черточки, не пылал ли когда-то огонь под его внешним бесстрашием?

В последние несколько дней Флинн стал более доступным, ближе к тому, каким он был во время нашей первой встречи в Ла Уссиньере в обществе двух сестер. Может, из-за Жана Большого; с тех пор как я отвергла предложение Бримана — поселить отца в «Иммортели», —

враждебность деревенских по отношению ко мне начала понемногу спадать, несмотря на злобные насмешки Аристида. Я поняла, что Флинн по-настоящему привязан к моему отцу, и мне было немного стыдно, что я так ошибочно судила о нем. Он проделал огромную работу, чтобы расплатиться за свое пользование блокгаузом: даже сейчас он заходил каждые несколько дней с рыбой, которую поймал (а может, спер из чужого улова), с пучком овощей или сделать какую-нибудь работу, которую обещал Жану Большому. Я начала задумываться, как же мой отец вообще справлялся до появления Флинна.

— О, да он бы справился молодцом, — сказал Флинн. — Он крепче, чем вы думаете.

В этот вечер я нашла Флинна в его блокгаузе, за постройкой водопровода.

— Под скалой — песок, он фильтрует воду, — объяснил Флинн. — Мне только и остается, что накачать ее насосом в дом.

Это была типичная для него хитроумная идея. Я видела следы его работы по всей деревне: старый ветряк, отстроенный, чтобы качать воду, осушая поля; генератор в сарае у Жана Большого; дюжина сломанных вещей, которые теперь починены, отполированы, смазаны, прилажены, восстановлены и введены в строй при участии лишь умелых рук и нескольких запчастей.

Я рассказала ему про свою беседу с Ксавье и спросила, нельзя ли построить что-то подобное для осушения Ла Буша.

— Может, его и удастся осушить, — сказал Флинн, поразмыслив, — но вряд ли получится сохранить от затопления. Его заливают каждый раз при высокой воде.

Я подумала об этом. Он был прав: Ла Буш мало просто осушить. Нужно нечто вроде волнолома, как в Ла Уссиньере, — сплошной каменный барьер, чтобы защитить устье Ла Гулю и сдержать атаки приливов на ручеек. Это я и сказала Флинну.

— Если уссинцы смогли построить плотину, — сказала я, — то и мы можем. Камень возьмем с Ла Гулю. И снова заживем в безопасности.

Флинн пожал плечами.

— Возможно. Если вы как-то сумеете собрать деньги. И убедить достаточно народу вам помочь. И в точности вычислить, где надо построить плотину. Пара метров в ту или другую сторону — и, считай, работа пропала даром. Нельзя просто свалить сотню тонн камня у оконечности мыса и считать, что дело сделано. Вам понадобится инженер.

Меня это не обескуражило.

— Но это можно сделать? — не отставала я.

— Скорее всего, нет. — Он внимательно осмотрел механизм насоса и что-то подкрутил. — Это лишь переадресует вашу проблему куда-то еще. И то, что уже размыло, не принесет обратно.

— Нет, но, может быть, это спасет Ла Буш.

Флинн как будто развеселился.

— Старое кладбище? А толку?

Я напомнила ему про Жана Большого.

— Для него это был сильный удар, — сказала я — Святая, Ла Буш, «Элеонора»...

И конечно, хотя об этом я не стала говорить вслух, мое собственное прибытие и все вызванные им неурядицы.

— Он считает, что я виновата, — сказала я наконец.

— Нет. Не считает.

— Он из-за меня уронил святую. А теперь поглядите, что случилось с Ла Бушем...

— Мадо, я вас умоляю. Почему вы вечно считаете себя за все в ответе? Неужели не можете дать делам идти своим чередом?

Голос Флинна был сух, хотя он все еще улыбался.

— Мадо, он не вас винит. Он винит самого себя.

Обидевшись, что мне не удалось убедить Флинна, я пошла прямо на Ла Буш. Был отлив, и вода стояла низко, но все равно многие могилы оставались под водой, и вдоль дорожки были глубокие лужи. Чем ближе к ручью, тем ущерб был сильнее: морской ил застыл потеками на краю стены, когда-то укреплявшей устье.

Вот она, уязвимая область, всего десять-пятнадцать метров в длину. Когда прилив устремлялся вверх по ручейку, вода переливалась через края, примерно так же, как и в Ле Салан, и впитывалась в солончаки. Если только чуть-чуть приподнять берег, чтобы вода успевала сойти...

Кто-то уже пытался это сделать — в устье ручья были навалены мешки с песком. Видно, мой отец или Аристид. Но ясно было, что одними мешками не спастись: их понадобились бы сотни, чтобы хоть как-то защитить русло. Я опять подумала про каменную стену: не на Ла Гулю, а здесь; может, это временная мера, но хоть как-то привлечет внимание, покажет саланцам, что можно сделать...

Я вспомнила про отцовский тягач и прицеп в заброшенной шлюпочной мастерской. Там и подъемник был, если только я смогу им управлять; лебедка, предназначенная, чтобы поднимать лодки для осмотра и починки. Она работала медленно, но я знала, что она может поднять любую рыбацкую лодку, даже такую, как «Мари-Жозеф» Жожо. Я подумала, что с лебедкой мне, может быть, даже удастся стащить к ручью большие камни, чтобы построить что-то вроде барьера, а потом, может быть, укрепить его накопанной землей и удерживать все это на месте камнями и брезентом. Я решила, что это может сработать. В любом случае стоит попробовать.

Мне понадобилось почти два часа, чтобы пригнать на Ла Буш тягач с подъемником. Была середина дня, но солнце призраком пряталось за покровом облаков, и ветер опять переменялся — резко, к югу. На мне были рыбацкие сапоги, *vareuse*, вязаная шапочка и перчатки, но все равно становилось холодно, и ветер был влажный — не дождь, но водяная пыль, какая обычно летит от поднимающегося прилива. Я посмотрела, где солнце, и решила, что у меня есть еще четыре или пять часов: довольно мало для того, что мне надо было сделать.

Я работала так быстро, как только могла. Я уже заметила несколько больших отдельных камней, но их оказалось не так просто вытащить, как я предполагала, и мне пришлось копать, чтобы высвободить их из дюны.

Вокруг них сразу набежала вода, а я с помощью тягача выдернула их с мест. Подъемник с выматывающей душу медлительностью устанавливал камни на место своей короткой крановой стрелой. Мне пришлось несколько раз передвигать каждый камень, прежде чем он оказывался где надо, каждый раз заново закреплять толстые цепи вокруг камня, возвращаться к подъемнику, опускать стрелу так, чтобы камень касался устья ручейка в нужном месте, и снимать цепи. Я промокла почти сразу, несмотря на рыбацкую одежду, но почти не замечала этого. Я видела уровень поднимающейся воды; вода стояла уже опасно высоко у поврежденного берега, и ветер покрывал ее рябью. Но валуны уже стояли на месте, их закрывал кусок брезента, мне оставалось лишь придавить его уже набранными камнями, подсыпать земли — и дело сделано.

И тут сломался подъемник. Не знаю, то ли что-то случилось со стрелой, может, я ее перегрузила сверх меры, то ли с двигателем, а может, все дело было в том, что я провезла подъемник по мелководью, но он застыл и отказался двигаться. Я потеряла какое-то время, отыскивая причину поломки, потом, когда стало ясно, что мне это не удастся, стала носить камни вручную, выбирая самые большие, какие мне только удавалось поднять, и скрепляя их вместе полными лопатами земли. Прилив живенько поднимался, подбадриваемый южным ветром. Я слышала, как вдалеке по отмелям идут первые волны. Я продолжала копать, используя прицеп тягача для подвоза земли к постройке. Я использовала весь брезент, какой у меня был, и набросала побольше камней, придавливая его, чтобы землю не смыло.

Я закрыла меньше четверти нужного расстояния. Но все равно мое наспех сделанное сооружение пока держалось; если бы только не сломалась лебедка...

Уже темнело, хотя облака немного поредели. Ближе к Ле Салану небо было красно-черное, зловещее. Я на мгновение остановилась, чтобы размять ноющую спину, и увидела, что кто-то стоит надо мной, на дюне, силуэтом на фоне неба.

Жан Большой. Я не видела лица, но, судя по его позе, он за мной наблюдал. Он смотрел еще несколько секунд, потом, когда я пошла к нему, неловко плюхая по грязной воде, просто повернулся и исчез за гребнем дюны. Я пошла за ним, но — от усталости — слишком медленно, зная, что, пока я дойду до места, отца там уже не будет.

Я видела, как внизу прилив шел вверх по ручью. Прилив был еще невысоко, но со своей позиции я уже видела слабые места сооружения: места, где ловкие пальчики бурой воды смогут пробраться через рыхлую

землю и камни, открывая путь. Тягач уже стоял по брюхо в воде; еще немного — и двигатель зальет. Я выругалась и помчалась вниз к ручейку, завела мотор, он дважды заглох, потом мне наконец удалось отогнать шумно протестующий тягач в облаке маслянистого выхлопа на безопасное место.

Чертов прилив. Чертово невезение. Я со злости бросила в воду камень. Он ударился об укрепления в устье с издевательским плеском. Я выдрала останки мертвой азалии и швырнула туда же. Я поняла, что во мне бушует внезапная, апокалипсическая ярость, готовая взорваться, и через секунду уже швыряла в ручей все, что могла поднять, — камни, пла́вник, всякий мусор. Лопата, которой я раньше копала, все еще лежала в прицепе; я схватила ее и принялась яростно копать мокрую землю, взметая в воздух невозможный душ из земли и воды. Из глаз у меня текли слезы; горло болело. Какое-то время я не сознавала, что делаю.

— Мадо, остановись. Мадо!

Я, должно быть, слышала его, но повернулась только тогда, когда его рука легла мне на плечо. Мои ладони под перчатками покрылись волдырями. Было больно дышать. Лицо покрылось коркой запекшейся грязи. Он стоял у меня за спиной, по щиколотку в воде. Обычная ирония исчезла: теперь у него вид был сердитый и обеспокоенный.

— Мадо, ради бога. Ты что, никогда не сдаешься?

— Флинн. — Я тупо уставилась на него. — Что вы тут делаете?

— Я искал Жана Большого. — Он нахмурился. — Я кое-что нашел, что вынесло приливом на Ла Гулю. Думал, ему будет интересно.

— Опять омары, — ядовито предположила я, вспоминая первый день на Ла Гулю.

Флинн сделал глубокий вдох.

— Вы такая же сумасшедшая, как Жан Большой, — сказал он. — Вы же тут убьетесь.

— Нужно же что-то делать, — сказала я, подбирая лопату, которую уронила, когда он меня остановил. — Кто-то должен им показать.

— Кому показать? И что?

Он пытался держать себя в узде, но получалось это у него плохо; в глазах горел опасный огонек.

— Показать им, как можно дать отпор. — Я пригвоздила его взглядом. — Как держаться вместе.

— Держаться вместе? — презрительно переспросил он. — Вы же, кажется, уже пробовали? И как, вышло?

— Вы прекрасно знаете, почему у меня ничего не вышло, — сказала я.

— Если бы только вы ввязались в дело — вас они послушали бы...

Он с усилием заговорил спокойно:

— Вы, кажется, не понимаете. Я не хочу влезать в это дело. Зачем совать руку в корзину с крабами? Ничего не выйдет, а в конечном итоге получится только хуже.

— Если Бриман смог защитить «Иммортели», — настаивала я сквозь стиснутые зубы, — то и мы можем сделать то же самое. Мы можем восстановить старый волнолом, укрепить утесы на Ла Гулю...

— Конечно, — ехидно сказал Флинн. — Вы, и двести тонн камня, и землечерпалка, и инженер-гидротехник, и... скажем... примерно полмиллиона франков.

На секунду я растерялась.

— Так много? — отозвалась я наконец.

— Не меньше.

— Вы, кажется, неплохо разбираетесь в этих делах.

— Нуда, я замечаю такие вещи. Я видел работы в «Иммортелях». Могу сказать, что это дело не простое. К тому же Бриман строил на основании, заложенном тридцать лет назад. А вы хотите строить все с нуля.

— Вы обязательно что-нибудь придумаете, если захотите, — повторила я, дрожа. — Вы разбираетесь в устройстве разных вещей. Вы можете найти способ.

Флинн смотрел на горизонт, словно там можно было что-то увидеть.

— Вы никогда не сдаетесь, верно?

— Никогда. — Наотрез.

Он не глядел на меня. За спиной у него были низкие облака, почти того же охряного цвета, что и его волосы. От соленого запаха надвигающегося прилива у меня щипало глаза.

— И вы не успокоитесь, пока не добьетесь результатов?

— Нет.

Пауза.

— А оно действительно того стоит? — спросил он наконец.

— Для меня — да.

— Что я хочу сказать. Еще одно поколение — и здесь никого не будет. Ради бога, посмотрите на них. Любой, у кого осталась хоть капля мозгов, уже давно уехал. Может, лучше предоставить событиям идти своим чередом?

Я только поглядела на него и ничего не сказала.

— Деревни все время умирают. — Он говорил тихо, убедительно. — И вы это знаете. Это часть здешней жизни. Может, это даже пойдет людям на

пользу. Заставит их снова поработать головой. Построить себе новую жизнь. Посмотрите на них: они кровосмесительствуют, вымирают. Им нужен приток свежей крови. Здесь они цепляются за пустоту.

Упрямо:

— Это неправда. Они имеют право. И большинство из них — старики. Слишком старые, чтобы начать новую жизнь в другом месте. Подумайте про Матиа Геноле, или про Аристиде Бастонне, или про Туанетту Просаж. Остров — вот все, что они знают. Они никогда не переедут на материк, даже если туда переберутся их дети.

Он пожал плечами.

— Ле Салан — еще не весь остров.

— Что? Хотите сделать их гражданами второго сорта в Ла Уссиньере? Чтобы снимали жилье у Бримана? А откуда они возьмут деньги? Ни один из этих домов, знаете ли, не застрахован. Они все слишком близко к морю.

— Есть еще «Иммортели», — мягко напомнил он.

— Нет! — Я, наверное, подумала об отце. — Это невысказано. Здесь их дом, пусть несовершеннолетний, пусть тут все непросто, но таков уж он есть. Это дом, — повторила я. — И мы отсюда никуда не уедем.

Я ждала. Насыщенный запах прилива пропитывал все вокруг. Я слышала удары волн, как удары крови у себя в ушах, у себя в жилах. Я, внезапно став очень спокойной, смотрела на него, ждала, пока он заговорит.

Он вздохнул.

— Знаете, даже если я что-нибудь придумаю, это может не сработать. Одно дело — починить ветряк, а тут совсем другое. Никаких гарантий я дать не могу. Нам придется заставить деревенских сплотиться. Нам нужно будет, чтобы все саланцы работали не покладая рук. Понадобится чудо.

«Нам». От этого слова у меня запылали щеки и бешено заколотилось сердце.

— Так значит, это можно сделать? — проговорила я, задыхаясь, почти бессмысленно. — Можно остановить затопление?

— Мне надо будет подумать. Но есть способ заставить их сплотиться.

Он опять смотрел на меня с любопытством, словно я его забавляла. Но теперь в этом взгляде было кое-что еще, он смотрел пристально, остановил на мне взор, словно бы видел меня впервые. Я не знала, нравится ли мне это.

— Знаете что, — сказал он наконец, — возможно, не все вам скажут спасибо. Даже если у нас получится, может статься, что вас за это возненавидят. У вас уже сложилась своего рода репутация.

Это я знала.

— Мне все равно.

— Кроме того, мы собираемся нарушить закон, — продолжал он, — По закону надо подать заявку, собрать документы, планы. Понятно, что мы этого сделать не сможем.

— Я же сказала. Мне все равно.

— Нам понадобится чудо, — повторил он, но я видела, что он вот-вот рассмеется. Глаза, такие холодные минуту назад, были полны огоньков и отражений.

— Ну и что?

Тут он откровенно расхохотался, и я поняла, что, хотя саланцы часто улыбаются, ухмыляются и даже хихикают под сурдинку, мало кто из них когда-нибудь смеется вслух. Этот звук показался мне экзотическим, чуждым, словно из далекой страны.

— Договорились, — сказал Флинн.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРИЛИВ,
ОБРАЩЕННЫЙ ВСПЯТЬ

1

Ночью залило дом Оме. От дождя разбух ручей, который с приливом опять разрушил береговые укрепления, а поскольку дом Оме был ближе всех, он и пострадал первым.

— Теперь они даже не дают себе труда вытащить мебель наружу, — объяснила Туанетта. — Шарлотта просто открывает все двери и ждет, пока вода вытечет обратно. Я бы их забрала к себе, да тут места нет. И к тому же эта ихняя девчонка действует мне на нервы. Я уже слишком стара для девчонок.

С Мерседес тоже стало трудно как никогда. Ей уже недостаточно было Гилена и Ксавье — она завела привычку проводить время в Ла Уссиньере, в «Черной кошке», царствуя над поклонниками-уссинцами. Ксавье считал, что всему виной собственнические замашки Аристиды. Шарлотта, которой как раз нужна была помощь по хозяйству, сбивалась с ног. Туанетта пророчила несчастье.

— Она играет с огнем, — объявила Туанетта. — Ксавье Бастонне хороший мальчик, но в глубине души упрям, как его дед. В конце концов она его потеряет — а уж я знаю Мерседес, тут-то она и поймет, что только его и хотела с самого начала.

Если Мерседес предполагала, что ее отсутствие спровоцирует какую-то реакцию, она, конечно, была разочарована. Гилена и Ксавье продолжали сверлить друг друга взглядами с разных берегов *étier*, словно любовники. Случалось мелкое злобное хулиганство, в котором они обвиняли друг друга — так, кто-то порезал паруса на «Сесилии», ведро рыболовных червей внезапно оказалось в сапоге у Гилена — хотя никто не мог ничего доказать. Юный Дамьен совсем пропал из Ле Салана и теперь проводил большую часть времени, околавываясь на эспланаде и затевая драки.

Меня тоже туда тянуло. Хоть сезон и кончился, там была какая-то жизнь, ощущались какие-то возможности. Ле Салан был даже мертвее, застойнее обычного. На него больно было смотреть. Вместо этого я отправлялась на «Иммортели» с альбомом и карандашами, хотя мои пальцы были неуклюжи и рисовать я не могла. Я ждала; чего, кого — не знаю.

Флинн никак не намекал, чего именно надо ждать. Он сказал, что мне лучше не знать. Тогда я буду реагировать более естественно. После нашего

разговора он несколько дней не показывался вообще, и, хотя я знала, что он что-то затевает, он отказался раскрыться, даже когда я его разыскала.

— Вы этого не одобрите.

Сегодня его словно распирала энергия, глаза были как порох — серые, сверкающие, взрывоопасные. В слегка приоткрытую дверь блокауза у него за спиной видно было, что внутри стоит какой-то предмет — большой, завернутый в простыню. К стене была прислонена лопата, еще черная — вся в отмельном иле. Флинн заметил, куда я смотрю, и пинком захлопнул дверь.

— Мадо, какая же вы подозрительная, — обиженно сказал он. — Я же вам сказал, я работаю над вашим проектом.

— А как я узнаю, что началось?

— Узнаете.

Я опять покосилась на дверь блокауза.

— Вы случайно ничего не украли?

— Разумеется, нет. Там ничего нету, просто всякая всячина, что я нашел при отливе.

— Опять лазите по чужим садкам, — неодобрительно сказала я.

Он ухмыльнулся.

— Никак не можете мне забыть тех омаров, да? Подумаешь, залез подружески в чужой садок.

— В один прекрасный день кто-нибудь вас за этим поймает, — сказала я, пытаясь удержаться от улыбки, — и пристрелит, и так вам и надо.

Флинн только засмеялся, но на следующее утро я обнаружила у задней двери большой сверток в подарочной бумаге, перевязанный алой лентой.

Внутри был один-единственный омар.

Все началось вскоре после того, в душную грозовую ночь. В эти ветреные ночи Жан Большой часто бывал беспокоен. Он вставал проверить ставни или сидел в кухне — пил кофе и слушал шум моря. Я задавалась вопросом, что же он пытается услышать.

В ту ночь я тоже никак не могла уснуть. Опять поднялся южный ветер, и я слышала, как он царапается в двери и визжит в окнах, словно стая крыс. Около полуночи я задремала, мне урывками снилась мать, и я тут же забывала эти сны, но меня не покидала память о ее прерывистом дыхании, когда мы лежали бок о бок в очередной дешевой съемной комнатухе; дыхание, и то, как оно порой приостанавливалось на полминуты или больше, а потом, сипя, возобновлялось...

В час ночи я встала и сварила кофе. Через щели в ставнях виднелся

красный свет бакена с той стороны Ла Жете, а за ним — горизонт, пылающий мрачным оранжевым цветом и озаряющийся кое-где сполохами. Море хрипело, ветер не достиг силы урагана, но был достаточно силен, чтобы тросы на пришвартованных кораблях запели, и время от времени швырял в стекла горсти песку. Я прислушалась, и мне почудился одинокий удар колокола — бум! — жалобный звук на фоне ветра. Я сказала себе, что мне показалось, ночной обман слуха, но тут же услышала второй удар, потом третий — они все отчетливее вызванивали, перекрывая шум волн и ветра.

Я вздрогнула.

Звон становился все громче, его приносили с мыса порывы ветра. Звук был зловещий, неестественно гулкий, словно колокол затонувшего корабля предвещал беду. Глядя в сторону скалистого мыса, я, кажется, что-то увидела на море — пляшущий синеватый свет. Он стремился с земли вверх — одна вспышка, вторая, — разрывая облака зловещей волной бледного огня.

Внезапно я поняла, что Жан Большой встал с постели и стоит рядом со мной. Он был полностью одет, вплоть до *vareuse* и сапог.

— Все в порядке, — сказала я. — Не о чем беспокоиться. Просто гроза идет.

Отец ничего не сказал. Он недвижно стоял рядом, как деревянная фигура, как одна из тех игрушек, что он делал мне в детстве из обрезков дерева в своей мастерской. Он ничем не показал даже, что услышал мои слова. Но я чувствовала исходящие от него сильные эмоции; что-то такое, что цепляло меня, как кошка — клубок лески. Руки у него дрожали.

— Все будет хорошо, — глупо сказала я.

— Маринетта, — сказал отец.

Голос был ржавый, словно им давно не пользовались. Несколько секунд слоги гонялись друг за другом у меня в голове, не поддаваясь расшифровке.

— Маринетта, — опять сказал Жан Большой, на этот раз более настойчиво, кладя руку мне на предплечье. Голубые глаза смотрели умоляюще.

— Это просто колокол в церкви звонит, — успокаивающе повторила я. — Я тоже слышу. Ветер доносит звук из Ла Уссиньера, вот и все.

Жан Большой нетерпеливо покачал головой.

— Ма... ринетта, — сказал он.

Флинн — я была уверена, что это его рук дело, — выбрал удивительно подходящий символ и подходящий момент. Но от реакции отца на колокольный звон у меня кровь похолодела. Он стоял, напрягаясь, как пес

на поводке, и рука его сжимала мою крепко, до синяков. Лицо его побелело.

— Скажи мне, что такое? — спросила я, осторожно отнимая свою руку.
— Что случилось?

Но Жан Большой вновь лишился речи. Только глаза говорили, темные от нахлынувших чувств, словно у святого, который слишком долго был в пустыне и в конце концов лишился рассудка.

— Все будет хорошо, — повторила я. — Я пойду погляжу, что там такое. Я мигом.

И, оставив его, прильнувшего к окну, я надела непромокаемую куртку и вышла в грозовую ночь.

Шум моря был чудовищен, но колокол все равно было слышно, тяжкий, зловещий звон, от которого, казалось, дрожала земля. Когда я подходила, из-за дюны вылетел еще один сноп света. Он расплзся по небу, осветив все, потом так же быстро угас. Я видела, что в окнах загорается свет, открываются ставни, люди — едва узнаваемые в плащах и шерстяных шапках — стояли, любопытствуя, у дверей или облокачивались на заборы. Я различила грузную фигуру Оме — он стоял, прислонившись к дорожному знаку, а рядом с ним кто-то в хлопающем на ветру халате — конечно, Шарлотта. Мерседес стояла у окна в ночной рубашке. Тут были и Гилен с Аленом Геноле, и Матиа от них не отставал. Кучка детей, в том числе Лоло и Дамьен. Лоло в красной кепке возбужденно прыгал в тусклом свете, падающем из открытой двери. Тень его выделявала антраша. Голос едва донесся до меня, перекрываемый зловещим звоном колокола.

— Что за чертовщина? — Это был Анжело, закутанный до ушей в рыбацкий плащ и вязаную шапку. В руке он держал фонарик и посветил ненадолго мне в лицо, словно проверяя, нет ли тут чужих. Узнав меня, он, кажется, приободрился.

— А, Мадо, это ты. Ты была на мысу? Что там творится?

— Не знаю. — Ветер присвоил себе мой голос, и он звучал слабо и неуверенно. — Я увидела свет...

— Э, попробовал бы кто его не увидеть. — Это Геноле добрались до дюны, у обоих были рыбацкие фонари и ружья.

— Если какой-нибудь сукин сын затеял играть в игры на мысу... — Ален многозначительно повел ружьем. — С этих Бастонне все станется. Я-то, конечно, пойду на мыс, посмотрю, что там творится, но оставлю мальчишку сторожить. Они, должно быть, думают, что я вчера родился, чтобы купиться на такой трюк.

— Кто бы за этим ни стоял, это не Бастонне, — объявил Анжело, указывая пальцем. — Вон старый Аристид, позади нас, и Ксавье, держит его за руку. Похоже, они тоже спешат.

И правда, старик хромал по Атлантической улице так быстро, как только мог, опираясь для равновесия на палку с одной стороны и на внука — с другой. Ветер трепал длинные волосы старика, выбивающиеся из-под рыбацкой кепки.

— Геноле! — заорал он, как только оказался в пределах слышимости.

— Я так и знал, что это вы, сукины дети, устроили! Какого черта, во что вы тут играете, разбудили всю деревню в этакый час?

Матиа засмеялся.

— Не думай запорошить мне глаза, — сказал он. — Вор всегда громче всех кричит «держи вора!». Не будешь же ты утверждать, что ты тут ни при чем, э? А чего же ты тогда так быстро вышел?

— Моя жена ушла, — сказал Аристид. — Я услышал, как дверь хлопнула. На утесах в такую погоду — в ее-то возрасте, — она до смерти простудится!

Он поднял палку, и голос его пресекся от ярости.

— Что вы никак не оставите ее в покое? — хрипло закричал он. — Хватит и того, что твой сын... твой сын...

Он попытался ударить Матиа палкой и упал бы, если бы Ксавье не удержал его. Гилен поднял ружье. Аристид захихикал.

— Ну давай, давай! — заорал он. — Мне плевать! Стреляй в безногого старика, давай, давай, чего еще ждать от Геноле, ну давай, я могу поближе подойти, чтоб даже ты не промахнулся — святая Марина, да перестанет ли этот сучий колокол звонить?

Он, шатаясь, сделал шаг вперед, но Ксавье удержал его.

— Мой отец говорит, что это Маринетта, — сказала я.

Секунду Геноле и Бастонне смотрели на меня. Потом Аристид покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Просто кто-то шутки шутит. Никто не слышал, чтоб Маринетта звонила, с тех пор, как...

Какое-то чутье велело мне обернуться назад, на дюну. Там, на фоне бурного неба, стоял человек. Я узнала отца. Аристид его тоже увидел и, сопя, проглотил то, что собирался сказать.

— Отец, — мягко сказала я, — может, ты лучше пойдешь домой?

Но Жан Большой не двигался. Я обняла его и почувствовала, что он дрожит.

— Послушайте, мы все устали, — сказал Ален потише. — Давайте уже пойдем и поглядим, что там творится, э? Мне утром рано вставать.

Потом, повернувшись к сыну, неожиданно сердито:

— А ты, ради бога, убери ружье. Ты что, на Диком Западе?

— Оно только солью... — начал Гилен.

— Я сказал — убери!

Гилен с обиженным видом опустил ствол. С мыса взлетели вверх еще две вспышки, треска и сыпля голубым огнем во взбаламученный воздух. Я почувствовала, как Жан Большой дернулся от этого звука.

— Огни святого Эльма, — объявил Анжело.

Аристид глядел недоверчиво. Мы шли к мысу Грино, к нам присоединились Оме и Шарлотта Просаж, потом Илэр со своей тростью, Туанетта и еще цепочка людей. Ду-ум, ду-ум — вызванивал утонувший колокол, трещал голубой огонь, и голоса людей звенели от возбуждения, которое легко могло перейти в гнев, страх или еще что похуже. Я оглядывала толпу, ища Флинна, но его нигде не было. Меня кольнул страх; надеюсь, Флинн знает, что делает.

Я помогла Жану Большому подняться на дюну, Ксавье бежал впереди с фонарем, а Аристид следовал за нами, волоча деревянную ногу и тяжело опираясь на палку. Люди быстро обгоняли нас, растянувшись неровной цепочкой по песчаным наносам. Я увидела Мерседес — волосы ее развевались по ветру, а пальто было надето прямо на белую ночную рубашку, — и поняла, почему Ксавье убежал вперед.

— Дезире, — пробормотал Аристид.

— Все в порядке, — сказала я. — С ней все будет хорошо.

Но старик не слушал.

— Знаешь, я сам ее однажды слышал, — сказал он, словно обращаясь к самому себе. — Маринетту. Летом Черного года, в тот день, когда Оливье утонул. Только я себя обдурил, убедил, что это корпус траулера скрежетал и лопался, когда море забирало его себе. Но это Маринетта была в тот день. Она предвещала беду, как всегда. А Ален Геноле...

Он резко изменил тон.

— Ты знаешь, Ален с ним дружил. Они были одногодки. Иногда ходили рыбачить вместе, хоть мы этого и не одобряли.

Он уже начинал уставать, тяжело опирался на палку, когда мы стали подниматься на большую дюну. Дальше лежали скалы мыса Грино, и уцелевшая стена разрушенной церкви Святой Марины рисовалась силуэтом на небе, как мегалит.

— Он должен был прийти сюда, — грозно продолжал Аристид. — Они сговорились встретиться в двенадцать и отправиться на старый корабль, спасти с него все, что можно. Если бы он пришел, он бы спас моего сына. Если бы он пришел. Но он заместо этого пошел в дюны с девкой, разве не так? С Эвелиной Гайяр, дочкой Жоржа Гайяра из Ла Уссиньера. И забыл про время. Забыл про время! — почти злорадно повторил Аристид. — Трахался там в свое удовольствие — с этой уссинкой, — пока его друг... пока мой сын...

Когда мы поднялись на вершину дюны, он совсем запыхался. Кучка саланцев уже стояла там, лица подсвечены фонариками и большими

фонарями. Огни святого Эльма — если это были они — пропали. Колокол тоже умолк.

— Это знак! — вскричал кто-то, кажется — Матиа Геноле.

— Это трюк, — пробормотал Аристид.

Пока мы стояли, народу прибыло. Кажется, уже собралось полдеревни, а судя по тому, как люди подходили, скоро будет еще больше.

Ветер хлестал по лицам песком и солью. Заплакал ребенок. Позади нас кто-то молился. Еще дальше Туанетта выкрикивала что-то про святую Марину, не то молитву, не то предупреждение.

— Где моя жена? — кричал Аристид, перекрывая шум. — Что с Дезире?

— Святая, — кричала Туанетта. — Святая...

— Смотрите!

Мы посмотрели. Над нами, в маленькой нише, высоко в стене часовни, стояла святая. Грубая фигура, едва заметная в тусклом свете, примитивные черты лица словно выжжены огнем. От движения больших и малых фонарей казалось, что святая шатается на своем немыслимом троне, словно обдумывает побег. Праздничные одеяния надувались кругом нее, а на голове была позолоченная корона святой Марины. Внизу простерлись на молитве старушки-монахини, сестра Тереза и сестра Экстаза. За ними, я заметила, что-то было нарисовано или нацарапано на голой стене разрушенной часовни, что-то вроде граффити.

— Каким чертом ее туда занесло?

Это Алэн, глядя вверх на колеблющуюся святую, словно не мог поверить своим глазам.

— А эти две сороки что тут делают? — рявкнул Аристид, злобно глядя на монахинь. Но тут же умолк. На траве рядом с монахинями стояла, сцепив руки, коленопреклоненная фигура в ночной рубашке. — Дезире! — Аристид быстро, как только мог, захромал по направлению к фигуре, которая, завидев его, обратила к нему широко распахнутые глаза. Лицо ее сияло.

— О, Аристид! — сказала она. — Это чудо...

Старик дрожал. Он приоткрыл рот, но несколько секунд не мог говорить. Он протянул руку жене и хрипло сказал:

— Ты же простудишься, дурная старая селедка. Чего ты сюда поперлась без пальто, э? Теперь, надо думать, я тебе должен свое отдать. — И, сняв рыбацкую куртку, накинул ей на плечи.

Дезире приняла куртку, почти не заметив.

— Я слышала святую, — сказала она, все еще улыбаясь. — Она

говорила — о, Аристид, она со мной говорила!

Понемногу у подножия стены собралась толпа.

— Боже мой, — сказала Капуцина, делая знак от дурного глаза. — Это что там — правда святая?

Анжело кивнул.

— Хотя одному Богу известно, как она туда забралась...

— Святая Марина! — донесся вопль откуда-то из-под дюны.

Туанетта упала на колени. Вздох прошел по толпе — аййй! Прибой бился о землю, как сердце.

— Она больна, — сказал Аристид, пытаясь поднять Дезире на ноги. — Помогите мне кто-нибудь.

— О нет, — отозвалась Дезире. — Я уже здорова.

— Эй! Вы! — крикнул Аристид двум кармелиткам, которые все еще стояли под нишей святой. — Собираетесь помогать или как?

Монахини смотрели на него, не двигаясь.

— Мы получили весть, — сказала сестра Тереза.

— В часовне. Как Жанна д'Арк.

— Не-не-не, не как Жанна д'Арк, сестра, она слышала голоса, и посмотри, до чего они ее довели...

Я напрягалась, чтобы расслышать монахинь за шумом ветра.

— Марина Морская, вся в белом, и...

— ...в короне, и с фонарем, и...

— ...лицо было закрыто покрывалом.

— Покрывалом? — Я, кажется, начала понимать.

Сестры закивали.

— Она с нами говорила, Мадо...

— Говорила. С нами.

Я не удержалась от вопроса:

— Вы уверены, что это была она?

Кармелитки посмотрели на меня как на дурачку.

— Конечно, это была она, малютка Мадо. Кто это...

— ...еще мог быть? Она сказала, что сегодня ночью вернется... и...

— Вот она тут.

— Там, наверху.

Последние слова они проговорили в унисон, блестя глазами, как птички. Позади них Дезире Бастонне слушала в священном восторге. Жан Большой, который слушал все это, не двигаясь, поглядел наверх, и глаза его наполнились звездами.

Аристид нетерпеливо покачал головой.

— Сны. Голоса. Ради этого не стоило вылезать из теплой постели в холодную ночь. Пошли, Дезире...

Но Дезире покачала головой.

— Аристид, она с ними говорила, — твердо сказала она. — Она велела им прийти сюда. Они пришли — ты спал — они постучали в дверь — они показали мне знак на стене часовни...

— Я знал, что это они все подстроили! — взорвался Аристид. — Эти сороки...

— Я думаю, что ему не следует называть нас сороками, — отозвалась сестра Экстаза. — Эти птицы приносят несчастье.

— Мы пришли сюда, — продолжала Дезире. — И святая с нами говорила.

Позади нас люди вытягивали шеи. Щурились от песчаного ветра. Тайком складывали пальцы в знак, отводящий несчастье. Я слышала звук прерывистого, затаиваемого дыхания.

— Что она сказала? — спросил наконец Оме.

— Она говорила не как святая, — сказала сестра Тереза.

— Не-не, — согласилась сестра Экстаза. — Совсем не как святая.

— Это потому, что она саланка, — ответила Дезире. — Не какая-нибудь чопорная уссинка.

Она улыбнулась и взяла Аристида под руку.

— Жаль, что тебя не было, Аристид. Жаль, ты не слышал, что она сказала. Слишком много лет прошло, как наш сын утонул, тридцать лет прошло. И все эти годы не было ничего, кроме горечи и злости. Ты не мог плакать, ты не мог молиться... ты выжил нашего второго сына из дому своей злобой, издевками...

— Заткнись, — сказал Аристид с каменным лицом.

Дезире покачала головой.

— На этот раз — нет, — ответила она. — Ты со всеми затеваешь скандалы. Ты даже на Мадо кидаешься, когда она говорит, что, может быть, здесь можно жить дальше, а не умирать. На самом деле тебе хотелось бы, чтобы все потонули вместе с Оливье. Ты. Я. Ксавье. Чтоб никого не осталось. Чтобы все кончилось.

Аристид посмотрел на нее.

— Дезире, я тебя прошу...

— Это чудо, Аристид, — сказала она. — Словно он сам со мной говорил. Если бы ты только видел...

И в розоватом свете она подняла лицо к святой, и в этот момент я увидела, как что-то мягко падает на нее сверху из высокой темной ниши,

что-то похожее на ароматный снег. Дезире Бастонне стояла на коленях на мысу Грино, окруженная цветами мимозы.

Все взоры обратились на нишу святой. Вдруг там, кажется, что-то шевельнулось — может, просто тень метнулась, когда передвинулся один из фонарей.

— Там кто-то есть! — крикнул Аристид, выхватил у внука винтовку, прицелился и выстрелил из обоих стволов в святую, стоящую в нише. Раздался громкий треск, ошеломляющий во внезапной тишине.

— Да уж, с Аристида станется — выстрелить в чудо, — сказала Туанетта. — Ты бы и в Богоматерь Лурдскую стал стрелять, придурок?

Аристиду, кажется, стало стыдно.

— Я там точно кого-то видел...

Дезире наконец встала, с руками, все еще полными цветов.

— Я знаю, что видел.

Неразбериха продолжалась несколько минут. Ксавье, Дезире, Аристид и монахини были в самом центре — каждый пытался ответить на шквал вопросов. Люди хотели увидеть чудесные цветы, услышать, что сказала святая, осмотреть знаки на стене часовни. Я поглядела за мыс, и мне показалось на миг, что далеко внизу что-то зыблется на волнах, и в тишине поворачивающегося вспять прилива я, кажется, даже всплеск услышала, словно что-то вошло в воду. Но это могло быть что угодно. Фигура в нише — если она там вообще была — исчезла.

3

Мы выпили по рюмочке в баре Анжело, открывшемся среди ночи по такому случаю, и это замечательно помогло нам успокоиться. Сдержанность и подозрения были забыты, колдуновка лилась рекой, и через полчаса мы уже веселились почти по-карнавальному.

Дети, в восторге, что их не гонят спать, играли в пинбол в углу бара. Школы завтра не будет, и это уже само по себе праздник. Ксавье робко поглядывал на Мерседес и впервые получал ответные взгляды. Туанетта в промежутке между рюмками бодро задирала столько народу, сколько могла. Монахини наконец уговорили Дезире отправиться обратно в постель, но Аристид, странно подавленный, был тут. В хвосте толпы явился Флинн, волосы его закрывала черная вязаная шапочка. Он едва заметно подмигнул мне, потом скромненько уселся за стол у меня за спиной. Жан Большой сидел возле меня с рюмкой колдуновки, с «житаном» в зубах и непрерывно улыбался. Я сперва боялась, что незнакомое торжество его каким-то образом расстроит, но потом поняла, что, кажется, впервые с тех пор, как я вернулась, отец неподдельно счастлив.

Он сидел рядом больше часа, потом вышел так тихо, что я почти не заметила его ухода. Я не пыталась его преследовать, не хотела нарушить установившееся меж нами хрупкое равновесие. Но я смотрела из окна, как он шел домой, — виднелся только огонек сигареты над дюной.

Спор продолжался; Матиа, сидевший за самым большим столом в окружении наиболее уважаемых саланцев, был совершенно убежден, что появление святой Марины уже само по себе чудо.

— Что это еще могло быть? — напирал он, пригубивая уже третью рюмку колдуновки. — Да в истории полно примеров всяких чудес прямо среди бела дня. Почему бы и не у нас?

Похоже, разных версий события расплодилось уже не меньше, чем свидетелей. Кое-кто своими глазами видел, как святая взлетела на стену разрушенного храма. Другие слышали призрачную музыку. Туанетта, усаженная на почетное место рядом с Матиа и Аристом, потягивала спиртное и рассказывала, от души наслаждаясь всеобщим вниманием, как она первая заметила знаки на стене. Конечно, это чудо, сказала она. Разве в человеческих силах найти пропавшую святую? Протащить ее всю дорогу до мыса Грино? Поднять ее в нишу? Разумеется, нет. Это просто невозможно.

— И к тому же колокол, — заявил Оме. — Мы все его слышали. Что это еще могло быть, как не Маринетта? А знаки на стене...

Все согласились, что, конечно же, мы имеем дело со сверхъестественными событиями. Но что они означают? Дезире восприняла их как весть от сына Аристид ничего не сказал, но сидел над рюмкой с необычно задумчивым видом. Туанетта сказала: это значит, что наша удача скоро переменится; Матиас надеялся на лучший улов. Капуцина ушла, захватив с собой Лоло, но у нее тоже был странно задумчивый вид — уж не вспомнила ли она про уехавшую дочь. Я пыталась поймать взгляд Флинна, но он, кажется, был вполне доволен направлением, которое приняла дискуссия. Я решила последовать его примеру и ждать.

— Рыжий, ты, кажется, теряешь сметку, — сказал Ален. — Я думал, ты нам хотя бы объяснишь, как это святая взлетела там на мысу.

Флинн пожал плечами.

— Не знаю, хоть обыщи. Если б я умел творить чудеса, я бы не в этой дыре сидел, а распивал шампанское в Париже.

Прилив остановился, и ветер тоже. Облака рассеивались, а за ними было красное, как рана, предрассветное небо. Кто-то предложил вернуться в часовню и осмотреть место происшествия при свете. Вызвалось несколько добровольцев; остальные побрели домой, чуть покачиваясь, по неровной дороге.

Однако пристальное изучение знаков на стене часовни нам ничего не дало. Они были словно опалены, выжжены в камне каким-то образом; нам не удалось найти букв — только какие-то примитивные рисунки и несколько цифр.

— Похоже... на какой-то план, — сказал Оме Картошка. — А цифры — это расстояния.

— Может, это что-нибудь религиозное, — предположила Туанетта. — Надо спросить у монахинь.

Но монахини ушли с Дезире, и никто не хотел идти за ними, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного.

— Может, Рыжий знает, — предположил Ален. — Это он у нас интеллигент.

Все согласно закивали.

— Да-да, пускай Рыжий посмотрит. Давайте, пропустите его сюда.

Флинн не торопился. Он осмотрел отметины под всеми возможными углами. Он щурился, скашивал глаза, пробовал ветер, сходил на край утеса и вгляделся в море, потом вернулся и опять начал ощупывать знаки подушечками пальцев. Если бы я не была в курсе дела, я могла бы

поклониться, что он видит эти письма впервые в жизни. Все смотрели в благоговейном ужасе и ожидании. За спиной у него разгорался рассвет.

Наконец он поднял глаза.

— Ты знаешь, что это значит? — спросил Оме, не в силах дольше сдерживаться. — Это от святой?

Флинн кивнул, и, хотя лицо его хранило серьезность, я знала, что в душе он ухмыляется.

4

Аристид, Матиа, Ален, Оме, Туанетта, Ксавье и я молча слушали объяснения Флинна. Потом Аристид взорвался:

— Ковчег? Она хочет, чтобы мы построили ковчег?

Флинн пожал плечами.

— Не совсем. Это искусственный риф, плавучая стена. Как ни назови, но понятно, как она будет работать. Песок вон оттуда, — он указал вдаль, на Ла Жете, — вместо того чтобы уходить прочь от берега, начнет возвращаться сюда, на Ла Гулю. Это, если хотите, пробка, которая не даст Ле Салану утечь в море.

Снова воцарилось долгое растерянное молчание.

— И ты думаешь, что это послание — от нашей святой?

— От кого же еще? — невинно отозвался Флинн.

Матиа поддержал его.

— Это же наша святая, — медленно произнес он — Мы просили у нее спасения. Вот она и указывает нам путь.

Еще несколько кивков. Всем стало ясно: они неправильно истолковали исчезновение святой. Очевидно, она была в отлучке, потому что искала ответ на их вопрос.

Оме взглянул на Флинна.

— Но нам не из чего строить стену, — запротестовал он. — Посмотри, во сколько мне обошлось привезти камень для ветряка, э? Целое состояние.

Флинн покачал головой.

— Камень вообще не нужен, — сказал он. — Нужно что-нибудь плавучее. И это не волнолом. Волнолом останавливает размывание, по крайней мере, на время. Но это — гораздо лучше. Риф, если его построить в нужном месте, обрастает собственными укреплениями. Со временем.

Аристид затряс головой.

— Ничего у тебя не получится. Даже за десять лет.

Но Матиа вроде бы заинтересовался.

— Я думаю, что может получиться, — медленно сказал он. — Рыжий, а из чего ты собрался строить? Из жеваной бумаги рифа не выйдет. Даже у тебя.

Флинн призадумался.

— Шины, — сказал он. — Автомобильные шины. Они плавают, верно? Их можно достать бесплатно на любой свалке. Кое-где еще и приплатят.

Привезти их сюда, сковать цепями...

— Привезти? — перебил Аристид. — На чем? Для того что ты предлагаешь, понадобятся сотни, а может, тысячи шин. На чем...

— Есть же «Бриман-один», — высказался Оме Картошка. — Может, у нас получится его взять напрокат.

— И уссинец с нас три шкуры сдерет! — взорвался Аристид. — Вот это уж точно будет чудо!

Ален долго молча смотрел на него.

— Дезире правильно сказала, — произнес он наконец. — Мы уже слишком много потеряли. Слишком много всего.

Аристид повернулся на деревяшке, но я видела, что он все еще слушает.

— Мы не можем вернуть все, что потеряли, — тихо продолжал Ален. — Но мы можем сделать так, чтобы не пришлось больше ничего терять. Мы можем попытаться нагнать потерянное время.

Говоря это, он смотрел на Ксавье.

— Нам надо бороться с морем, а не друг с другом. Нам надо думать о своих семьях. Умершего не веротишь, но все возвращается. Если только мы сами не мешаем.

Аристид молча поглядел на него. Оме, Ксавье, Туанетта и остальные терпеливо ждали. Если Геноле и Бас-тонне поддержат план, все остальные пойдут за ними. Матиа все смотрел, непроницаем за начальственными усами. Флинн улыбнулся. Я затаила дыхание.

Потом Аристид кратко кивнул — на острове так выражают почтение. Матиа кивнул в ответ. Они пожали друг другу руки.

Мы прокричали «ура!», приветствуя их решение, под каменным взглядом Марины Морской, покровительницы всего потерянного в море.

Домой я добралась только к утру. Жана Большого нигде не было видно, ставни его комнаты были все еще закрыты, я решила, что он по возвращении лег спать, и последовала его примеру. Я проснулась в полпервого от стука в дверь и, полусонная, побрела в кухню открывать.

Это был Флинн.

— Проснись и пой, — насмешливо произнес он. — Наша работа только начинается. Вы готовы?

Я оглядела себя. Босая, полуодетая во вчерашнюю отсыревшую и мятую одежду, просоленные волосы встопорчились щеткой. Он, напротив, был бодр, как обычно, и волосы аккуратно стянуты в хвостик над воротником плаща.

— Нечего ходить с таким самодовольным видом, — сказала я.

— Почему же? — Он ухмыльнулся. — По-моему, все прошло очень хорошо. Я пустил Туанетту собирать пожертвования и, кроме того, выпросил на рыбозаводе контейнеров на звенья для рифа. Ален ищет выходы на авторемонтную мастерскую. Я подумал, может, вы дадите сколько-нибудь тросов и цепей, чтобы заякорить риф. Оме берет на себя бетон. У него еще кое-что осталось со строительства ветряка. Если погода продержится, думаю, к концу месяца управимся.

Он замолк, увидев мое лицо.

— Так, — осторожно произнес он, — кажется, мне сейчас откусят голову. Что такое? Может, вам надо кофе выпить?

— Ну вы и наглец, — ответила я.

Он сделал круглые глаза, явно забавляясь.

— Это еще почему?

— Могли хотя бы меня предупредить. С вашими чудесами. А если бы что-нибудь пошло не так? А если бы Жан Большой...

— А я думал, вы обрадуетесь, — сказал Флинн.

— Это смешно. Мы не успеем оглянуться, как на мысу устроят святилище, туда начнут ходить паломники...

— Вот и отлично — как раз то, что нам надо для поправки дел, — ответил Флинн.

Я игнорировала его слова.

— Это жестоко. Они все поверили — бедняжка Дезире, Аристид, даже мой отец. Легкая добыча. Отчаявшиеся, суеверные люди. А вы заставили

их поверить. И вам это доставило удовольствие.

— Ну и что? Я ведь добился чего надо, верно? — Он явно обиделся. — В этом все и дело, да? Саланцы и их человеческое достоинство тут ни при чем. Просто я сделал то, что вам не удалось. Чужак. И меня послушали.

Думаю, в его словах была доля правды. Но я не прониклась к нему нежностью за то, что он это сказал.

— Кажется, вчера ночью вы не возражали, — сказал Флинн.

— Я не знала, что вы собираетесь делать. И этот колокол...

— Маринетта. — Он ухмыльнулся. — Очень убедительная деталь. Закольцованная магнитофонная запись и старые колонки...

— А святая?

Мне страшно не хотелось поддерживать его самомнение, но меня снедало любопытство.

— Я нашел ее в тот день, когда столкнулся с вами на Ла Буш. Я собирался рассказать Жану Большому, помните? А вы решили, что я ходил шарить по чужим садкам.

Я вспомнила. Должно быть, ему нравилась театральность ситуации, ее поэтичность. Празднество в честь святой; фонари, песнопения; саланцы обожают красочные зрелища.

— Я стащил церемониальные одеяния и корону из ризницы в Ла Уссиньере. Отец Альбан меня чуть не застал врасплох, но я вовремя смылся. Обдурить монахинь было проще простого.

Разумеется. Они ведь ждали чуда всю свою жизнь.

— А как же вы затащили туда статую?

Он пожал плечами.

— Починил лебедку из шлюпочной мастерской. Подогнал тягач в отлив по мокрому песку и поднял статую наверх. Во время прилива никому и в голову не пришло бы, что это возможно. Моментальное чудо. Просто добавь воды.

И действительно, стоило подумать — и все становилось очевидным. Что до всего остального — охапка цветов, несколько сигнальных ракет, скальные крюки, вбитые в заднюю сторону стены часовни, байдарка, пришвартованная рядом, чтоб быстро смыться. Если знать решение, то все кажется очень просто. Простота почти оскорбительная.

— Единственный сложный момент был, когда Аристид заметил меня на стене, — ухмыляясь, сказал он. — От соли большого вреда не бывает, но все равно саднит. К счастью, основной заряд в меня не попал.

Я не улыбнулась в ответ. У него и так был слишком самодовольный вид.

Он, конечно, не стал гадать о результатах. Дело и без того было довольно сложное. По-хорошему, надо было бы провести расчеты, использовать сложные математические формулы, учитывающие скорость падения песчинок, угол берегового откоса, фазовую частоту бурунов. О большей части этих величин приходилось лишь догадываться. Несколько метров разницы в позиции рифа могли оказаться решающими. Но ничего лучшего за такое короткое время мы придумать не могли.

— Я ничего не обещаю, — предупредил Флинн. — Это временная затычка. Она не решит проблему навсегда.

— Но если она сработает..

— В самом худшем случае — размывание замедлится.

— А в лучшем?

— Бриман забирает себе песок с Ла Жете. Почему бы и нам не сделать того же?

— Песок с Ла Жете... — повторила я.

— Чтобы хватило на пару куличиков. Или чуть побольше.

— Побольше, — жадно повторила я. — Побольше.

6

Человеку с материка, скорее всего, нас не понять. Ведь трудно себе представить, что песок может служить образом чего-то постоянного. Написанное на песке легко стирается. Тщательно построенные замки рассыпаются. Песок упрям и изменчив. Он может стереть скалу и проглотить стены, засыпав их дюнами. Он никогда не повторяется. Основа бытия на Колдуне — песок и соль. Наша еда растет уже посоленной, на почве, едва заслуживающей этого имени; наши козы и овцы пасутся на дюнах, и оттого у них нежное, солоноватое мясо. Из песка мы делаем кирпичи и раствор. Из песка — наши кухонные плиты и печи для обжига. Этот остров менял свое обличье тысячи раз. Он шатается на краю Нидпуля, каждый год отторгая от себя куски. Песок подновляет его, песок, который уносится с Ла Жете, крутится вокруг всего острова, как хвост русалки, дрейфует невидимо с одной стороны острова на другую медленными сгустками пены, перемешивается, вздыхает, ворочается. Все прочее изменится, а песок пребудет всегда.

Я все это говорю для того, чтобы люди с материка могли понять возбуждение, охватившее меня в те несколько недель, да и потом тоже. В первую неделю мы планировали. Потом работа, работа: мы просыпались в пять утра и заканчивали поздно ночью. В хорошую погоду мы просто работали ночь напролет; если ветер был слишком сильный или шел дождь, мы работали в помещении — в лодочном сарае, внутри мельницы Оме, в заброшенном картофельном хранилище, чтобы не терять времени.

Оме с Аленом отправились нанимать «Бримана-1», якобы для подвоза стройматериалов. Клод Бриман охотно согласился; был не сезон, и паром, если не считать чрезвычайных происшествий, ходил только раз в неделю, чтобы привезти продовольствие и забрать продукцию рыбозавода. Аристид знал свалку шин по дороге в Порник и организовал их доставку на паром теми же грузовиками, которые обычно забирали с завода макрель в консервах. Мы решили, что счетами должен ведать отец Альбан — единственная кандидатура, с которой согласились и Геноле, и Бастонне. Кроме того, сказал Аристид, даже материковые жители не вдруг решатся надуть священника.

Средства поступали из самых неожиданных источников: Туанетта извлекла тринадцать луидоров из чулка, хранившегося под матрасом, — об этих деньгах не знали даже ее родные. Аристид Бастонне дал две тысячи

франков из своих сбережений. Матиа Геноле не дал себя перецеголять и пожертвовал две с половиной тысячи. Другие давали более скромные суммы: Оме — пару сотен плюс пять мешков цемента; Илэр — пятьсот; Капуцина — тоже пятьсот. Анжело денег не дал, но обещал бесплатно поить пивом всех работающих в продолжение всего проекта. По этой причине количество добровольцев постоянно росло, хотя Оме несколько раз влетело — он проводил больше времени в баре, чем за работой.

Я позвонила квартирной хозяйке в Париж и сказала, что не вернусь. Она согласилась поместить мою мебель в хранилище и отправить то немногое, что мне могло понадобиться, — одежду, книги, рисовальные принадлежности — поездом в Нант. Я сняла остатки денег со своего банковского счета и закрыла его. В Ле Салане банковский счет ни к чему.

Флинн сказал, что риф надо строить по частям. Каждый кусок состоял из 150 шин, скрепленных авиационным тросом, который мы заказывали с материка, и сложенных друг на друга столбиками. Мы должны были сделать двенадцать таких звеньев, собрать их на суше, потом, при отливе, смонтировать у Ла Жете. Мы утопим в дно бетонные блоки, наподобие тех, к каким швартуются островные лодки, — они будут служить якорями, и звенья будут крепиться к ним тем же авиационным тросом. Работа была тяжелая — для передвижения тяжелых стройматериалов у нас был только погрузчик из шлюпочной мастерской, и несколько раз нам пришлось приостанавливать работу из-за того, что не подвезли в срок нужные материалы. Но каждый делал что мог.

Туанетта носила работающим на мысу горячее питье. Шарлотта делала бутерброды. Капуцина, в комбинезоне и вязаной шапочке, присоединилась к тем, кто месил цемент, чем пристыдила еще нескольких мужчин и заставила их тоже ввязаться в дело. Мерседес часами сидела на дюне — считалось, что она исполняет обязанности курьера, но на самом деле ей, кажется, интереснее было наблюдать за работающими мужчинами. Я водила погрузчик. Оме складывал шины в столбик, а Гилен Геноле приваривал их к контейнерам. При отливе толпа детей, женщин и стариков копала глубокие ямы под якорные блоки, и мы таскали эти блоки тягачом на Ла Жете при отливе, помечая их место буйками. «Сесилия», лодка Бастонне, выходила в море во время прилива, чтобы оценить снос звеньев. И все это время Флинн бегал меж нас с охапкой бумаг, измеряя расстояния, вычисляя углы и скорость ветра, хмурясь на течения, что пересекались и поворачивали к Ла Гулю. Святая глядела на нас из своей ниши на мысу Грино, и утес под ней был весь заляпан белым свечным воском. Камни под ногами святой были уставлены приношениями — соль, цветы, стаканчики

с вином. Аристид и Матиа ходили кругами друг вокруг друга — их перемирие все держалось, и каждый старался обогнать другого в гонке за скорейшее завершение работы. Старик Бастонне, с его деревянной ногой, не мог делать тяжелой работы и вместо этого подгонял своего несчастного внука, которого Геноле и так превосходили числом вдвое, ко все большим трудовым подвигам.

По мере продвижения нашей работы состояние моего отца улучшалось невероятными темпами. Он уже не проводил столько времени на Ла Буш; вместо этого он наблюдал за строительством, хотя редко принимал в нем участие. Я часто видела его — фигура на гребне дюны, очертаниями подобная валуну, плотная, недвижимая. Дома он чаще улыбался и несколько раз даже говорил — односложными словами. Даже в молчании его я почувствовала перемену, и в глазах у него убавилось пустоты. Порой он долго не ложился по вечерам, слушая радио или наблюдая, как я делаю наброски в альбоме. Раз или два мне показалось, что мои рисунки лежат в беспорядке, словно их кто-то просматривал. После этого я стала оставлять альбом на виду, чтобы он мог смотреть, когда захочет, хотя при мне он этого никогда не делал. Это уже начало, говорила я себе. Даже Жан Большой, казалось, стоял на пороге перемен.

И конечно, Флинн. Я не заметила, как это случилось, — без видимых симптомов, понемногу мои защитные сооружения постепенно размыло, и я, захваченная врасплох, не поняла, что произошло. Я вдруг ловила себя на том, что смотрю на него, сама не зная почему, изучаю выражение его лица, словно готовясь писать портрет, ищу его глазами в толпе. С того утра после ночи чудес мы почти не говорили друг с другом, но все равно, кажется, между нами что-то произошло. Во всяком случае я так думала. Стечение обстоятельств. Я замечала какие-то вещи, которых не замечала никогда раньше. Нас случайно сводило за работой; мы вместе пыхтели, складывая шины в столбик; нас обоих промачивало до нитки брызгами приливной волны, пока мы закрепляли звенья на месте. Мы вместе пили у Анжело. И у нас была тайна. Она связывала нас. Делала нас участниками одного заговора, почти друзьями.

Флинн хорошо умел слушать, когда нужно, и сам был неистощим на смешные анекдоты и всякие небылицы — про Англию, Индию, Марокко. По большей части его рассказы были чепухой, но он попутешествовал; видел страны и людей, блюда и обычаи, реки и птиц. Через него я словно тоже путешествовала по свету. Но мне ни разу не удалось проникнуть в потайную часть его души, запертый отсек, куда меня не звали. Я не понимала, почему меня это беспокоит. Если б он спросил, что мне от него

надо, я бы затруднилась с ответом.

Жилье, обустроенное в старом блокгаузе, было удобным, но все же импровизированным. Большое внутреннее помещение, вычищенное и побеленное им, окно на море, стулья, стол, кровать — все построено из выброшенного волнами мусора. Обстановка резала глаз, но все же была чем-то приятна, как и он сам. В оконную замазку были вдавлены ракушки. Стулья сделаны из автомобильных шин, крытых парусиной. С потолка свисал гамак, когда-то бывший рыболовной сетью. Снаружи жужжал генератор.

— Просто невероятно, как вы преобразили это место, — заметила я, оказавшись у него впервые. — Раньше тут был бетонный куб, наполненный песком.

— Ну, я же не мог навсегда остаться у Капуцины, — сказал он. — Люди уже начали поговаривать.

Он задумчиво обводил ногой узор из раковин, выложенный в бетонном полу.

— Неплохая нора для потерпевшего кораблекрушение? — заметил он. — Уютно, как дома.

Мне почудилась в его голосе тоскливая нотка.

— Потерпевший кораблекрушение? Вы себя так видите?

Флинн засмеялся.

— Забудьте об этом.

Я не забыла, но я знала, что невозможно заставить его говорить, если он не хочет. Однако его молчание не мешало мне предаваться догадкам. Может, он приехал на остров, прячась от каких-то неприятностей с законом? Это было возможно; люди типа Флинна всегда в конце концов берут слишком круто к ветру, а я часто спрашивала себя, как это его вдруг занесло на Колдун — остров настолько маленький, что едва заметен на карте.

— Флинн, — сказала я наконец.

— Да?

— Где вы родились?

— Моя родина очень похожа на Ле Салан, — беспечно сказал он. — Маленькая деревушка на побережье Ирландии. Там был пляж и очень мало что еще.

Значит, он не англичанин. Интересно, какие еще из моих предположений окажутся ошибочными.

— Вы когда-нибудь там бываете?

У меня, похоже, никак не укладывалось в голове, что человеку может

быть все равно, где он родился, и я думала, что у Флинна должно быть что-то похожее на мою тягу к дому.

— Там? Господи, нет, конечно. Что там делать?

Я посмотрела на него:

— А тут что делать?

— Искать пиратский клад, — загадочно произнес Флинн. — Миллионы франков... целое состояние... в дублонах. Как только я его найду, меня здесь уже не будет: ффф! — и нету. Здравствуй, Лас-Вегас.

Он расплылся в ухмылке. Но мне снова показалось, что в голосе его звучит смутная тоска, почти сожаление.

Я опять оглядела комнату и впервые заметила, что, несмотря на бодрую пестроту обстановки, тут не было ни одной личной вещи: ни единой фотографии, ни книги, ни письма. Я сказала себе: он может завтра выйти отсюда и не оставить ни единого намека на то, кто он такой и куда ушел.

Следующие две недели принесли с собой сильные приливы и ветра. Три дня мы не могли работать из-за погоды. Луна росла, превращаясь из узкого серпика в ломоть. Полная луна в равноденствие всегда приносит шторма. Мы знали это и стремились обогнать ее растущий профиль.

Бриман с моего визита в «Иммортели» хранил нетипичное для него молчание. Однако я ощущала его любопытство, его настороженность. Через неделю после моего визита он прислал мне цветы и записку, а также приглашение в любой момент переехать в гостиницу, если ситуация в Ле Салане обострится. Он, кажется, ничего не знал о нашей работе, но предполагал, что я провожу все время, обустривая дом для Жана Большого. Он хвалил меня за то, что я такая преданная дочь, и при этом умудрялся выразить глубокую обиду и сожаление, что я ему не доверяю. В заключение он выражал надежду, что я ношу его подарок, и желание вскорости увидеть меня в этом платье. На самом деле красное платье лежало, не завернутое, на дне моего гардероба. Я не осмеливалась его примерить. Кроме того, работы по сооружению рифа близились к завершению, и мне было просто не до платья.

Флинн погрузился в проект с головой. Как бы самозабвенно ни работали мы все, Флинн всегда был в гуще дела — перекладывал грузы, проводил испытания, изучал свои чертежи, пропесочивал нерадивых работников. Он никогда не уставал; даже когда приливы начались на неделю раньше, он не пал духом. Можно было подумать, что он тоже саланец, воюющий с морем за свой клочок земли.

— А когда это вы вдруг прониклись таким энтузиазмом? — спросила я у него как-то поздно вечером, когда он в очередной раз задержался в лодочном сарае, чтобы проверить крепления уже законченных звеньев. — Сами же мне говорили, что это бессмысленно.

Мы были одни в сарае, явно недостаточно освещенном единственной дребезжащей неоновой трубкой. Здесь царил запах машинного масла и резины от шин.

Флинн прищурился на меня с верхушки звена, которое в данный момент проверял.

— Вы чем-то недовольны?

— Конечно нет. Просто интересно, что это вы вдруг передумали.

Флинн пожал плечами и откинул челку с глаз. Неоновая лампочка обдавала его резким светом, окрашивая волосы в невозможный красный цвет и делая лицо еще бледнее.

— Вы мне подали идею, вот и все.

— Я?

Он кивнул. Я преисполнилась смешной гордости оттого, что послужила катализатором.

— Я понял, стоит чуть-чуть помочь Жану Большому и остальным, и они довольно долго смогут сами справляться с жизнью в Ле Салане, — сказал он, зажимая плоскогубцами крепление на куске авиационного кабеля. — Вот я и решил их слегка подтолкнуть.

«Их». Я заметила, что он никогда не говорит «мы», хотя его приняли как своего и гораздо легче, чем меня.

— А что же вы? — неожиданно спросила я. — Вы останетесь?

— На какое-то время.

— А потом?

— Кто знает.

Я смотрела на него несколько секунд, пытаюсь измерить глубину его равнодушия. Места, люди — кажется, ничто не оставляло на нем отпечатка, будто он двигался сквозь жизнь, словно камень сквозь воду, чистый, нетронутый. Он слез со звена, вытер начисто плоскогубцы и положил в ящик для инструментов.

— У вас усталый вид.

— Это свет такой.

Он опять смахнул волосы с лица, оставив на нем полосу машинного масла. Я ее стерла.

— В нашу первую встречу я записала вас в пляжные бездельники. Я была не права.

— Очень мило с вашей стороны.

— И еще я ни разу вас не поблагодарила. Вы столько сделали для моего отца...

Ему явно стало не по себе.

— Не стоит благодарности. Он меня пустил жить в блокгауз. Я же должен был это отработать.

В словах Флинна был оттенок окончательности, намекающий, что любые дальнейшие выражения благодарности нежелательны. И все же мне почему-то хотелось задержать его.

— Вы никогда не рассказываете о своих родных, — сказала я, натягивая край брезента на законченное звено.

— Это потому, что я о них никогда не думаю.

Пауза; я подумала, а живы ли вообще его родители; скорбит ли он по ним; есть ли у него другие родные. Однажды он упомянул о брате, и небрежная неприязнь в его голосе напомнила мне про Адриенну. Может, ему так больше нравится, подумала я: никаких связей, никакой ответственности. Быть как остров.

— Почему вы это сделали? — повторила я наконец. — Почему передумали?

Он опять нетерпеливо пожал плечами.

— Откуда я знаю? Это была работа; кто-то должен был ее сделать. Потому что она была, наверное. Потому что мог.

«Потому что мог». Эта фраза не давала мне покоя потом, гораздо позже; но в тот момент я поняла ее как выражение привязанности к Ле Салану, и на меня нахлынули теплые чувства: к его явному равнодушию, к его отсутствию темперамента, к методичности, с которой он клал инструменты на место в ящик, хоть и был полумертв от усталости. Рыжий, вечный беспристрастный наблюдатель, был на нашей стороне.

Мы заканчивали звенья в лодочном сарае перед установкой. Якорные блоки были уже на местах, у Ла Жете, и шесть уже законченных звеньев — тоже, и теперь нужно было лишь вытащить остальные звенья тросом на отмель, потом на лодке отвезти их на заготовленные позиции и приковать к якорям. Потом придется экспериментировать — делая тросы длиннее, короче, двигая звенья в разные стороны. Возможно, на то, чтобы научиться это делать, уйдет какое-то время. Но после этого, сказал Флинн, риф сам будет устанавливаться правильно в зависимости от ветра, и нам останется только ждать, чтобы узнать, удался ли эксперимент.

Почти неделю море стояло слишком высоко, мешая нам добраться до Ла Жете, и слишком сильный ветер не давал работать. Он рвал дюны, взметая в воздух полотнища песка. Он ломал ставни и щеколды. Он нагнал приливную воду почти что на улицы Ле Салана и взбил волны у мыса Грино в бешеную пену. Даже «Бриман-1» не выходил в море, и мы начали сомневаться, наступит ли вообще затишье и сможем ли мы закончить постройку рифа.

— Рано началось, — мрачно констатировал Ален. — Полнолуние через восемь дней. До тех пор не успокоится. Так не бывает.

Флинн покачал головой.

— Нам всего-то и нужен один день штиля, чтобы закончить, — сказал он. — Как будет отлив, вытащим все, что надо, в море. Все уже готово,

лежит и ждет. А потом риф уже сам о себе позаботится.

— Но отливы сейчас неправильные, — запротестовал Ален. — В это время года вода не уходит так далеко. И ветер с моря не помогает — он отталкивает воду обратно.

— Мы управимся, — заявил Оме. — Не сдаваться же теперь, когда мы уже почти все сделали.

— Да, дело уже сделано, — согласился Ксавье. — Надо только закончить.

У Матиа вид был скептический.

— Ваша «Сесилия» не справится, — кратко сказал он. — Ты видел, что было с «Элеонорой» и «Корриганом». Такие лодки просто не приспособлены для такого моря. Надо ждать затишья.

И мы стали ждать, сидя в баре у Анжело, мрачные, словно старые плакальщики на похоронах. Горстка мужчин постарше играла в карты. Капуцина сидела в углу с Туанеттой и притворялась, что с интересом читает журнал. Кто-то сунул франк в музыкальный ящик. Анжело снабжал нас пивом, но мало кому хотелось пить. Вместо этого мы, мрачно завороженные, смотрели прогнозы погоды по телевизору; нарисованные тучки с молниями играли в догонялки на карте Франции, и бодрая телеведущая советовала зрителям быть осторожными. Не так далеко от нас, на острове Сен, приливом уже снесло дома. Снаружи ворчал и вспыхивал горизонт. Была ночь; отлив достиг низшей точки. Ветер пах порохом.

Флинн отошел от окна.

— Надо начинать работу сейчас же, — сказал он. — Иначе скоро будет поздно.

Ален поглядел на него.

— Ты хочешь сказать — сегодня ночью?

Матиа потянулся за колдуновкой и неприятно хохотнул.

— Рыжий, ты видел, что творится на улице?

Флинн пожал плечами и ничего не сказал.

— Ну, меня, во всяком случае, вы сегодня туда не выгоните, — продолжал старик. — Туда, на Ла Жете, в темень, когда гроза идет и прилив скоро начнется. Удобный способ убиться, э? Или ты думаешь, что святая тебя спасет?

— Я думаю, святая уже сделала все, что собиралась, — ответил Флинн. — Дальше наша очередь. И я думаю, что если мы вообще собираемся закончить работу, это надо делать сейчас. Если мы не закрепим первые модули как можно скорее, другого шанса у нас не будет.

Ален покачал головой.

— Только сумасшедший пойдет в море нынче ночью.

Аристид мерзко захихикал из угла.

— Зато тут вам удобно, э? Вы, Геноле, всегда одни и те же. Сидите в кафе и строите планы, пока снаружи идет жизнь. Я пойду, — сказал он, с трудом вставая. — Хоть фонарь подержу, если ни на что больше не сгожусь.

Матиа мгновенно вскочил.

— Ты пойдешь со мной, — рывкнул он Алену. — Я не потерплю, чтобы Бастонне говорили, что Геноле испугались работы и капельки ветра. Собирайся, быстро! Если б только мой «Корриган» был еще жив, мы бы за полминуты управились, но что поделаешь. Чего...

— Да твой «Корриган» по сравнению с моей «Réoch» все равно что дохлый кит! — подзадорил его Аристид. — Помню времена, когда...

— Ну мы идем? — перебила его Капуцина, вскакивая на ноги. — Вот я помню времена, когда вы двое годились для дела, а не только для разговоров!

Аристид глянул на нее и покраснел под прикрытием усов.

— Эй, Блоха, это не для тебя работка. Мы с мальчиком...

— Это работа для всех, — ответила Капуцина, натягивая *vareuse*.

Должно быть, странное зрелище мы собой представляли, продвигаясь по мелководью к Ла Жете. Я вела гусеничный погрузчик, и его единственная фара описывала широкие веера по отмелям, заставляя плясать тени добровольцев в рыбацких бахилах и куртках. Я доехала до самого края воды, таща «Сесилию» за собой на платформе. Плоскодонная устричная лодка была хорошо приспособлена к мелкой воде, так что ее легко было нагружать, подходя по песку. Мы с помощью подъемника погрузили звено на лодку. Она осела и черпнула воды, но удержала ношу. По обе стороны груза поставили по человеку, чтобы его удерживать. Прочие добровольцы тащили и толкали «Сесилию», помогая ей добраться до глубокой воды. Медленно, руля длинными веслами и продвигаясь с помощью мотора, устричная лодка двигалась к Ла Жете. Мы повторили эту долгую, трудоемкую процедуру четырежды, и к тому времени начался прилив.

Я мало что видела из самой работы. Моя задача была — доставлять звенья рифа на место, потом отгонять погрузчик и платформу обратно на берег. Я видела свет фонарей, очертания «Сесилии» на фоне белого кольца песчаных банок, и в моменты затишья между порывами ветра до меня доносились голоса.

Прилив уже шел вовсю. Без лодки я не могла присоединиться к

остальным добровольцам, но смотрела в бинокль с дюны. Я знала, что время быстро истекает. На Колдуне прилив приходит стремительно — может, не так быстро, как под Мон-Сен-Мишелем, где волны обгоняют скачущую лошадь, но точно быстрее, чем может бежать человек. Легко можно оказаться в воде, а полоска воды между мысом и Ла Жете изобилует быстрыми и коварными течениями.

Я кусала губы. Они слишком долго работают. На Ла Жете было шесть человек: Бастонне, Геноле и Флинн. Даже, пожалуй, слишком много для лодки размеров «Сесилии». Должно быть, на месте работы вода уже высоко. Я видела движущиеся фонари на дюнах — опасно далеко от берега. Установленный сигнал — мигание фонаря. Все шло по плану. Но выполнение плана заняло слишком много времени.

Потом Аристид рассказал мне, что случилось: цепь, управляющая установкой одного из звеньев, застряла под днищем лодки, застопорив винт. Море поднималось; работа, которую проще простого было бы сделать на мелководье, становилась невыполнимой. Ален и Флинн в воде изо всех сил пытались высвободить застрявшую цепь, используя незаконченный риф как опору для рычага. Аристид сидел, сгорбившись, на корме «Сесилии» и наблюдал.

— Рыжий! — рявкнул он, когда Флинн вынырнул после очередной неудачной попытки освободить цепь. Флинн вопросительно посмотрел на него. Он был без шапки и *vareuse*, чтобы свободней двигаться.

— Без толку, — резко сказал Аристид. — В такую погоду.

Ален поднял голову, и его ударило волной в лицо. Кашляя и ругаясь, он ушел под воду.

— Вдруг вы там застрянете, — настаивал Аристид. — Ветер бросит «Сесилию» на риф, и вас...

Флинн только набрал воздуха и опять нырнул. Ален влез в лодку.

— Нам скоро надо возвращаться, иначе придется грузить лодку со скал, — крикнул Ксавье, перекрывая шум ветра.

— Где Гилен? — спросил Ален, отряхиваясь, как собака.

— Вон он! Все уже на борту — кроме Рыжего.

Вода поднималась. Из-за Ла Жете пришла зыбь, и при свете фонарей видно было, как течение, идущее к мысу Грино, набирает силу по мере подъема воды. Что было мелководьем, превратилось в открытое море, и гроза приближалась. Даже я это чувствовала. Воздух был полон электрических разрядов. «Сесилия» дернулась, налетев на затопленное незакрепленное звено рифа, Матиа выругался и сел с размаху. Ален, который вглядывался в темноту в поисках Флинна, чуть не упал.

— Ничего не выходит, — с беспокойством сказал он. — Если мы не закрепим последнюю пару тросов, риф сам раздерет себя на куски.

— Рыжий! — крикнул Аристид. — Рыжий, ты в порядке?

— Винт освободился, — крикнул Гилен с кормы. — Должно быть, Рыжий до него все-таки добрался.

— Тогда где его черти носят?

— Слушайте, нам надо уходить скорее, — настаивал Ксавье. — Нам и сейчас уже непросто будет добраться назад. Дед, — это Аристиду, — нам надо возвращаться, правда!

— Нет. Будем ждать.

— Но, дед...

— Я сказал, будем ждать! — Аристид глянул на Алена. — Я не потерплю разговоров, что Бастонне бросили друга в беде.

Ален на мгновение встретился с ним глазами, потом отвернулся и стал сматывать в бухту конец, лежащий у его ног.

— Рыжий! — во все горло заорал Гилен.

Через секунду вынырнул Флинн, с другой стороны «Сесилии». Ксавье первый его заметил.

— Вот он! — закричал Ксавье. — Помогите ему влезть!

Флинну нужна была помощь. Ему удалось высвободить цепь из-под лодки, но теперь надо было установить звено на место. Кто-то должен был удерживать звенья вместе столько времени, чтобы другие успели защелкнуть крепления, а это была опасная работа. Если волной один модуль бросит на другой, человека между ними может запросто раздавить. Кроме того, риф уже был под водой; над ним было пять футов черного бушующего моря, так что работать приходилось в лучшем случае наугад.

Ален снял *vareuse*.

— Я пойду, — вызвался он. Гилен хотел занять его место, но отец остановил его. — Нет. Дай я, — сказал он и спустил ноги в воду.

Остальные добровольцы смотрели, вытягивая шеи, но «Сесилия», освобожденная от уз, начала дрейфовать прочь от рифа.

Прилив набирал силу; от земли, на которую еще можно было высадиться, осталась лишь узкая полоска. Потом над водой останутся только скалы, и лодка окажется в ловушке между ними и надвигающейся бурей, с ветром, дующим в корму. Я слышала зловещие тревожные крики наблюдателей на борту «Сесилии»; фонарь замигал в тревоге, и в бинокль я увидела, как двоих человек втягивают на борт. С такого расстояния невозможно было понять, все ли у них благополучно или нет. Сигнала за криком не последовало.

Я нетерпеливо смотрела с Ла Гулю, как «Сесилия» тащится к берегу. За ней по горизонту гуляли молнии. Луна, которой лишь несколько дней осталось до полной, спряталась за облако.

— Не успеют, — прокомментировала Капуцина, глядя на стремительно сокращающиеся отмели.

— Они не пойдут к мысу Грино, — сказал Оме. — Я знаю Аристида. Он всегда говорил, что, если застрянешь во время прилива, надо идти к Ла Гулю. Это дальше, но течения не такие сильные, и приставать там безопаснее, когда доберешься.

Он был прав. Через полчаса «Сесилия» вышла из-за мыса, чуть качаясь, но достаточно уверенно, и взяла курс на Ла Гулю. Мы помчались к ней, все еще не зная, успели они закончить риф или бросили его на произвол стихий.

— Смотри! Вон она!

«Сесилия» уже входила в залив. За ней волны, высокие, с белизной на гребнях, отражали мрачное небо. Внутри залива было относительно спокойно. Вспыхивал красный бакен, освещая их на миг. Когда ветер стихал, мы слышали громкие голоса и пение.

Звук раздавался в холодном воздухе странно и зловеще — предвестие шторма, который шел за ними по пятам. Свет Аристидова фонаря освещал шестерых сидящих в лодке, и теперь, когда они подошли ближе, я различала лица, подсвеченные словно от костра. Ален и Гилен в своих длинных плащах, на корме — Ксавье с Аристом Бастонне, рядом сидит Матиа Геноле. Они представляли собой впечатляющее зрелище — такую картину мог бы написать, например, Джон Мартин: на фоне апокалиптического неба два старика с длинными волосами и воинственными усами, оба повернуты к суше в профиль, мрачно торжествуя. Только потом я поняла, что впервые увидела Матиа и Аристида вместе, бок о бок, и услышала, как их голоса сливаются в песне. На час враги стали если и не друзьями, то чем-то вроде союзников.

Я пошла вброд навстречу «Сесилии», и они меня увидели. Несколько человек прыгнули в воду, чтобы вывести лодку на сушу. Среди них Флинн. Он неловко обнял меня, пока я тащила «Сесилию» за нос. Несмотря на усталость, глаза у него горели. Я обхватила его руками, дрожа от холодной воды.

Флинн засмеялся.

— Это еще что такое?

— Значит, у вас получилось? — Мой голос дрожал.

— Конечно.

Он был ледяной и пах мокрой шерстью. Я ослабела от облегчения; изо всех сил вцепилась в него, и мы оба чуть не упали. Его волосы хлестнули меня по лицу. Рот у него был соленый на вкус и теплый.

Гилен, сидя на корме, рассказывал всем, кто готов был слушать, как Ален и Рыжий ныряли по очереди под звено рифа, чтобы закрепить последние тросы. На утесе ждали еще несколько деревенских — я увидела Анжело, Шарлотту, Туанетту, Дезире и отца. Кучка детей с фонариками приветственно закричала. Кто-то пустил сигнальную ракету, которая триумфально поскакала по камням к морю. Анжело завопил:

— Всем добровольцам колдуновка бесплатно! Выпьем за святую Марину!

В отдалении подхватили:

— Да здравствует Ле Салан!

— Долой Ла Уссиньер!

— Троекратное «ура» Рыжему!

Это крикнул Оме, протискиваясь мимо меня к носу лодки. Оме и Ален, подойдя к Флинну с боков, подняли его над водой. К ним присоединились Гилен и Ксавье. Флинн, ухмыляясь, ехал у них на плечах.

— Инженер! — закричал Аристид.

— Мы ведь даже не знаем, выйдет ли из этого рифа что-нибудь, — смеясь, сказал Флинн.

Его протесты утонули в раскате грома. Кто-то радостно и победоносно закричал в ответ, обращаясь к небу. Словно в ответ, пошел дождь.

Настало время неопределенности — и для меня, и для всех остальных. Истощенные неделями изнурительного труда на стройке, мы впали в неловкое затишье, усталые, слишком беспокойные, чтобы праздновать. Недели шли, никак не рассеивая нашей неуверенности. Мы ждали.

Ален поговаривал о покупке новой лодки. Потеря «Корригана» означала, что Геноле больше не могут ходить на рыбную ловлю, и, хотя они храбрились, в деревне все знали, что семья глубоко в долгах. Один Гилен, кажется, сохранял оптимизм; несколько раз я видела его в Ла Уссиньере, он околачивался в «Черной кошке» в футболках разнообразных психоделических цветов. Может, на Мерседес это и производило впечатление, но виду она не подавала.

Про риф никто не упоминал. Он пока держался, найдя себе место, как и предрекал Флинн, но все чувствовали, что говорить об этом вслух значило бы искушать судьбу. Мало кто осмеливался возлагать на него слишком большие надежды. Но вода на Ла Буше сошла; Ле Салан был свободен от воды вплоть до низинных болот; пришли и прошли ноябрьские приливы, не причинив никакого ущерба ни Ла Бушу, ни Ла Гулю.

Никто не осмеливался выражать свои надежды вслух. Со стороны могло показаться, что в Ле Салане ничего не изменилось. Но Капуцина получила открытку от дочери, с материка; Анжело начал перекрашивать свой бар; Оме и Шарлотта спасли зимний картофель; а Дезире Бастонне сходила в Ла Уссиньер и там целый час проговорила по междугородному телефону со своим сыном Филиппом, живущим в Марселе.

Все это были не особенно важные события. Но что-то словно висело в воздухе: предчувствие новых возможностей, самое начало движения.

Жан Большой тоже переменился. Впервые с моего возвращения он вновь заинтересовался заброшенной шлюпочной мастерской, и в один прекрасный день, придя домой, я увидела, что он, одетый в рабочий комбинезон, слушает радио и сортирует заржавевшие инструменты в ящике. В другой раз он начал прибираться в запасной комнате. Однажды мы вместе пошли на могилу Жана Маленького — вода к тому времени почти полностью сошла — и нагребли к надгробию свежего гравия. Жан Большой принес в кармане луковицы крокусов, и мы посадили их вместе. Иногда все было совсем как встарь, когда я помогала отцу в шлюпочной мастерской, а мать с Адриенной уезжали в Ла Уссиньер, оставив нас

вдвоем. Это время принадлежало только нам — краденое и оттого вдвойне драгоценное; иногда мы уходили из мастерской и отправлялись рыбачить на Ла Гулю или пускали кораблики по *étier*, словно те сыновья, которых у него никогда не будет.

Только Флинн, кажется, совсем не изменился. Он жил по прежнему распорядку, словно риф к нему никакого отношения не имел. И все же, говорила я себе, в ту ночь на Ла Жете он рисковал жизнью ради рифа. Я его совсем не понимала. В нем, несмотря на простоту в обхождении, была какая-то двойственность, место в середине души, куда меня никто не звал. Меня это пугало, словно тень, скользкая в глубине воды. Но, как любая глубина, одновременно и притягивало.

Наш прилив повернул двадцать первого декабря, в половине девятого утра. Я услышала внезапную тишину — когда ветер переменялся и последний, самый высокий из декабрьских приливов наконец сдался, перестал трепать риф у Ла Жете. Я пошла на Ла Гулю, как всегда в одиночку, искать признаки перемен. Камни цвета зеленых водорослей лежали голые в лучах рассвета, и за ними виднелись отмели, обнажающиеся по мере отступления моря. Несколько переживших зимнюю непогоду *bouchots* — деревянных калабашек, отмечающих старые устричные отмели, — торчали над водой, и за ними тянулось ожерелье веревок. Подойдя ближе, я заметила, что прилив устлал полосу прибоа всяким мусором — кусок веревки, садок для омаров, одинокая кроссовка. В луже воды у моих ног барахтался единственный зеленый моллюск-блюдечко.

Моллюск был живой. Интересно. Злые приливы на Ла Гулю, как правило, не привечали морских тварей. Иногда попадались морские ежи. Медузы, выброшенные приливом, высыхающие на берегу, похожие на пластиковые пакеты. Я наклонилась, разглядывая камни под ногами. Они, вдавленные в грязь, образовали широкую полосу, словно вымощенную булыжником, по которой было опасно ходить. Но сегодня я увидела нечто новое. Оно было крупнозернистее, чем ил с отмелей, и светлее. Оно усыпало погруженные в грязь булыжники будто слюдяной пылью.

Песок.

Конечно, всего ничего — не хватило бы и мою ладонь засыпать. Но это в самом деле был песок: бледный песок с Ла Жете, что сверкает кольцом в заливе. Я бы узнала его где угодно.

Я сказала себе, что это ничего не значит: тонкий слой, его принесло приливом, вот и все. Не значит ничего.

И значит — всё на свете.

Я наскребла песка в горсть, сколько получилось — щепотка, едва было над чем сомкнуть пальцы, — и помчалась по тропе вдоль утеса к старому блокгаузу. Один Флинн поймет, что означает эта горстка песчинок. Флинн, который на моей стороне. Я застала его полуодетым — он пил кофе, сумка, с которой он ходит обшаривать пляж, стояла наготове у дверей. Когда я вбежала, запыхавшись, мне показалось, что у Флинна усталый и непривычно унылый вид.

— У нас получилось! Смотрите! — Я протянула ему раскрытую ладонь.

Он долго смотрел на нее, потом пожал плечами и принялся натягивать сапоги.

— Щепоть песку, — сказал он без всякого выражения. — Если в глаз попадет, можно заметить.

Радость у меня в душе погасла, словно на нее плеснули водой.

— Но это значит, что у нас получилось, — сказала я. — Это начало.

Он не улыбнулся.

— Песок — это доказательство, — настаивала я. — Вы повернули процесс обратно. Вы спасли Ле Салан. Вы повернули приливы вспять.

Флинн злобно рассмеялся.

— Мадо, ради бога! — сказал он. — Тебе что, делать больше нечего? Ты только об этом всю жизнь и мечтала — войти в эту... эту жалкую кучку неудачников, вырождков, ни денег, ни жизни, стареть, цепляться за свое, молиться морю и с каждым годом быть все ближе к вымиранию... ты, кажется, думаешь — я должен быть счастлив, что застрял тут, и это своего рода честь...

Он резко замолчал, внезапно успокоившись, и посмотрел мимо меня, в окно. Злобное выражение исчезло с лица, словно и не бывало.

Меня словно парализовало — будто он меня ударил. И все-таки — я всегда чуяла в нем эту готовность, эту угрозу взрыва, разве не так?

— А я думала, вам тут нравится, — сказала я. — Среди неудачников и вырождков.

Он пожал плечами — похоже, ему стало стыдно.

— Нравится, — сказал он. — Может, даже слишком сильно нравится.

Воцарилась тишина, он опять поглядел мимо меня, в окно, и рассвет отразился в его грифельных глазах. Потом он опять перевел взгляд на меня, разогнул мои пальцы и разгладил песок на ладони.

— Зерно мелкое, — заметил он в конце концов. — Много слюды.

— И что?

— А то, что песок легкий. Он не осядет. Пляжу нужно твердое

основание — камни, галька, такого типа, они работают как якорь. Иначе песок просто смоем. Как этот.

— Понятно.

— Затопление кончилось. Вы ведь этого хотели? Почему теперь требуете большего?

Я ничего не сказала, но он все прочитал у меня на лице.

— Для вас это так много значит, да? — спросил он наконец.

Я все молчала.

— Даже если у деревни будет пляж, это не превратит ее в Ла Уссиньер.

— Я знаю.

Он вздохнул.

— Ну ладно. Я попробую.

Он положил руки мне на плечи. На миг меня опять охватило ощущение возможности, словно окружающий воздух наэлектризовался. Я закрыла глаза, обоняя исходящий от Флинна запах тимьяна, и старой шерсти, и утренний запах джун. Запах чуть затхлый, так пахло в подполе пляжных веранд в Ла Уссиньере, где я когда-то пряталась в ожидании отца. Потом мне предстало лицо Адриенны, она смотрела на меня и ухмылялась широким накрашенным ртом, и я торопливо открыла глаза. Но Флинн уже отвернулся.

— Мне надо идти.

Он подобрал сумку и стал натягивать куртку.

— Зачем? Вы что-то уже придумали?

Я все еще чувствовала фантомы его рук у себя на плечах. Они были теплые, и у меня в животе словно что-то отозвалось на это тепло — будто цветы повернулись к солнцу.

— Может быть. Мне надо еще подумать.

Он быстро пошел к двери.

— Что? Почему вы торопитесь?

— Мне надо в город. Я хочу кое-что заказать в Порнике, пока паром не ушел. — Он замолчал и одарил меня беспечной, солнечной улыбкой. — Пока, Мадо, ладно? Мне нужно бежать.

Я в недоумении пошла за ним. Его внезапные смены настроения — переходы из одной крайности в другую, переменчивые, как осенняя погода, — не были для меня новостью. Но его что-то расстроило, что-то другое, не мое внезапное появление. Однако, по всей вероятности, он мне все равно не расскажет, что это было.

Внезапно, в тот момент, когда Флинн закрывал дверь, мне бросилось в глаза едва заметное движение, белая рубашка мелькнула вдали на дюнах.

Человек на тропе. Но Флинн загородил обзор своим телом, а когда отодвинулся в сторону, там уже никого не было. Однако, хоть я и видела того человека лишь секунду и со спины, мне показалось, что я его узнала — походку, грузность, заломленную рыбацкую кепку.

В этом не было никакого смысла: та тропа не вела никуда, кроме дюн. Но потом, возвращаясь по этой самой тропе, я нашла следы эскадрилий на жестком песке и уверилась, что была права. Бриман побывал тут раньше меня.

Добежав до деревни, я сразу почувствовала: что-то случилось. Что-то висело в воздухе: едва ощутимый заряд, намек на инородный запах. Всю дорогу от Ла Гулю я бежала со своим песком в горсти, сжимая его так сильно, что частицы слюды украсили ладонь татуировкой. Я взбежала на гребень большой дюны, откуда видно было заброшенную шлюпочную мастерскую Жана Большого, и что-то холодное с той же силой сжало мне сердце.

Перед домом стояли пять человек — трое взрослых и двое детей. Все загорелые, мужчина в тяжелом зимнем пальто, из-под которого виднелись длинные одеяния в арабском стиле. Дети — два мальчика, бронзовокожие, но с волосами, выгоревшими почти добела, — на вид одному было лет пять, другому восемь. У меня на глазах мужчина открыл калитку и прошел внутрь, женщины за ним.

Одна была маленькая, коричневатая, волосы замотаны желтым бурнусом. Она шла следом за двумя детьми и кудахтала над ними на непонятном языке.

Вторая была моя сестра.

— Адриенна?!

Последний раз, когда я ее видела, ей было девятнадцать, она только что вышла замуж и была стройна, красива той же капризной, цыгановатой красотой, какую взяла на вооружение Мерседес Просаж. Сестра не изменилась, хотя мне показалось, что с годами она стала чуть жестче, угловатей, себе на уме. Длинные волосы были прямы, жидки и крашены хной. На коричневых запястьях звенели браслеты. Но когда она обернулась на звук моего голоса, я узнала ее мгновенно.

— Мадо, как ты выросла! Откуда ты узнала, что мы едем?

Объятия ее были кратки и пахли пачулями. Марэн тоже расцеловал меня в обе щеки. Я подумала, что он — молодая копия дяди, но с пушком на подбородке, тонкий и гибкий, и начисто лишен присущего Клоду огневого, опасного шарма.

— Я не знала.

— Ну ты же знаешь, отец... — Она схватила в объятия младшего сынишку и протянула его мне. Мальчик извивался, пытаясь вырваться. — Мадо, ты ведь еще не видела моих юных бойцов? Это Франк. А это... это

Лоик. Лоик, поздоровайся с *tata*^[20] Мадо.

Мальчики уставили на меня совершенно одинаковые коричневые личики, но ничего не сказали. Маленькая женщина в бурнусе — я решила, что это няня, — панически закудахтала на них по-арабски. Ни Марэн, ни Адриенна ее не представили, а когда я с ней поздоровалась, ее это, кажется, страшно поразило.

— А ты потрудились, — сказала Адриенна, взглянув на дом. — В наш прошлый приезд тут все было страшно запущено. Едва не на куски разваливалось.

— В прошлый приезд? — Я и не знала, что они с Марэном вообще приезжали.

Но Адриенна уже открыла дверь в кухню. Жан Большой стоял у окна и глядел на улицу. За спиной у него молчаливым упреком ждали меня остатки завтрака — хлеб, холодный кофе, открытая банка с вареньем.

Дети с любопытством смотрели на него. Франк что-то шепнул Лоику по-арабски, и оба захихикали. Адриенна подошла к отцу.

— Папа?

Жан Большой медленно повернулся. Веки его опустились.

— Адриенна, — сказал он. — Молодец, что приехала.

А потом улыбнулся и налил себе в пиалу холодного кофе из кофейника, что стоял рядом на столе. Адриенна, конечно, не удивилась, что он с ней поздоровался. С какой стати? Она и Марэн, как полагается, обнялись с отцом. Мальчики стояли поодаль и хихикали. Нянька присела и улыбнулась, почтительно опустив взгляд. Жан Большой знаком приказал сделать еще кофе, и я повиновалась, ухватившись за возможность хоть чем-нибудь заняться. Руки неловко обращались с водой, с сахаром. Чашки выскальзывали из пальцев, как рыбы.

За спиной у меня Адриенна рассказывала о своих детях. Мальчики играли на ковре у камина.

— Мы их назвали в твою честь, папа, — объясняла Адриенна. — В честь тебя и Жана Маленького. Мы их окрестили Жан-Франк и Жан-Лоик, но называем сокращенно, пока они еще не доросли до полных имен. Видишь, мы не забываем, что мы саланцы.

— Э.

Даже это междометие было сродни чуду. Сколько раз с момента моего возвращения Жан Большой говорил со мной? Я повернулась с кофейником в руках, но отец как замороженный смотрел на мальчиков, борющихся и катающихся на ковре. Франк заметил внимание деда и показал язык.

— Мартышка, — снисходительно засмеялась Адриенна.

Отец хихикнул.

Я налила всем кофе. Мальчики ели пирог и смотрели на меня круглыми карими глазами. Они были похожи как две капли воды, если не считать разницу в возрасте, — длинные соломенно-русые челки, тонкие ножки, круглые загорелые животы под яркими флисовыми кофточками.

— Я так давно хотела приехать домой, — вздыхала Адриенна, потягивая кофе. — Но торговля, понимаешь, папа, и дети... совсем не было времени.

Жан Большой слушал. Он пил кофе — пиала почти утонула в большой ладони. Он знаком попросил еще пирога. Я отрезала кусок и передала ему. Он не поблагодарил. Но, слушая речи Адриенны, он кивал время от времени и иногда издавал утвердительный островной возглас — «э». Для моего отца это было почти невероятной болтливостью. Потом Марэн стал рассказывать про свою танжерскую торговлю, про старинную керамическую плитку, на которую сейчас колоссальный спрос в Париже, про возможности экспорта, про налоги, про удивительную дешевизну рабочей силы, про кружок французов-экспатов, в котором они вращаются, про безжалостную конкуренцию, про клуб, в котором они состоят. Повесть их жизни разматывалась перед нами, как отрез яркого шелка. Восточные базары, бассейны, нищие, косметические салоны, вечерняя игра в бридж, бродячие торговцы, потогонные лавки. Для каждого дела — слуга. На мою мать это произвело бы впечатление.

— И ты знаешь, папа, они так рады этой работе. Все дело в тамошнем уровне жизни. Там такая нищета, просто смешно. Мы им платим гораздо больше, чем они заработали бы у своих.

Я взглянула на няньку, которая торопливо вытирала Франку лицо мокрым полотенцем. Интересно, есть ли у нее родные там, в Марокко, скучает ли она по дому. Франк извивался и ныл по-арабски.

Адриенна подхватила нить повествования.

— Конечно, у нас бывают и проблемы.

Злобный конкурент поджег склад. Убытки на миллионы франков. Нечестные работники — растратчики и воры. На стенах виллы кто-то выцарапал надписи — против европейцев. Фундаменталисты набирают силу, рассказывала она, и стараются всячески ущемить иностранцев. И кроме того, надо думать о детях. Пора уже планировать переезд.

— Папа, я хочу, чтобы мои мальчики получили самое лучшее образование, — заявила она. — Я хочу, чтобы они знали, кто они такие. Я ради этого пойду на любые жертвы. Жаль, что мама не увидит...

Она прервалась и поглядела на меня.

— Ты же знаешь, какая она была. Никого не слушала. Даже денег не брала. Все от упрямства.

Я глядела на сестру без улыбки. Я вспомнила, как мама гордилась, что работает уборщицей; как рассказывала мне про рубашки от Эрмеса, которые гладила, про костюмы от Шанель, которые забирала из химчистки; как, находя за подушками диванов случайно завалившуюся мелочь, она всегда складывала ее в пепельницу — ведь взять ее себе было бы воровством.

— Мы ей помогали как могли, — продолжала Адриенна, бросив взгляд на Жана Большого. — Ты ведь это знаешь, правда? Мы о тебе так беспокоились, папа, ты ведь тут совсем один.

Он сделал повелительный жест: еще кофе. Я налила.

— В общем, мы погостим на острове еще пару недель, потом немного побудем в Нанте. Чтобы все устроить. У Марэна там дядя, двоюродный брат Клода, Аман. Он тоже занимается антиквариатом, импортирует. Он возьмет нас к себе, пока мы не найдем чего-нибудь более постоянного.

Марэн кивнул.

— Главное, что мальчики будут в хорошей школе. Маленький Жан-Франк едва-едва говорит по-французски. И им обоим надо научиться читать и писать.

— А что же малыш?

Я помнила, что Адриенна была беременна, когда умерла мама. Но Адриенна совершенно не была похожа на только что родившую. Она всегда была тоненькая, а теперь стала еще тоньше обычного. Я заметила, какие у нее хрупкие, костлявые запястья, а под глазами залегли ямки теней.

Марэн укоризненно посмотрел на меня.

— У Адриенны был выкидыш в три месяца, — гнусаво, как обычно, сказал он. — Мы не говорим на эту тему.

Он говорил так, словно это было в том числе и моих рук дело.

— Извини, — пробормотала я.

Адриенна натянуто улыбнулась.

— Ничего, — сказала она. Она протянула худую коричневую руку и погладила одного из мальчиков по голове. — Не знаю, что бы я делала без моих ангелочков.

Мальчики захихикали и затрещали между собой по-арабски. Жан Большой смотрел на них так, словно не мог насмотреться досыта.

— Мы их опять привезем на каникулы, — предложила Адриенна чуть более жизнерадостно. — Мы тогда приедем надолго, погостим хорошенько.

Они пробыли два часа. Адриенна обследовала дом сверху донизу, Марэн осмотрел шлюпочную мастерскую, а Жан Большой курил «житан», пил кофе, смотрел на мальчиков, и его глаза, голубые, как бабочкино крыло, сияли.

Мальчики. Ничего удивительного. Он всегда мечтал о сыновьях, и прибытие Адриенны, матери сыновей, повергло наше только зарождающееся мирное сосуществование в полнейший хаос. Жан Большой не отрываясь ходил за мальчиками; иногда ерошил их длинные пряди; отодвигал от камина, когда они, заигравшись, оказывались слишком близко; подобрал сброшенные кофточки, сложил и положил на стул. Мне было не по себе, неловко, я сидела напротив няньки и не знала, чем бы заняться. Горсть песка, перекочевавшая ко мне в карман, словно просилась наружу. Мне хотелось бы пойти обратно на Ла Гулю или на дюны, где можно побыть одной, но выражение отцовского лица меня завораживало. Это на меня он должен был так смотреть.

Я больше не могла молчать.

— Я ходила на Ла Гулю сегодня утром.

Ноль реакции. Франк и Лоик боролись, играя, и катались по полу, как щенки. Нянька робко улыбнулась, явно не понимая ни слова.

— Я думала, может, прилив что-нибудь принесет.

Жан Большой поднял пиалу и на мгновение укрыл в ней лицо. Послышалось тихое хлюпанье. Он поставил перед собой опустевшую пиалу и подтолкнул ее ко мне жестом, означавшим «дай еще».

Я не прореагировала.

— Видишь?

Я вытащила руку из кармана и поднесла к его лицу. К ладони прилип песок.

Жан Большой опять настойчиво подтолкнул пиалу.

— Ты понимаешь, что это значит? — Я резко повысила голос — Или тебе все равно?

Он опять подтолкнул пиалу. Франк и Лоик смотрели на меня с открытыми ртами, забыв про игру. Жан Большой смотрел мимо, без всякого выражения, непроницаемый, как статуя с острова Пасхи.

Я вдруг разозлилась. Все шло не так: сперва Флинн, потом Адриенна, а теперь и Жан Большой. Я грохнула кофейник перед ним на стол, так что

кофе выплеснулся на скатерть.

— Хочешь кофе? — настойчиво сказала я. — Так сам налей. А если хочешь, чтобы я налила, то скажи. Ты можешь, я знаю. Ну. Скажи!

Молчание. Жан Большой просто-напросто опять уставился в окно, игнорируя и меня, и все остальное. Он словно стал таким же, как раньше, и все, чего мне удалось добиться, было забыто. Еще несколько секунд, и Франк с Лоиком возобновили игру. Робкая нянька смотрела себе в колени. Адриенна что-то крикнула снаружи, не то весело, не то возбужденно. Я стала убирать со стола остатки завтрака, швыряя кастрюли в раковину. Оставшийся кофе я вылила — надеялась, что отец запротестует, но не дождалась. Я молча вымыла и вытерла посуду. Глаза у меня жгло.

Сестра с мужем и детьми остановились в «Иммортелях». Они пришли к нам на рождественский обед, потом заходили почти каждое утро на час или около того и уходили обратно в Ла Уссиньер. На новый год Франк и Лоик получили новые велосипеды, которые отец специально заказал с материка. Я не спросила, где он взял деньги, хотя знала, что велосипеды недешевы.

Уже на сходнях «Бримана-1», когда Жан Большой помогал няньке тащить на борт чемоданы, Адриенна наконец отвела меня в сторону.

— Насчет папы, — доверительно сказала она. — Я не хотела говорить при мальчиках, но он меня очень беспокоит.

— Меня тоже.

Я старалась говорить без всякого выражения.

Лицо Адриенны выразило огорчение.

— Я знаю, ты не поверишь, но я очень люблю папу, — сказала она. — Меня беспокоит, что он живет тут так замкнуто, так зависит от одного-единственного человека. Мне кажется, это ему не полезно.

— Вообще-то его состояние сильно улучшилось, — сказала я.

Адриенна улыбнулась.

— Никто не спорит, ты молодец, — ответила она. — Но одному человеку тут не справиться. Ему недостаточно той помощи, какую ты можешь оказать.

— А какая ему нужна помощь? — Я слышала, как мой голос повышается. — Такая, какую окажут в «Иммортелях»? Это Бриман так говорит?

Лицо Адриенны выразило обиду.

— Мадо, не надо так.

Я не обратила внимания.

— Это Бриман сказал, чтобы вы приехали? — требовательно спросила я. — Сказал, что я не хочу с ним сотрудничать?

— Я хотела, чтобы папа увидел мальчиков.

— Мальчиков?

— Да. Чтобы он увидел, что жизнь продолжается. Ему совершенно ни к чему жить здесь, когда он может быть рядом со своей семьей. А то, что ты его в этом поддерживаешь, очень эгоистично с твоей стороны и вредно для него.

Я уставилась на нее как громом пораженная. Неужели я веду себя как

эгоистка? Может, я так погрузилась во все свои планы и фантазии, что забыла про потребности отца? Неужели правда, что Жану Большому не нужны ни риф, ни пляж, ни все остальное, что я для него делаю, — ничего не нужно, кроме внуков, которых Адриенна привезла с собой?

— Здесь его дом, — сказала я наконец. — И я тоже часть его семьи.

— Не будь дурочкой, — сказала сестра и на мгновение стала совершенно той, прежней Адриенной, старшей сестрой-задавакой, что сидела на террасе уссинского кафе и насмеялась над моими обносками и стрижкой «под мальчика». — Может, ты думаешь, это очень романтично — жить в глуши. Но папе это совершенно не полезно. Посмотри на дом: он весь сляпан из каких-то кусков; даже ванной нормальной нет. А если папа заболит? Кто его будет лечить, разве тот старый ветеринар, как его там? Что, если ему надо будет лечь в больницу?

— Я не заставляю его здесь оставаться, — сказала я, злясь, что это прозвучало так, словно я оправдываюсь. — Я за ним приглядываю, вот и все.

Адриенна пожала плечами. С тем же успехом она могла бы сказать и вслух: «Да, точно так же, как ты приглядывала за мамой».

— Я хотя бы пыталась, — сказала я. — А что ты сделала хоть для кого-то из них? Живешь себе в башне из слоновой кости. Ты хоть знаешь, каково нам приходилось все эти годы?

Не знаю, почему мама всегда утверждала, что это я больше похожа на Жана Большого. Адриенна лишь непроницаемо улыбнулась, безмятежная, как фотография, и столь же безмолвная. Ее самодовольное молчание всегда приводило меня в бешенство. Гнев пополз по моему телу, как армия муравьев.

— Сколько раз ты приезжала? Сколько раз обещала звонить? Я тебе звонила, Адриенна, я сказала, что мама умирает...

У нее был такой убитый вид, что я замолчала. Я почувствовала, что краснею.

— Слушай, Адриенна, ты прости меня, но...

— Прости? — пронзительно повторила она. — Даты хоть знаешь, в каком я была состоянии? Я потеряла ребенка — папиного внука, — а ты хочешь отделаться извинениями?

Я хотела коснуться ее руки, но она отпрянула нервным, истерическим движением, которое чем-то напомнило мне маму. Сестра взглянула на меня, словно два ножа воткнула.

— Сказать тебе, Мадо, почему мы не приезжали? Сказать, почему мы остановились в «Иммортелях», а не у папы, где могли бы видеть его

каждый день?

Голос ее был теперь как воздушный змей — легкий, ломкий, парящий где-то высоко.

Я покачала головой.

— Адриенна, пожалуйста...

— Из-за тебя, Мадо! Потому что ты там была!

Она уже почти плакала, задыхаясь от ярости, хотя мне показалось, что в голосе у нее была и нотка самодовольства: Адриенна, подобно маме, обожала театральные страсти.

— Ты вечно ноешь! Вечно пилишь! — Она испустила громкое рыдание.

— Ты третировала маму, пыталась заставить ее уехать из Парижа, который она обожала, а теперь ты то же самое делаешь и с бедным папой! Мадо, ты просто свихнулась на этом острове, вот что, и ты просто не понимаешь, когда другие люди хотят не того, чего ты хочешь!

Адриенна вытерла лицо рукавом.

— И если мы не приезжаем, это не потому, что мы не хотим видеть папу, а потому, что я не выношу быть рядом с тобой!

Послышался паромный гудок. В последовавшем молчании я услышала за спиной тихое шарканье и обернулась. Это был Жан Большой — он молча стоял на сходнях. Я протянула к нему руки.

— Отец...

Но он уже отвернулся.

Январь принес на Ла Гулю еще песку. К середине месяца он уже стал заметен: тонкую белую каемку, окружившую камни, конечно, пляжем никак не назовешь, но все-таки это песок, крапчатый, испещренный чешуйками слюды, который при отливе высыхал и становился сыпучим.

Флинн сдержал слово. С помощью Дамьена и Лоло он мешками таскал с дюн каменистую грязь и вываливал на замшелые камни у подножия утеса. В эту серую почву он сажал жесткий песчаный овес, чтобы удерживать песок от смывания, и набрасывал водорослей между слоями земли, прижимая их колышками и кусками старой рыболовной сети. Я с любопытством и, сама того не желая, с надеждой смотрела на то, как продвигается работа. Ла Гулю со всем хозяйством — мусор, земля, водоросли, сети — был похож на пляж еще меньше обычного.

— Это всего лишь фундамент, — уверял меня Флинн. — Вы же не хотите, чтоб ваш песок унесло ветром?

Пока гостила Адриенна, он держался с несвойственной ему застенчивостью и заходил к нам всего раз или два за все время, а не каждый день, как обычно. Мне его не хватало — еще больше не хватало из-за того, как вел себя Жан Большой, — и я начала понимать, как сильно повлияло на всех нас за последнее время присутствие Флинна; как он расцветил нас всех.

Я рассказала ему про ссору с Адриенной. Он слушал, оставив свое обычное легкомыслие, между глаз залегла морщинка.

— Я знаю, она моя сестра и ей нелегко пришлось, но...

— Родню не выбирают, — сказал Флинн. Он видел Адриенну мимоходом, только однажды за все время, что она провела на острове, и я помню, что в ту встречу он был необычно молчалив. — Вы не обязательно должны ладить только потому, что вы сестры.

Я вздохнула. Если б только удалось объяснить это маме.

— Жан Большой хотел сына, — сказала я, срывая травинку с дюны. — Он не был готов к появлению двух дочерей.

Я подумала, что теперь Адриенна это исправила. И все мои усилия — короткие волосы, мальчишеская одежда, часы, что я провела в мастерской, наблюдая за работой отца, рыбная ловля, украденные минуты, — все это затмилось, лишилось ценности. Флинн, должно быть, что-то прочитал по моему лицу, потому что перестал работать и уставился на меня со

странным выражением.

— Вы здесь не для того, чтобы оправдать ожидания Жана Большого или чьи бы то ни было еще. Если он не понимает, что у него есть нечто в тысячу раз ценнее... — Он прервался и пожал плечами. — Вы не обязаны никому ничего доказывать, — сказал он необычно резко. — Ему повезло, что вы у него есть.

Вот и Бриман говорил то же самое. Но сестра обвинила меня в эгоизме, в том, что я использую отца. Я подумала, уж не права ли она, может, от моего присутствия больше вреда, чем пользы. Может, ему ничего не надо — только видеть каждый день Адриенну и мальчиков?

— У вас ведь есть брат?

— Сводный.

Он прибывал колышком кусок сети, оторвавшийся от дюны. Я попыталась представить себе Флинна чьим-то братом; для меня он был воплощением образа единственного ребенка.

— Вы его недолюбливаете.

— Лучше бы он был единственным сыном.

Я подумала про себя и Адриенну. Ей следовало бы быть единственной дочерью. Все, что я пыталась сделать, моя сестра сделала раньше меня и лучше.

Флинн исследовал свежую поросль песчаного овса на дюне. Любому другому человеку показалось бы, что его лицо ничего особенного не выражает, но я заметила, как напряглись у него мышцы вокруг рта. Я подавила в себе желание спросить, что случилось с его братом и с матерью. Что бы это ни было — оно причинило ему боль. Может, почти такую же, какую мы с Адриенной причиняли друг другу. Меня охватил трепет, какое-то чувство, более глубокое, чем нежность. Я протянула руку вниз и коснулась волос Флинна.

— Значит, у нас есть что-то общее, — небрежно сказала я. — Семейные драмы.

— Ничего подобного, — ответил Флинн, глядя на меня снизу вверх с неожиданной нахальной, сияющей улыбкой. — Вы вернулись домой. А я сбежал.

В Ле Салане люди не особенно интересовались приростом пляжа. Зима подходила к концу, и их больше занимали другие вещи: как изменившееся течение опять начало пригонять к берегу кефаль, еще обильнее, чем раньше; как сети теперь чаще были полны, чем пусты; как омары, морские пауки и толстые крабы-сони полюбили укрытый от бурь залив и едва ли не

дрались за место в садках. Зимние приливы не затопили деревню, и даже давно залитые дальние поля Оме начали являться на свет после трех лет под водой. Геноле наконец осуществили свой план покупки новой лодки. «Элеонору-2» строили на материке, в шлюпочной мастерской близ Порника, и несколько недель мы слышали от Геноле исключительно сводки о продвижении работ. Это будет островная лодка, такая же, как ее предшественница: быстрая, с высоким килем, с двумя мачтами и четырехугольным островным парусом. Алэн не рассказывал, сколько лодка стоит, но не сомневался, что при переменившихся течениях он быстро выплатит долг. Гилен, кажется, проявлял меньше оптимизма — его явно еле оттащили от быстроходных катеров и «Зодиаков», — но тоже радовался маячащим в перспективе заработкам. Я надеялась, что новая лодка, несмотря на имя, не будет вызывать у отца ностальгических ассоциаций; я втайне ожидала, что Геноле выберут какое-нибудь другое имя. Но отца, кажется, не волновали отчеты о том, как движется работа над лодкой, и я решила, что придала этому делу слишком большое значение.

Риф получил собственное имя, Ле Бушу, и два бакена, по одному с каждого конца, чтобы ночью показывать его местоположение.

Бастонне, которые все еще поддерживали перемирие с Геноле, все время опасаясь подвоха, возвращались с рекордными уловами. Аристид победоносно объявил, что Ксавье поймал шестнадцать омаров за неделю и продал их уссинцу — кузену мэра, владельцу «Ла Марэ», рыбного ресторана на пляже, — по пятьдесят франков за штуку.

— Они ожидают большого наплыва отдыхающих к июлю, — с мрачным удовлетворением рассказывал он. — В ресторане скоро негде будет яблоку упасть. В сезон у них за вечер может пойти в дело полдюжины омаров — вот хозяин ресторана и думает закупить омаров сейчас, посадить в живорыбный садок и ждать, пока цены поднимутся.

Аристид хихикнул.

— Ну так не он один такой умный. Я велел мальчику построить для нас такой же садок в ручье. Это дешевле, чем держать живность в баках, а если поставить правильную сетку, то омарам не сбежать. Мы будем держать их там живьем, даже маленьких — так что нам не придется ни одного выпускать, раз уж поймали, — и продадим за хорошие деньги, когда цены вырастут. Привязать их ко дну, чтоб не дрались меж собой. Прилив будет сам приносить им еду вверх по *étier*, нам даже делать ничего не придется. Отличная идея, э? — Он потер руки.

— Верно, — удивленно сказала я. — Да вы находчивый предприниматель, мсье Бастонне.

— А то, э? — Аристид был явно доволен. — Давно уже пора нам подумать о собственной пользе, для разнообразия. Заработать немножко для мальчика. Не может же такой парень обходиться без денег, особенно если ему пора обзаводиться хозяйством.

Я подумала о Мерседес и улыбнулась.

— И это еще не все, — сказал Аристид. — Ты не поверишь, кто войдет со мной в долю, когда его лодка будет готова.

Я посмотрела на него, ожидая продолжения.

— Матиа Геноле. — Он ухмыльнулся, видя мое удивление, и стариковские голубые глаза сверкнули. — Я так и подумал, что это тебя ошарашит, — сказал он, доставая сигарету и закуривая. — Готов поспорить, на острове мало кто поверил бы, что Геноле и Бастонне будут сотрудничать еще при моей жизни. Но бизнес есть бизнес. Если мы будем работать вместе — две лодки, пять человек, — мы хорошенько заработаем на кефали, устрицах и омарах. Сколотим состояние. Работая порознь, мы только ветер друг у друга ворует, да еще уссинцам даем над чем посмеяться.

Аристид затянулся сигаретой и откинулся назад, поудобнее устраивая деревянную ногу.

— Удивил я тебя, э? — спросил он.

Удивил — не то слово. Забыть многолетнюю вражду меж семьями, полностью изменить способ ведения дел — полгода назад я бы не поверила, что это вообще возможно.

И это как ничто другое убедило меня, что Бастонне ничего общего не имеют с гибелью «Элеоноры». Туанетта на это намекала; Флинн подкрепил мои подозрения, хотя я ни на миг не верила, что Жан Большой мог иметь к этому делу хоть какое-то касательство, — и с тех самых пор меня терзали сомнения. Но теперь я наконец могла успокоиться. Так я и сделала, с удовольствием и глубоким облегчением. Что бы ни было причиной гибели «Элеоноры» — Аристид тут ни при чем. Я почувствовала внезапную симпатию к неласковому старику и дружески хлопнула его по плечу.

— Вы заработали рюмку колдуновки. Я угощаю.

Аристид погасил сигарету в пепельнице.

— Не откажусь.

Рождественский визит сестры вызвал некоторое оживление. Не в последнюю очередь из-за мальчиков, которые собрали свою дань восхищения от мыса Грино до «Иммортелей», но еще и потому, что он давал надежду тем, кто, подобно Дезире и Капуцине, ждал весточки от

давно исчезнувших родных. Когда вернулась я, это вызвало лишь подозрения, но ее возвращение — именно в этот момент, с мальчиками и надеждами на будущее — было единодушно одобрено. Даже ее брак с уссинцем получил одобрение; Марэн Бриман был богат — во всяком случае, его дядя был богат, и при отсутствии прочих близких родственников все должно было достаться Марэну. Согласно общему мнению, Адриенна очень хорошо устроилась.

— И тебе не мешало бы последовать ее примеру, — наставляла меня Капуцина, сидя над пирожными в своем вагончике. — Тебе давно пора обзавестись хозяйством. Вот что продлевает жизнь острову — брак и дети, а не какая-то там рыбная ловля и ремесло.

Я пожала плечами. Хотя Адриенна не давала о себе знать после нашего разговора на сходнях «Бримана-1», мне было не по себе, я все время пыталась понять свои и ее истинные мотивы. Неужели я использую отца как предлог, чтобы спрятаться от всего света? Неужели Адриенна выбрала лучший путь?

— Ты хорошая девочка, — сказала Капуцина, удобно откидываясь в кресле. — Ты уже очень помогла отцу. И Ле Салану. Теперь пора и о себе подумать.

Она выпрямилась и критически оглядела меня.

— Ты хорошенькая, Мадо. Я видела, как на тебя смотрит Гилен Геноле и еще кое-кто...

Я попыталась остановить ее, но она лишь добродушно-раздраженно замахала на меня руками.

— Ты уже не рывкаешь на людей, как раньше, — продолжала она. — И не ходишь выставив подбородок, словно только и ищешь, с кем бы подраться. И люди больше не зовут тебя Квочкой.

Правда — это даже я заметила.

— И ты опять начала рисовать. Верно?

Я взглянула на полумесяцы охры под ногтями, непонятно почему чувствуя себя виноватой. Есть о чем говорить — несколько этюдов, обрывков да незаконченный холст побольше размером у меня в комнате. Флинн оказался неожиданно благодарным сюжетом для картин. Оказалось, что его лицо я помню лучше любого другого. Конечно, в этом нет ничего удивительного — я ведь столько времени провожу в его обществе.

Капуцина улыбнулась.

— Ну что ж, тебе это на пользу, — объявила она — Подумай немножко о себе для разнообразия. Хватит тащить весь мир на плечах. Приливы и отливы приходят и без твоего участия.

В феврале уже любой мог заметить перемены на Ла Гулю. Изменившиеся течения с Ла Жете продолжали приносить оттуда песок — малозаметный процесс, который интересовал только детей и меня. Мусор и галька, что натаскал Флинн, уже были по большей части покрыты песком; песчаный овес и заячьи хвостики отлично берегли этот песок, не давая ветру унести его, а воде — смыть. Как-то утром, придя на Ла Гулю, я обнаружила там Лоло и Дамьена Геноле, которые героически пытались построить песчаный замок. Дело непростое; слой песка был слишком тонок, а под ним ничего, кроме грязи, но при небольшой смекалке с этим можно было справиться. Дети построили что-то вроде плотины из пла́вника и выгребали оттуда накопившийся песок, пропихивая его по выкопанной в грязи канавке.

Лоло ухмыльнулся мне.

— У нас будет нормальный пляж, — сказал он. — На нем будет песок с дюн и все такое. Рыжий сказал.

Я улыбнулась.

— А вы будете рады? Пляжу?

Дети закивали.

— Нам негде играть, кроме как здесь, — сказал Лоло. — Даже на *ètier* нам теперь нельзя — там эта новая штука для омаров.

Дамьен пнул камень.

— Это не мой папа придумал. А эти Бастонне. — Он с вызовом глянул на меня из-под темных ресниц. — Может, папа и забыл, что они сделали с нашей семьей, а я нет.

Лоло скорчил рожу.

— Тебе на это плевать, — сказал он. — Тебе просто завидно, что Ксавье гуляет с Мерседес.

— Не ври!

Конечно, никто ничего открыто не объявлял. Мерседес все так же проводила бóльшую часть времени в Ла Уссиньере, где, как она говорила, кипит жизнь. Но Ксавье видели с ней в кино и в «Черной кошке», а Аристид заметно повеселел и много говорил о капиталовложениях и о том, что надо строить будущее.

Суровые Геноле тоже были настроены необыкновенно оптимистично. В конце месяца долгожданная «Элео-нора-2» наконец была достроена и

готова к выдаче владельцам. Ален, Матиа и Гилен отправились в Порник на пароме забирать лодку, собираясь оттуда идти на ней прямо в Ле Салан. Я поехала с ними за компанию и чтобы забрать сундук с вещами — в основном одеждой и художественными принадлежностями, — высланный мне из Парижа квартирной хозяйкой. Я убедила сама себя, что хочу поглядеть на новую лодку; на самом деле Ле Салан начал действовать мне на нервы. После отъезда Адриенны Жан Большой вернулся в свое прежнее пассивное состояние; погода стояла пасмурная; даже прирост песка на Ла Гулю потерял прелесть новизны. Я нуждалась в перемене обстановки.

Ален выбрал шлюпочную мастерскую в Порнике как ближайшую к Колдуну. Тамошний хозяин был слегка знаком Алену — он приходился дальним родственником Жожо Чайке, хотя вендетта меж уссинцами и саланца-ми не распространялась на него как на жителя материка Его заведение было у моря, возле бухточки, и, когда мы вошли, меня поразил незабываемый, навевающий ностальгию запах действующей шлюпочной мастерской: запах краски, опилок, вонь горелой пластмассы, сварки и клинкерной обшивки, мокнувшей в растворе химикатов.

Фирма была семейная; гораздо больше когдатошней шлюпочной мастерской Жана Большого, но достаточно маленькая, чтобы Ален не чувствовал себя потерянным. Ален и Матиа ушли с хозяином договариваться насчет оплаты, а мы с Гиленом остались глядеть на сухие доки и недостроенные лодки. «Элеонору-2» было легко заметить — единственный деревянный корпус в ряду пластиковых, на которые Гилен воззрился с завистью. Лодка была чуть больше первой «Элеоноры», но Ален заказал сделать ее в том же стиле, и, хотя этому судостроителю недоставало скрупулезного мастерства моего отца, я видела, что лодка вышла хорошая. Я оглядела ее всю кругом, а Гилен пошел прогуляться к воде, и я как раз заглядывала под днище, чтобы увидеть киль, когда Гилен прибежал обратно, запыхавшийся, с оживлением на лице.

— Там! — сказал он, показывая себе за спину в большой цех. Здесь, на отдельном запертом складе, хранились запчасти, а также подъемное и сварочное оборудование. Гилен потянул меня за руку. — Иди посмотри!

Обогнув угол цеха, я увидела, что там строят что-то большое. Оно не было закончено даже наполовину, но уже можно было понять, что эта штука больше всех остальных, строящихся в шлюпочной мастерской. Воздух наполняли резкие запахи масла и металла.

— Как ты думаешь, что это? Паром? Траулер?

Судно — метров двадцать в длину, двухпалубное — было окружено лесами. Тупой нос, квадратная корма; когда я была маленькая, Жан

Большой звал такие «железными свиньями» и презирал их всей душой. Маленький паром, на котором мы плыли в Порник, был именно такой железной свиньей — квадратный, некрасивый, очень функциональный.

— Это паром. — Гилен ухмыльнулся, довольный сам собой. — Знаешь, откуда я знаю? Погляди на другой стороне.

Другая сторона была не закончена; большие металлические панели, склепанные вместе, образовывали корпус, но многих еще не хватало, и все вместе было похоже на недособранную головоломку из кусочков с очень скучной картинкой. Панели были темно-серые, но на одной из них кто-то написал желтым мелом название «железной свиньи»: «Бриман-2».

Я глядела на эту надпись и молчала.

— Ну, — нетерпеливо спросил Гилен. — Что скажешь?

Я нахмурилась.

— Я скажу — если Бриман может себе это позволить, то у него дела идут еще лучше, чем мы думали.

Вернулась я в одиночку, заехав в Нант за своим сундуком. Может, потому, что я давно не интересовалась, как идут дела в Ла Уссиньере, я, оглядевшись, решила, что он изменился. Я бы не могла сказать, что именно поменялось, но городок выглядел как-то незнакомо, словно что-то в нем разладилось. Улицы сияли другим светом. Воздух пах по-другому, более солоно, что ли, как Ла Гулю при отливе. Когда я шла по улице, люди смотрели на меня: одни кивали мимоходом в знак приветствия, другие отводили глаза, словно им было недосуг разговаривать.

Зима на острове — мертвый сезон. Из молодежи многие на это время уезжают на материк работать и возвращаются только в июне. Но в этом году Ла Уссиньер выглядел как-то по-другому, казалось, он спит нездоровым сном, больше похожим на смерть. Магазины по большей части были закрыты, витрины забраны ставнями. На улице Иммортелей было безлюдно. Был отлив, и на отмелях бело от чаек. Обычно в такой день на отмели вышли бы дюжины рыбаков — копать съедобных моллюсков, а сейчас только одинокая фигура стояла у края воды с сачком на длинной ручке, бесцельно тыкая в комок водорослей.

Это был Жожо Чайка. Я перелезла через стену и пошла по *grève*. На отмелях дул резкий ветер, он ерошил мне волосы и наводил дрожь. Идти приходилось по гальке, и ногам было больно. Я пожалела, что обута не в сапоги, как Жожо, а в эспадрильи с тонкими подошвами.

За полосой песка виднелись «Иммортели», белый кубик над волноломом в нескольких сотнях метров от меня. Под ним — узкий клин пляжа. За пляжем — камни. Я не помнила, чтоб тут было столько камней, но оттуда, где я сейчас стояла, все смотрелось по-другому, меньше, удаленнее, пляж с этой точки казался уже и вообще был не похож на пляж, волнолом бросался в глаза на фоне песка. Под стеной стоял столб с объявлением — слишком далеко, не разобрать, что написано.

— Жожо, привет.

Он повернулся на звук голоса, держа сачок. У ног, в деревянном ведре для улова — лишь клубок водорослей и несколько червей для наживки.

— А, это ты. — Он зубасто улыбнулся, не выпуская изо рта окурка.

— Как ловится?

— Вроде ничего. А ты что так далеко в море зашла, э? Червей копаешь?

— Нет, просто так, захотелось пройтись. Тут красиво, правда?

— Э.

Пробираясь обратно через отмели к «Имморталям», я чувствовала, как он смотрит мне в спину. Ветер был несильный, под ногами — прибережная галька. Я подошла ближе к пляжу — оказалось, он более каменист, чем мне помнилось, а на некоторых участках виднелись булыжники вымостки — там, где песок унесло ветром, обнажая фундамент древней дамбы.

Песку на «Имморталях» стало меньше.

Это было еще заметнее из полосы прибоя: отсюда виднелись обнажившиеся сваи пляжных веранд, голые, как пародонтозные зубы. Насколько меньше? Я понятия не имела.

— Ну, здравствуй!

Голос раздался у меня за спиной. Несмотря на свою массивность, хозяин голоса подошел по песку почти бесшумно. Я повернулась, надеясь, что он не заметил, как я поморщилась.

— Мсье Бриман!

Бриман укоризненно цокнул языком и поднял палец:

— Клод. Я же просил.

Он улыбался и явно рад был меня видеть.

— Что, любишь пейзажем?

Все-таки он обаятельный. Я, сама того не желая, проникалась этим обаянием.

— Да, тут очень красиво. Наверное, жильцы «Иммортелей» ценят этот вид.

Бриман вздохнул.

— Ну, постольку, поскольку они вообще в состоянии что-либо ценить. К сожалению, все мы с годами не молодеем. Особенно Жоржетта Лойон в последнее время хворает. Я, конечно, делаю все, что от меня зависит. Но в конце концов, она уже на девятом десятке. — Он обхватил меня рукой за плечи. — Как там Жан Большой?

Я знала, что тут нужна предельная осторожность.

— Неплохо. Вы не поверите, насколько ему стало лучше.

— А вот твоя сестра говорит другое.

Я попыталась улыбнуться.

— Адриенна здесь не живет. Откуда ей знать?

Бриман сочувственно кивнул.

— Конечно. Со стороны судить легко, правда? Но если человек не готов поселиться тут навсегда...

Я не клюнула на приманку. Вместо этого отвернулась и поглядела на

пустынную эспланаду.

— Кажется, дела в последнее время не очень, а?

— Ну, сейчас сезон такой. Признаюсь, я сам в последнее время больше люблю то время, когда в делах застой: видно, я уже староват для обслуживания туристов. Похоже, пора уже подумывать, как бы выйти на покой через несколько лет.

Он благодушно улыбнулся.

— А ты-то как? Я последнее время всякое слышу про Ле Салан.

Я пожала плечами.

— Справляемся.

Его глаза блеснули.

— Я слышал, вы не просто справляетесь. Например, в Ле Салане в кои-то веки появились предприниматели. Живорыбный садок для омаров, прямо на старом *étier*. Еще немного, и я подумаю, что вы решили составить мне конкуренцию. — Он хихикнул. — Твоя сестра неплохо выглядит. Должно быть, жизнь вне острова идет ей на пользу.

Молчание. С песка, с линии прибоя, с криком поднялась цепочка чаек.

— А Марэн-то и мальчики! Жан Большой, наверно, был страшно рад увидеть внуков, после стольких лет.

Молчание.

— Я иногда задумываюсь, какой бы из меня вышел дед. — Он испустил великанский вздох. — Но мне и отцом-то не дали побыть.

От разговоров про Адриенну и детей мне стало не по себе, и Бриман явно это почувствовал.

— Я слыхала, вы строите новый паром, — внезапно сказала я.

Его лицо на миг выразило неподдельное удивление.

— Правда? Кто тебе сказал?

— В деревне кто-то говорил, — ответила я, не желая рассказывать, что была в шлюпочной мастерской. — Это правда?

Бриман закурил «житан».

— Я об этом подумывал, — сказал он. — Идея хорошая. Но не очень практичная, ты согласна? Тут и так места мало.

Он уже полностью овладел собой, в грифельных глазах засверкало веселье.

— Я бы на твоём месте не стал распускать этих слухов, — посоветовал он. — Только зря разочаруешь людей.

Скоро он ушел, одарив меня на прощание улыбкой и сердечным приглашением заходить в гости почаще. Я подумала, уж не почудился ли мне тот момент неловкости, словно я его и вправду застала врасплох.

Непонятно — если он в самом деле строит паром, какой смысл держать это в секрете?

Уже пройдя полдороги до Ле Салана, я сообразила, что ни Бриман, ни Жожо ничего не сказали о размытом пляже. Может, это естественное явление, сказала я себе. Может, такое случается каждую зиму.

А может, и нет. Может, это из-за того, что сделали мы.

От этой мысли меня мутило, мне становилось не по себе. В любом случае никакой определенности тут не могло быть; те часы, что я провела за экспериментами, мои опыты с поплавками, те дни, что я потратила, наблюдая за «Иммортелями», ничего не значили. Может, Ле Бушу тут ни при чем, уговаривала я сама себя. Не могут же мелкие любительские упражнения в гидротехнике изменить линию берега. И одной мелкой зависти недостаточно, чтобы украсть пляж.

Флинн отмахнулся от моих подозрений.

— Что может быть причиной, как не прилив? — спросил он, пока мы шли берегом от мыса Грино.

Ветер дул точно с запада, я такой любила больше всего — он разгоняется на взлетной полосе тысячи километров открытого моря. Карабкаясь по прибрежной тропе, я обнаружила, что с вершины утеса уже виднеется бледный полумесяц песка — метров пять в ширину и тридцать в длину.

— Много песку прибавилось, — крикнула я, перекрывая гул ветра.

Флинн нагнулся разглядеть кусок пла́вника, застрявший меж двух камней.

— Ну и что? Это же хорошо?

Но, сойдя с тропы и приближаясь к берегу, я с удивлением ощущала, как сухой песок поддается под ногами — словно там не тонкая прослойка на утрамбованных камнях, а толстый слой. Я стала копать ладонью и обнаружила, что глубина песка — сантиметра три-четыре: для давно существующего пляжа, может, не так уж и много, но в наших обстоятельствах — почти чудо. Песок еще и граблями кто-то пригладил от берега до дюны, как ухоженную грядку. Кто-то здесь поработал на совесть.

— Что такое? — спросил Флинн, видя мое удивление. — Процесс идет чуть быстрее, чем мы ожидали, вот и все. Ты же этого и хотела, разве нет?

Конечно, я хотела именно этого. Но мне надо было знать, как это случилось.

— Нельзя быть такой подозрительной, — сказал Флинн. — Расслабься немного. Живи одним днем. Подыши морским воздухом.

Он смеялся и махал куском пла́вника и был до того похож на нелепого волшебника — волосы развеваются, полы черного плаща хлопают на ветру, — что я вдруг почувствовала, до чего он мне дорог, и сама рассмеялась.

— Смотри, — крикнул он, перекрывая шум ветра, и потянул меня за рукав так, что я повернулась лицом к заливу, глядя на ничем не прерываемую линию бледного горизонта. — Тысяча миль океана, и больше ничего, отсюда до самой Америки. И мы его победили. Здорово, правда? Стоит же того, чтоб немножко отпраздновать?

Его энтузиазм заражал. Я кивнула, не успев еще перевести дух от смеха и ветра. Теперь он обнимал меня за плечи одной рукой; его плащ бился о

мое бедро. Запах моря, озоновый запах пронизывающей соленой водяной пыли, был вездесущ. Радостный ветер раздул мои легкие, и мне хотелось закричать. Вместо этого я по внезапному капризу повернулась к Флинну и поцеловала его — долгим, дух захватывающим поцелуем, соленым на вкус, и мой рот прилип к его рту, как рыба-прилипала. Я все еще смеялась, сама не зная почему. На мгновение я исчезла; стала кем-то другим. Мой рот горел; кожу покалывало. Волосы наэлектризовались. Вот, подумала я, как чувствует себя человек за секунду до того, как его ударит молния.

Волна влетела между нами, промочив меня до колен, и я отскочила, задыхаясь от удивления и холода. Флинн смотрел на меня с любопытством, явно не чувствуя, что набрал воды в сапоги. Впервые за много месяцев мне стало не по себе рядом с ним, словно земля меж нами переместилась и открыла что-то такое, о чем я даже не знала до нынешнего дня.

Потом он вдруг отвернулся.

Словно ударил. Жар пополз по моему телу, прилив замешательства и смертельного стыда. Как я могла быть такой дурой? Как я могла так ошибочно истолковать его поведение?

— Извини, — сказала я, пытаюсь выдавить смешок, хотя лицо мое горело. — Не знаю, что такое на меня нашло.

Флинн опять взглянул на меня. Свет в глазах, кажется, совсем погас.

— Ничего, — сказал он без всякого выражения. — Все в порядке. Давай не будем к этому возвращаться, ладно?

Я кивнула, страстно желая съежиться в крохотный комочек, чтобы меня унесло ветром.

Флинн, кажется, немного расслабился. Он на миг обнял меня одной рукой, как иногда делал отец, когда был мной доволен.

— Ладно, — повторил он.

И разговор опять перешел на безопасные темы.

По мере приближения весны я завела обыкновение ходить на пляж каждый день — искать признаки перемен или ущерба. Особенно я забеспокоилась с началом марта: ветер опять начал сменяться на южный, неся с собой злые приливы. Но злые приливы почти ничего не сделали Ле Салану. Ручей держался молодцом, на Ла Буше было сухо, лодки по большей части были вытащены в безопасное место. Даже Ла Гулю, кажется, совсем не пострадал, если не считать куч некрасивых черных водорослей, которые прилив выбрасывал на берег, — Оме забирал их каждое утро для удобрения полей. Бушу стоял на месте. Во время затишья между двумя приливами Флинн выбрался на лодке на Ла Жете и объявил,

что риф не понес серьезного ущерба. Наша удача пока держалась.

Мало-помалу оптимизм возвращался к саланцам. Дело было не только в том, что наше материальное положение улучшилось. Тут крылось что-то большее. Дети уже не так уныло тащились по утрам в школу, Туанетта купила себе новую щегольскую шляпку, Шарлотта начала красить губы розовой помадой и распустила волосы. Мерседес стала проводить меньше времени в Ла Уссиньере. Усеченная нога Аристида в дождливые ночи болела не так сильно. Я приводила шлюпочную мастерскую отца в рабочий вид: вычищала старый сарай, откладывала в сторону материалы, которые еще годились в дело, откапывала корпуса лодок, полузанесенные песком. А в домах по всему Ле Салану проветривались постели, вскапывались грядки, свободные комнаты обставлялись получше для долгожданных гостей. Про них никто не говорил вслух — дезертиров в деревне редко упоминали, еще реже, чем покойников, — но все равно из ящичков извлекались фотографии, письма перечитывались, телефонные номера зубрились наизусть. Кло, дочь Капуцины, собиралась приехать на Пасху. Дезире и Аристид получили открытку от младшего сына. Все было так, словно весна пришла раньше срока и новые ростки брызнули из пыльных углов и просоленных трещин.

Это затронуло даже отца. Я начала что-то подозревать, когда, вернувшись с Ла Гулю, обнаружила у крыльца штабель кирпичей. Рядом еще были шлакоблоки и мешки с цементом.

— Твой отец решил заняться строительством, — сказал Ален, встретив меня в деревне. — Кажется, он хочет устроить душевую или дом расширить.

Эта новость меня не удивила: в стародавние времена Жан Большой постоянно затевал какое-нибудь строительство. Я поняла, что дело серьезное, только когда Флинн явился с погрузчиком, бетономешалкой и новой порцией кирпичей и шлакоблоков.

— Это что? — спросила я.

— Работа, — ответил Флинн. — Твой отец хочет кое-что поделать.

Он отвечал с какой-то странной неохотой; это будет новая ванная комната, сказал он, взамен старой, в том конце лодочного сарая. Ну, может, еще то да се. Жан Большой попросил его все это сделать по его собственным планам.

— Но это ведь хорошо, правда? — спросил Флинн, увидев выражение моего лица. — Это значит, что ему не все равно.

Я не была в этом так уверена. До пасхальных выходных осталась всего пара месяцев, а ведь Адриенна поговаривала о том, чтобы приехать на это время, когда у детей будут каникулы в школе. Может быть, это хитрость,

чтобы ее привлечь. А деньги — стоимость материалов и работы? Жан Большой никогда ничем не давал мне понять, что у него есть деньги где-то в заначке.

— Сколько это будет стоить? — спросила я. Флинн сказал.

Цена была божеская, но я точно знала, что мой отец и этого себе позволить не может.

— Я заплачу, — сказала я.

Он покачал головой.

— Нет. Все уже обговорено. Кроме того, у тебя денег нет, — добавил он.

Я пожала плечами. Неправда, у меня еще кое-что оставалось. Но Флинн был непоколебим. За стройматериалы уже заплачено. А работа, сказал он, бесплатно.

Стройматериалы заняли бóльшую часть шлюпочной мастерской. Флинн очень извинялся, но, как он сказал, их совершенно некуда было больше положить, и к тому же это всего на неделю-другую. Поэтому я пока что перестала трудиться в шлюпочной мастерской и отправилась в Ла Уссиньер с альбомом для рисования. Однако по прибытии я обнаружила, что «Иммортели» закрыты строительными лесами — возможно, из-за сырости, вызванной высокими приливами.

Был прилив; я пошла на пустынный пляж, села, прислонившись спиной к волнолому, и стала наблюдать. Я просидела несколько минут, чиркая карандашом по бумаге почти от нечего делать, и вдруг заметила объявление, прибитое к скале высоко у меня над головой, — белая доска с черными буквами:

ИММОРТЕЛИ.

Частный пляж

Выносить песок с этого пляжа

ЗАПРЕШЕНО

Лица, уличенные в этом,

будут КАРАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ

Подписано:

П. Лакруа, полицейское управление

Ж. Пино, мэр

К. Бриман, владелец пляжа

Я встала и принялась разглядывать эти слова. Конечно, кражи песка и раньше случались: по несколько мешков там и сям, обычно для строительства или садовых нужд. Даже Бриман закрывал на это глаза. Но с пляжа пропала просто уйма песка. Гораздо больше, чем можно было бы объяснить обычной кражей.

Пляжные беседки, пережившие зиму, громоздились на деревянных сваях примерно в метре над землей; в августе они сидели прямо на песке. Я быстро начала рисовать: голенастые пляжные беседки, изгиб полосы прибоя, ряд булыжников за волноломом, прилив, который поднимался, выслав впереди себя авангард из водяной пыли.

Я так погрузилась в работу, что не сразу заметила сестру Экстазу и сестру Терезу, которые сели на волнолом прямо надо мной. На этот раз они были без мороженого, но у сестры Экстазы был пакетик конфет, который она время от времени передавала сестре Терезе. Обе были, кажется, ужасно рады меня видеть.

— Сестра, да это же Мадо Жана Большого...

— Малютка Мадо со своим альбомом. Пришла на море посмотреть, э? Нюхнуть южного ветра? — спросила сестра Тереза.

— Это он и создал наш пляж. Южный ветер, — объявила сестра Экстаза. — Так говорит Бриман.

— Бриман, он умный.

— Очень-очень умный.

Меня всегда забавляло, как сестры эхом повторяют одна другую; без запинки подхватывают фразу, словно щебечущие птицы.

— Я бы даже сказала, слишком умный, — улыбаясь, отозвалась я.

Монахини засмеялись.

— А может, недостаточно умный, — сказала сестра Тереза.

Монахини слезли со своего насеста на волноломе и принялись спускаться ко мне, подоткнув рясы.

— Ты кого-то ждешь?

— Там никого нету, Мадо Жана Большого, совсем никого.

— Кто будет на море в такую погоду? Ты знаешь, мы всегда так говорили твоему отцу...

— ...он-то вечно глядел на море, ты же знаешь...

— ...но она так и не вернулась.

Старушки монахини уселись на плоском камне рядом со мной и уставились на меня птичьими глазками. Я ошарашенно поглядела на них. Я знала, что у отца есть романтическая жилка, доказательством тому служили имена, которые он давал своим лодкам, но мысль, что он мог сидеть здесь и

обшаривать взглядом горизонт в надежде на возвращение моей матери, была неожиданной и странно меня тронула.

— А все-таки, *ta soeur*, — сказала сестра Экстаза, потянувшись за конфеткой, — малютка Мадо вернулась, разве не так?

— И кажется, счастье Ле Салана переменялось. Конечно, благодаря святой.

— О да. Святая. — Монахини захихикали.

— У нас, правда, дела похуже, — сказала сестра Экстаза, глядя на леса, окутавшие «Иммортели». — Нам не так везет.

Быстро надвигался прилив. На Колдуне всегда так — волны несутся по отмелям с обманчивой скоростью. Не одному охотнику за устрицами и креветками приходилось бросать улов и плыть, спасая свою жизнь, если его заставлял этот сильный молчаливый поток. Я видела течение, и, судя по всему, сильное — оно нащупывало путь к пляжу. С островами, стоящими на дюнах, так часто бывает: малейшее изменение может отвести течение в сторону, за одну зиму превратить укрытый от стихий заливчик в голый мыс, занести мели илом, превратить их в пляж, а потом в дюны — всего лишь за несколько лет.

— Это для чего? — спросила я сестер, показав на объявление.

— О, это мсье Бриман придумал. Он считает...

— ...что кто-то ворует песок.

— Ворует? — Я подумала про новый слой песка на Ла Гулю.

— Да, с лодкой, а может, с тягачом. — Сестра Тереза радостно улыбнулась со своего насеста. — Он обещал награду.

— Но это же глупо, — смеясь, сказала я. — Он же должен понимать, что ни один человек не может переместить такое количество песка. Это приливы. Приливы и течения. Вот и все.

Сестра Экстаза вернулась к своему пакетику сладостей. Увидев, что я на нее гляжу, она протянула его мне.

— Ну, Бриман, значит, не думает, что это глупо, — добродушно сказала она. — Бриман думает, что кто-то крадет у него пляж.

Сестра Тереза кивнула.

— Почему бы нет? — прочирикала она. — Такое и раньше случалось.

Март принес высокие приливы, но вместе с тем и хорошую погоду. Дела процветали: Оме выручил хорошие деньги за зимние овощи и собирался на будущий год посадить гораздо больше; Анжело, слегка подремонтировав свой бар, открыл его снова и всюю обслуживал посетителей, даже уссинцев, а концерн Геноле — Бастонне поставлял ему устрицы; Ксавье начал ремонтировать заброшенный коттеджик возле Ла Буша и несколько раз был замечен прогуливающимся под ручку с Мерседес Просаж; даже Туанетта выручала неплохие деньги на паломниках, посещающих святую Марину на мысе Грино, — святая стала пользоваться популярностью у уссинцев постарше с тех пор, как началось затопление.

Однако не все перемены были к лучшему. Союз Геноле и Бастонне временно пошатнулся, когда Ксавье кто-то подстерег на пути из Ла Уссиньера домой с деньгами за очередную партию омаров. Трое мужчин на мотоциклах остановили его сразу за деревней, разбили ему очки, сломали нос и забрали двухнедельную выручку. Ксавье не узнал никого из нападавших, потому что они все были в мотоциклетных шлемах.

— Тридцать омаров по пятьдесят франков за штуку, — стонал Матиа, обращаясь к Аристиду. — А твой внук их так просто взял и отдал!

Аристид оцетинился.

— Думаешь, твой внук лучше справился бы?

— Мой по крайней мере сдачи дал бы, — ответил Матиа.

— Их было трое, — пробормотал Ксавье, еще более робко, чем обычно, — без очков он выглядел нелепо и был похож на кролика.

— Ну и что? — ответил Матиа. — Ты что, бегать разучился?

— От мотоцикла-то?

— Это наверняка уссинцы, — умиротворяюще сказал Оме, видя, что назревает драка. — Ксавье, они что-нибудь говорили? Хоть что-нибудь, по чему можно было бы догадаться, кто они?

Ксавье покачал головой.

— А мотоциклы? Их-то ты должен был узнать?

Ксавье пожал плечами.

— Может быть.

— Может быть?!

В конце концов Ксавье, Гилен, Аристид и Матиа все вместе отправились в Ла Уссиньер потолковать с Пьером Лакруа, единственным

полицейским на острове, потому что ни одна сторона не могла передоверить другой правдивое изложение фактов. Полицейский им вроде бы посочувствовал, но не выразил особого оптимизма.

— На острове столько мотоциклов, — сказал он, отечески похлопав Ксавье по плечу. — Может, это вообще кто-нибудь с материка приехал на один день, на пароме.

Аристид покачал головой.

— Это были уссинцы, — упрямо сказал он. — Они знали, что мальчик несет деньги.

— Это знал любой саланец, — ответил Лакруа.

— Да, но тогда Ксавье узнал бы мотоциклы...

— Я вам очень сочувствую. — Это был окончательный отказ.

Аристид взглянул на Лакруа.

— Один из мотоциклов был красной «хондой», — сказал он.

— Это распространенная модель, — ответил Лакруа, не глядя на него.

— Кажется, у вашего Жоэля тоже красная «хонда»?

Воцарилось внезапное, угрожающее молчание.

— Бастонне, вы хотите сказать, что мой сын... мой сын... — Лицо Лакруа за усами побагровело. — Это злобный поклеп. Скажите спасибо, что вы старик, Бастонне, и что потеряли собственного сына...

Аристид вскочил, сжимая палку.

— Мой сын тут совершенно ни при чем!

— Мой тоже!

Они смотрели друг на друга — Аристид побелел, Лакруа побагровел, и оба тряслись от ярости.

Ксавье взял старика за руку, чтобы тот не упал.

— Дедушка, не стоит...

— Убери руки, э!

Гилен мягко взял его за другую руку.

— Мсье Бастонне, пожалуйста, пойдете.

Аристид пронзил его взглядом. Гилен не отвел глаз. Воцарилось долгое яростное молчание.

— Ну что ж, — сказал наконец Аристид. — Давненько Геноле не называли меня «мсье». Похоже, нынешняя молодежь все-таки не настолько испорчена, как я думал.

Они выходили из Ла Уссиньера, сохраняя достоинство, насколько это было возможно. Жоэль Лакруа, с «житаном» в зубах и улыбочкой, смотрел на них из дверей кафе «Черная кошка». Рядом с кафе стояла красная

«хонда». Аристид, Матиа, Гилен и Ксавье прошли мимо, не бросив на нее ни взгляда.

Ксавье с тоской поглядел в сторону кафе, но Матиа схватил его за руку и прошипел в ухо: «Даже не думай, сынок!»

Ксавье ошарашенно поглядел на Матиа. Может, потому, что соперник деда назвал его сынком, а может, из-за выражения лица старика, но, так или иначе, от этих слов он охолонул и начал что-то соображать. Теперь уже никто из них не сомневался, что за грабежом стоит Жоэль Лакруа, но сейчас, конечно, не время было об этом говорить. Они медленно шли домой, в Ле Салан, и по дороге случилось немислимое: впервые за много поколений Геноле и Бастонне достигли единодушного согласия по какому-то делу.

Они решили: это война.

К концу недели уже вся деревня бурлила от слухов и предположений: история стала известна даже детям, она передавалась из уст в уста, с множеством противоречий и прикрас, пока не достигла эпических пропорций. Но в одном все были единодушны: с нас хватит.

— Мы бы забыли прошлое, известно: кто старое помянет... — сказал Матиа за дружеской партией в белот у Анжелло. — Мы с ними торговали и были тем довольны. Но они сами подложили нам свинью.

Оме кивнул.

— Слишком долго все было по-ихнему, — согласился он. — Пора нам дать сдачи.

Началась планомерная кампания против уссинцев. Того требовало новообретенное чувство саланской солидарности. Резко поднялись цены на омаров и крабов; Анжело начал брать дороже с уссинцев, которые забредали к нему в бар; мини-маркет в Ла Уссиньере получил с фермы Просажей партию заплесневелых овощей (Оме свалил все на погоду); а как-то ночью кто-то взломал дверь гаража, где Жоэль Лакруа держал свою драгоценную «хонду», и насыпал песку в бензобак. Все ждали, что явится разгневанный полицейский, но так и не дождались. Чужаку подобные вылазки показались бы мелкими, даже смешными, но саланцы, у которых всего так мало, воспринимали их абсолютно всерьез. Я это понимала и хотя не всегда одобряла их методы, но никогда не говорила об этом вслух.

— Эти уссинцы привыкли, что всегда все было по-ихнему, — объявил Оме. — Они думают, если им какое-то время везло, то теперь всегда так и будет.

Никто не сказал ни слова поперек — свидетельство того, как далеко мы продвинулись вперед за это время.

— Нам надо себя рекламировать, чтобы заманить туристов, — сказала Капуцина. — Направить людей гулять по набережной с рекламными щитами, когда начнется сезон. Тогда у нас дела пойдут на лад. Да и уссинцам покажем!

Полгода назад такая идея, да еще от женщины, вызвала бы только смех и презрение. А теперь Аристид и Матиа явно заинтересовались. Другие последовали их примеру.

— Почему бы и нет, э?

— Хорошая мысль.

Остальные подумали немного. Эту мысль высказывали уже не в первый раз, но сама идея составить конкуренцию уссинцам на равной ноге всегда казалась абсурдной. А сейчас нам впервые показалось, что это возможно.

Матиа высказался за всех.

— Брать лишнего за рыбу — это одно — медленно произнес он. — А то, что ты предлагаешь, будет означать...

Аристид фыркнул.

— Знаешь, Геноле, Ла Уссиньер — не чья-то устричная отмель, — сказал он с оттенком бывшего гнева в голосе. — Туристы принадлежат всем.

— И мы тоже имеем на них право, — добавила Туанетта. — Мы

обязаны, самим себе обязаны хотя бы попробовать.

Матиа покачал головой.

— Я просто не знаю, готовы ли мы.

Старуха пожала плечами.

— Можем подготовиться. Сезон начнется через четыре месяца. Тогда — и до самого сентября — отдыхающие будут приезжать по полдюжины в день, нам только и останется, что залучить их к себе.

— Но нам нужно будет место, где они смогут остановиться, — сказал Матиа. — У нас же нет гостиницы. Ни места для кемпинга.

— Вот ведь трусы вы, Геноле, — отпарировал Аристид. — Сейчас Бастонне покажет вам, что значит думать нешаблонно. У вас ведь есть запасная комната?

Туанетта кивнула.

— Э! У каждого в доме есть одна-две комнаты, что просто так простаивает. И у большинства найдется клочок земли под палатку или трейлер. Добавить пару завтраков и ужинов вместе с семьей — и вы уже не хуже любой материковой гостиницы. Даже лучше. Эти городские заплатят любые деньги за ночевку в традиционном островном доме. Разжечь им камин, развесить по стенам пару медных кастрюль...

— Напечь колдунков в «римской печи»...

— Достать островные костюмы из сундуков...

— Народная музыка! У меня *binjou* лежит где-то на чердаке...

— Рукоделие, вышивка, рыболовные экскурсии...

Стоило только начать — и хлынул поток идей. Я старалась удержаться от смеха, видя, как растет всеобщее возбуждение, но хоть мне и было смешно, что-то отзывалось у меня в душе. Даже скептики Геноле увлеклись, все выкрикивали предложения, барабанили по столам, звенели стаканами. Все единодушно согласилось: отдыхающие купят что угодно, лишь бы это был «продукт народных промыслов» или «ручная работа». Многие годы мы злились оттого, что Ле Салан лишен был современных удобств, смотрели с завистью на Ла Уссиньер с его аркадой игровых автоматов, гостиницей, кинотеатром. Сейчас мы впервые поняли, как можно извлечь из нашей кажущейся слабой стороны хорошую прибыль. Нам нужны были только инициатива и немножко капиталовложений.

Приближалась Пасха, и отец с новым энтузиазмом кинулся в строительство. Он был не одинок: вся деревня зашевелилась. Оме начал перестраивать амбар, которым не пользовался; другие сажали цветы в голых дворах и вешали на окна красивые занавески. Ле Салан был похож

на дурнушку, которая влюбилась и впервые в жизни увидела в себе задатки красоты.

Про Адриенну мы ничего не слышали со времени ее январского визита. Я слегка расслабилась: ее возвращение привело с собой целую флотилию неприятных воспоминаний, а ее предотъездные обвинения меня до сих пор кололи. Жан Большой если и был разочарован, то никак этого не показывал. Он, кажется, полностью погрузился в свою новую затею, и я была этому очень рада, хоть он и держался все так же холодно. Но в этом, конечно, виновата была сестра.

Флинн тоже слегка отдалился за последние недели. Частично потому, что был очень занят: кроме стройки у Жана Большого он работал еще и в деревне; он поставил во дворе у Туанетты душевую для туристов и помог Оме превратить амбар в квартиру для отдыхающих. Он все так же шутил, играл в карты и шахматы с той же убийственной точностью, льстил Капуцине, дразнил Мерседес, повергал детей в благоговейный восторг своими рассказами о загранице и все глубже проникал в сердца саланцев — то лестью, то очарованием, то ловким обманом. Но его не трогали наши долговременные планы и перемены. Он больше не выдвигал никаких идей и никого не вдохновлял. Может, ему уже не нужно было это делать — ведь теперь саланцы научились думать сами.

Меня все беспокоило воспоминание о том, что произошло между нами на Ла Гулю. Однако Флинн, кажется, начисто забыл об этом, и я, заново проиграв тот эпизод тысячи раз в специально отведенном уголке памяти, решила наконец последовать его примеру. Да, я поняла, что он меня привлекает. Это открытие застало меня врасплох, и я сваяла дурака. Но он гораздо ценнее для меня как друг, особенно сейчас. Я бы никогда не призналась в этом, но с тех пор, как Ле Салан переменялся и мой отец начал строительные работы, я чувствовала себя до странности никому не нужной.

Ничего конкретного. Все были дружелюбны и добры. В каждом доме Ле Салана — даже у Аристида — меня принимали радушно. И все же в каком-то более тонком смысле я оставалась чужачкой. В отношении саланцев ко мне была нотка формальности, которая меня странно угнетала. Если я заходила на чай, они доставали лучший сервис. Если я покупала овощи у Оме, он всегда прибавлял что-нибудь бесплатно. От этого мне было не по себе. Это ставило меня на иную доску. Когда я поделилась с Капуциной, она только посмеялась. Я чувствовала, что Флинн единственный меня понял бы.

В результате я проводила с ним еще больше времени, чем раньше. Он

умел слушать и мог простой ухмылкой или вскользь брошенным замечанием расставить мои проблемы по местам. Что еще важнее, он понимал мою другую жизнь, мои парижские годы, и в разговоре с ним — в отличие от многих саланцев — мне никогда не приходилось напрягаться, подыскивая слово попроще или пытаюсь объяснить сложное понятие. Я бы никогда в этом не призналась, но со своими деревенскими друзьями я порой чувствовала себя как учительница в шумном классе. Они меня то очаровывали, то приводили в отчаяние; то вели себя друг с другом совершенно по-детски, то проявляли необыкновенную мудрость. Если бы только у них кругозор был чуть пошире...

— Теперь у нас есть настоящий пляж, — сказала я Флинну как-то на Ла Гулю. — Может, и настоящие отдыхающие появятся.

Флинн лежал на спине, на песке, глядя в небо.

— Кто знает, — настаивала я, — может, Ле Салан станет модным курортом.

Я хотела развеселить его, но он даже не улыбнулся.

— Во всяком случае, мы показали Бриману, где раки зимуют. Он столько времени пользовался своей удачей — пора и Ле Салану что-нибудь получить.

— Вот, значит, по-твоему, что происходит? — отозвался он. — Ле Салан собирается получить свою долю?

Я села.

— Что такое? Ты чего-то недоговариваешь?

Флинн все так же глядел в небо. Глаза его наполнились облаками.

— Ну?

— Вы все так довольны собой. Одна-две мелкие победы — и вы думаете, вам уже все по плечу. Скоро начнете ходить по водам.

— Ну и что? — Мне не нравился его тон. — Что плохого, если люди проявят немного предприимчивости?

— То плохо, Мадо, что все эти предприятия чуть-чуть слишком успешны. Слишком большая отдача, и слишком быстро. Как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем новости просочатся наружу? Прежде чем каждый захочет получить свою долю?

Но мы не желали терять время на подобный пессимизм. До начала туристического сезона оставалось три месяца, и вся деревня работала больше и охотнее, чем даже во время постройки Ле Бушу. Успех придал нам храбрости; кроме того, мы начали получать удовольствие от ощущения новых возможностей, которое давал наш замысел.

Флинн, который мог бы целый год почивать на лаврах, пользуясь заработанным уважением саланцев, — ему даже за выпивку платить не приходилось бы — держался поодаль. Вся честь досталась вместо него святой, и святилище, воздвигнутое Туанеттой, ломилось от приношений. Первого апреля Дамьен и Лоло устроили небольшой скандалчик, украсив алтарь дохлой рыбой, но в целом люди искренне почитали святую Марину, вновь воцарившуюся в своем прежнем обиталище, и отблеск этой славы падал на Туанетту.

В прошлом году ни одному саланцу и в голову не пришло бы вкладывать деньги во что-нибудь, не говоря уже — брать займы. На Колдуне нет банка, а если бы и был — нечего дать в обеспечение кредита. Но теперь все было по-другому. Из обувных коробок и платяных шкафов доставались деньги. Мы начали видеть возможности там, где раньше никаких возможностей не было. Слова «кратковременный заем» первым произнес Оме, и их встретили осторожным одобрением. Ален признался, что давно думал о том же. Кто-то слышал про учреждение на материке или у кого-то были знакомые в министерстве сельского хозяйства, через которых можно было попробовать обратиться за субсидией.

Мы набирали ход, и наши замыслы приобретали все больший размах. Мне заказали изготовить из пластин для обшивки яхты и особенно живописных кусков пла́вника несколько вывесок:

Местная морская соль (50 франков за 5 кг)

Веревочное плетение Бастонне — островная работа

Кафе-ресторан Анжелло (блюдо дня — 30 франков)

Сдаются комнаты отдыхающим, теплая семейная обстановка

Святилище святой Марины Морской, экскурсия с гидом — 10 франков

Я даже себе нарисовала вывеску, помня о своих тающих сбережениях: «Галерея Прато. Местный художник». И тоже погрузилась в работу, готовя холсты на продажу к тому времени, как наконец явятся туристы.

Много недель вся деревня лихорадочно приколачивала, пропалывала, кричала, рыхлила, красила, белила, пила (еще бы, от такой работы жажда нешуточная) и спорила.

— Надо кого-нибудь послать на материк, во Фроментин, дать объявление, — предложил Ксавье. — Раздавать листовки, рассказывать, чтобы о нас узнали.

Аристид согласился.

— Поедем вместе. Я буду стоять на набережной и поглядывать на паром. А ты обойдешь остальной город. Мадо сделает тебе рекламный «бутерброд» и, может, листовки тоже, а? Мы можем несколько дней пожить в дешевой гостинице. Не сложнее, чем пострелять кур в сарае!

Он удовлетворенно захихикал.

Ксавье не пылал таким энтузиазмом. Может, не хотел покидать Мерседес даже на несколько дней. Но стоило Аристиду загореться — и пламя уже ничем было не погасить. Он собрал немного вещей, включая рекламный «бутерброд», и стал распускать слухи, что едет по семейному делу.

— Ни к чему пока уссинцам знать, что мы задумали, — заметил он.

Я нарисовала от руки сотню плакатиков, так как печатать их было не на чем. Ксавье получил распоряжение расклеить их на витринах всех фронтентинских магазинов и кафе.

Посетите Ле Салан

Совсем как сто лет назад

Восхитительная островная кухня

Чистейший золотой пляж

Теплое и дружеское гостеприимство

ЛЕ САЛАН — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

Текст продумывали, прорабатывая каждое слово, Бастонне, Геноле и Просажи, пока результат не удовлетворил всех. Я поправила грамматические ошибки. Мы пустили слух, что Бастонне едут на материк помогать бедствующему родственнику в Порнике, и позаботились, чтобы эта информация дошла до нужного человека. Стоит только шепнуть Жожо Чайке что угодно — и эта новость разнесется по Ла Уссиньеру, не успеешь и глазом моргнуть. Все саланцы были уверены, что уссинцы не успеют и оглянуться, а будет уже поздно.

К концу лета война будет окончена.

Пришла Пасха, и «Бриман-1» начал делать два рейса в неделю. Очень вовремя для Ле Салана, потому что из-за всех перестроек и ремонтов у нас кончились материалы. Аристида и Ксавье во Фроментине встретили с распростертыми объятиями, они раздали все листовки и оставили сведения о нас во всех туристических конторах. Через пару недель они поехали еще раз, на этот раз взяли с собой вдвое больше листовок и доехали до самого Нанта.

Остальные с нетерпением ждали новостей, наводя завершающие штрихи на рукоделия и бдя на предмет уссинских шпионов. Шпионы были совершенно реальные: Жожо Чайку несколько раз видели на Ла Гулю, где он что-то вынюхивал, вокруг деревни иногда слышался треск мотоциклов, а Жоэль Лакруа завел обыкновение прогуливаться по дюнам вечерами, пока кто-то не вlepил в него заряд соли с обоих стволов. Началось вялое следствие, но — как сказал Ален Пьеру Лакруа, глядя на него совершенно честными глазами, — на острове столько народу с винтовками, стреляющими солью, что нет никакой возможности найти виновного, даже если предположить, что это саланец.

— Это с тем же успехом мог быть какой-нибудь приезжий с материка, — согласился Аристид. — Или даже уссинец...

Лакруа сердито поджал губы.

— Смотрите у меня, Бастонне, — остерег он.

— Кто, я? — возмутился Аристид. — Неужели вы могли подумать, что это я напал на вашего сына?

Никого не покарали. Может, Лакруа поговорил с сыном, а может, уссинцы были слишком заняты собственной подготовкой к сезону, но в Ла Уссиньере царило какое-то зловещее затишье, необычное по времени года. Даже банда мотоциклистов на время пропала из виду.

— Вот и хорошо, э! — сказала Туанетта, у которой тоже в углу за передней дверью, рядом с дровами, стояла заряженная солью винтовка— Пусть только кто-нибудь из этих шалопаев попробует тут ошиваться. Получат в задницу порцию доброй морской соли из обоих стволов.

Теперь для полного триумфа Аристиду доставало лишь одного — официального объявления о помолвке его внука с Мерседес Просаж. Были резоны этого ожидать: их вечно видели вместе — Ксавье, онемевшего от любви, и его обожаемую в сногшибательных туалетах, которая с ним

хладнокровно кокетничала. Одного этого было достаточно, чтобы жители деревни начали строить предположения. Однако был и более конкретный факт — Оме относился к этому браку благосклонно. Он, ревностный родитель, этого не скрывал. Он благодушно объявил, что мальчик перспективный. Саланец, хороший парень. Уважает старших. И деньги есть — хватит, чтоб зажить своим хозяйством. Аристид уже выделил Ксавье некоторую сумму на обзаведение — в сплетнях сумма бешено преувеличивалась, но, по слухам, у Аристида были отложены приличные деньги, а Ксавье преуспел в восстановлении под будущее жилье заброшенного дома, от которого когда-то оставались только стены.

— Пора уже ему обзавестись хозяйством, э, — говорил Аристид. — Мы, знаешь ли, не молодеем, и мне хотелось бы при жизни увидеть правнуков. Ксавье один остался из потомков моего бедного Оливье. Я рассчитываю на него в смысле продолжения рода. Без него...

Мерседес хорошенькая, и притом саланка. Оме и семейство Бастонне дружат много лет. А Ксавье в нее влюблен по самую мачту, сказал Аристид, игриво блестя глазами; правнуки будут.

— Я рассчитываю на дюжину, — добродушно говорил он, очерчивая руками в воздухе подобие песочных часов.

Широкие бедра, крепкие бабки; Аристид разбирался в племенном скоте не хуже любого другого островитянина. Жители Колдуна, говаривал он, должны выбирать себе жен как племенных кобыл. А если она при том еще и хорошенькая, тем лучше.

— Дюжину, — повторил он, довольно потирая руки. — А может, и больше.

Тем не менее в нашем радужном настрое был привкус отчаяния. Для поддержки военных действий одних воинственных речей недостаточно, а наши противники в Ла Уссиньере казались чересчур хладнокровными, не заинтересованными в драке, и от этого становилось не по себе. Бримана несколько раз видели на Ла Гулю в компании Жожо Чайки и мэра Пино. Может, Бримана и расстроило состояние пляжа, но виду он не подал. Он сохранял беззаботный вид и приветствовал встречных своей обычной благодушной отеческой улыбкой. Однако до нас доходили слухи. Кажется, в Ла Уссиньере не все ладилось. «Я слышал, "Иммортелям" пришлось отказать кому-то из гостей, забронировавших номера, — сказал Оме. — Из-за сырости в стенах».

К концу недели меня одолело любопытство насчет «Иммортелей». Я

отправилась туда под благовидным предлогом — заказать художественные принадлежности с материка, — но на самом деле я шла, чтобы проверить правдивость слухов, уже принявших катастрофические размеры, насчет ущерба, причиненного отелю.

Слухи, конечно, были преувеличены. Но все равно «Иммортели» заметно пострадали со времени моего последнего визита. Сама гостиница выглядела все так же, если не считать лесов с одного бока, но слой песка истончился еще сильнее, резко обрываясь к каменистому берегу.

Я понимала, как это случилось. Видела цепочку событий, которая привела к этому моменту, наши труды в Ле Салане, сочетание инертности и самонадеянности, не позволившее уссинцам увидеть истину, хотя она и была у них перед глазами. Наше коварство было таким масштабным — и таким дерзким, — что его невозможно было предугадать. Даже Бриман, несмотря на его попытки что-то разведать, не увидел ничего у себя под носом.

Разрушение уже началось — оно будет быстрым и необратимым. Волны, бьющиеся о стену, утащат весь оставшийся песок далеко от берега, в подводные течения, обнажая валуны и булыжники, и в конце концов останется только плавный откос древней дамбы. Несколько лет — и все будет кончено. Может, и двух лет хватит, если ветер поможет.

Я огляделась в поисках Жожо, Бримана или еще какого-нибудь носителя новостей. Улица Иммортелей была почти пуста. Пара туристов покупала мороженое с лотка у скучающей, жующей жвачку девицы под выцветшим зонтиком фирмы «Шоки».

Подойдя поближе к волнолому, я заметила на оскудевшем пляже группу отдыхающих — ранние пташки, судя по всему, — семья, с младенцем и собакой, — они, дрожа, сбились в кучку под хлопающим на ветру зонтиком. Апрель на островах — месяц своенравный, и сегодня дул пронизывающий ветер, отнимая тепло у воздуха. Маленькая девочка — лет восьми, сплошные кудряшки и фиалковые глаза — карабкалась на камни в дальнем конце пляжа. Увидев меня, она помахала рукой и крикнула:

— Вы тут отдыхаете?

Я покачала головой.

— Нет, я тут живу.

— А, тогда вы где-нибудь в другом месте отдыхали? Наверно, вы ездите в отпуск в город, когда мы приезжаем сюда? Вы купаетесь в море по выходным, а на праздник ходите в *piscine*?^[21]

— Летиция! — одернул ее отец, которому пришлось вывернуть шею, чтобы увидеть происходящее. — Не приставай к тете с вопросами.

Летиция оценивающе посмотрела на меня. Я ей подмигнула. Этого было достаточно; она тут же взлетела по тропинке на эспланаду и бесстрашно уселась рядом со мной на стене волнолома, подобрав под себя одну ногу.

— А у вас возле дома есть пляж? Больше, чем этот? И вы можете ходить на пляж, когда захотите? И построить замок из песка на Рождество?

— Да, если захочется, — улыбнулась я.

— Дзенско!

Я узнала, что маму девочки зовут Габи. Отца — Филипп. Пса — Петроль. Его вечно тошнит, если плыть с ним на корабле. Еще у Летиции был старший брат Тим, который учился в университете в Ренне. И еще один брат, Стефан, но он еще маленький. Она скривила рот в неодобрительную гримаску.

— Он никогда ничего не делает. Иногда спит. Такой ску-у-учный. Я буду каждый день ходить на пляж, — воскликнула она, просветлев. — Буду копать, пока не найду глину. Чтобы делать из нее всякие штуки. Мы так делали в прошлом году в Ницце. Это было дзенско. Супердзенско.

— Летиция! — донесся голос откуда-то с пляжа— Летиция, что я сказала?

Летиция картинно вздохнула.

— Пфе. Мама не любит, когда я лазаю так далеко. Я лучше пойду обратно.

Она соскользнула вниз, беспечно игнорируя завалы битого стекла, нанесенные морем к подножию волнолома.

— Пока!

Через несколько секунд она уже была у края воды и кидалась водорослями в чаек.

Я помахала в ответ и принялась дальше разглядывать эспланаду. С тех пор как я тут побывала в последний раз, на улице Иммортелей вновь открылось несколько магазинов, но кандидатов в покупатели, кажется, не было совсем, если не считать Летиции с семьей. На скамье с видом на море сидели в своих старинных суровых одеяниях сестра Тереза и сестра Экстаза. Через дорогу был небрежно припаркован мотоцикл Жоэля Лакруа, но владелец отсутствовал. Я помахала рукой монахиням, подошла и села рядом.

— О, да это опять малютка Мадо, — сказала одна из монахинь — сегодня обе были в белых чепцах, и я обнаружила, что почти не способна отличить одну от другой. — Сегодня не рисуешь?

Я покачала головой.

— Слишком ветрено.

— Дурной ветер для «Иммортелей», э, — сказала сестра Тереза, болтая ногами.

— Но не такой уж дурной для Ле Салана, — добавила сестра Экстаза.
— Мы слышали...

— ...всякое разное. Ты не представляешь...

— ...какие вещи до нас доходят.

— Они думают, мы вроде этих бедненьких старичков, что живут в отеле, выжили из ума и не соображаем, что происходит. Конечно, *soeur*, мы старей холмов, то есть...

— ...если б тут были холмы, но тут нет холмов, только дюны...

— ...хотя песку стало поменьше, *ta soeur*, да-да, намного меньше.

Воцарилось молчание, и две монахини уставились на меня, как птички, из-под полей белых чепцов.

— Я слыхала, Бриману пришлось отказать кое-кому из тех, кто зарезервировал у него номера, — осторожно сказала я. — Это правда?

Сестры синхронно кивнули.

— Не всем. Но некоторым.

— Да, кое-кому. Он был очень-очень сердит. Гостиницу залило, верно, *ta soeur*? Сразу же после...

— ...весенних приливов. Затопило погребка и просочилось на фасад. Архитектор говорит, что в стенах сырость, из-за...

— ...ветра с моря. Зимой будут делать ремонт. А до тех пор...

— ...туристов будут селить только в комнаты на задней стороне, ни вида на море, ни пляжа. Это...

— ...очень-очень печально.

Я неловко согласилась.

— Но все-таки, если святой будет угодно...

— О да. Если святой будет угодно...

Я ушла, а они махали мне вслед, издали еще больше похожие на птичек — чепцы словно две белые чайки, качающиеся на волнах.

Переходя дорогу, я увидела Жоэля Лакруа — он наблюдал за мной, стоя в дверях «Черной кошки». Он курил «житан», по-рыбацки пряча кончик сигареты в горсти. Мы встретились взглядами, он вежливо поздоровался: «Э», — но ничего не сказал. За ним в дверном проеме виднелась окутанная дымом фигура девушки — длинные черные волосы, красное платье, длинные жеребьячи ноги в босоножках на высоком каблуке, — которая показалась мне знакомой. Но у меня на глазах Жоэль отступил от двери, и девушка вместе с ним. Я подумала тогда: он отвернулся, словно ему было

что скрывать, и загородил ее.

Только потом, уже по дороге в Ле Салан, я поняла, почему девушка показалась мне такой знакомой.

Это была — я почти не сомневалась — Мерседес Просаж.

Я, конечно, никому ничего не сказала Мерседес имеет право ходить куда хочет. Но мне было не по себе: Жоэль Лакруа не друг Ле Салану, и мне не хотелось думать о том, сколько Мерседес выбалтывает, сама того не подозревая.

Вернувшись из Ла Уссиньера, я обнаружила отца на кухне, за столом, в обществе Флинна — они смотрели на листы оберточной бумаги с какими-то чертежами. На мгновение мне открылись их лица без масок — лицо отца светилось от возбуждения, а Флинн ушел в себя, как мальчик, следящий за муравейником, — но они тут же подняли головы и увидели, что я на них смотрю.

— Еще одна перестройка, — объяснил Флинн. — Твой отец хочет, чтобы я ему помог. Лодочный сарай.

— Правда?

Жан Большой сделал нетерпеливый жест — должно быть, почувствовал мое неодобрение. Похоже, мое вмешательство было неуместно. Я посмотрела на Флинна, он пожал плечами.

— А я-то что? — спросил он. — Это его дом. Я его не уговаривал.

Это, конечно, верно. Жан Большой имеет право делать со своим домом все, что хочет. Но я не могла понять, откуда он берет деньги. А шлюпочная мастерская, хоть и обветшавшая, связывала меня с прошлым. Мне ужасно не хотелось терять эту связь.

Я поглядела на рисунки. Они были хороши: у отца зоркий глаз на детали, и я абсолютно точно поняла, чего он хочет — летний домик или, может быть, однокомнатную квартиру, с жилым пространством, кухонькой и ванной комнатой. Лодочный сарай большой; если настелить пол, прорезать люк и подставить лестницу, наверху получится очень приятная спальня.

— Это для Адриенны, да? — спросила я, уже зная, что да. Спальня с люком в полу; кухня; просторная общая комната с длинным окном. — Для Адриенны и мальчиков.

Жан Большой только посмотрел на меня ничего не выражающими, словно голубой фарфор, глазами. Я неловко повернулась и опять вышла — мне стало нехорошо. Флинн тут же возник у меня за спиной.

— А кто будет за все это платить? — спросила я, не глядя на него. — У Жана Большого денег нет.

— Может, у него есть какие-то сбережения, о которых ты не знаешь.

— Знаешь, Флинн, раньше у тебя лучше получалось врать.

Молчание. Я чувствовала, что он все еще стоит у меня за спиной и смотрит на меня. С дюны, громко хлопая крыльями, поднялась стая чаек.

— Может, занял у кого-нибудь, — сказал он наконец. — Мадо, он взрослый человек. Ты не можешь управлять его жизнью.

— Я знаю.

— Ты сделала все, что могла. Ты ему помогла...

— И что? — Я гневно обернулась. — Что толку? Ему ничего этого не надо — ему лишь бы поиграть в домик с Адриенной и мальчиками.

— Такова жизнь, Мадо, — сказал Флинн.

Молчание. Я рисовала ногой узоры на жестком песке.

— Флинн, кто одолжил ему денег? Бриман?

Флинну, кажется, стало не по себе.

— Откуда я знаю.

— Бриман?

Он вздохнул.

— Может быть. Какая разница?

Я ушла, не обернувшись.

Я больше не интересовалась перестройкой сарая. Но она все равно началась: Флинн привез из Ла Уссиньера грузовик стройматериалов и провел выходные, сдирая со стен старую краску; Жан Большой все время был с ним, наблюдал и сверялся с чертежами. Я поневоле начала ревновать: он столько времени проводил с Флинном; отец словно почувствовал мое неодобрение и стал меня избегать.

Я узнала, что Адриенна собирается приехать на летние каникулы, вместе с мальчиками. Эта новость вызвала возбуждение в деревне, где несколько семей также ожидали приезда давненько не бывавших дома гостей.

— Я правда думаю, что на этот раз она сдержит слово, — сказала Капуцина. — Моя Кло хорошая девочка. Не профессор, но сердце у нее доброе.

Дезире Бастонне тоже, кажется, надеялась; я видела ее в новом зеленом пальто и в шляпке с цветами, на дороге в Ла Уссиньер. Мне показалось, что, одетая по-весеннему, она выглядит моложе, спину держит прямее, щеки необычно розовы; она улыбнулась мне при встрече. Я так удивилась, что повернула назад и догнала ее, только для того, чтобы увериться, что не обозналась.

— Я иду повидаться со своим сыном Филиппом, — сказала она мне своим обычным тихим голосом. — Он сейчас гостит с семьей в Ла Уссиньере.

На мгновение я подумала про Флинна — может, его где-нибудь ждет мать, такая же как Дезире, и надеется, что он вернется.

— Я так рада, что вы с ним повстречаетесь, — сказала я. — И надеюсь, что он помирится с отцом.

Дезире покачала головой.

— Ты же знаешь, какой мой муж упрямый, — сказала она. — Он делает вид, будто не знает, что я общаюсь с Филиппом; он думает, что Филипп решил вернуться после всех этих лет только ради денег.

Она вздохнула.

— И все-таки, — решительно сказала она, — если Аристид хочет упустить такую возможность, это его личное дело. Я слыхала, что говорила святая той ночью на мысу. Она сказала: «Отныне вы сами творите свою удачу». Именно это я и намерена делать.

Я улыбнулась. Пускай то чудо было фальшивое, но оно совершенно преобразило Дезире. Хотя бы этого Флинн добился своим обманом, и я внезапно потеплела к нему, хоть и злилась, что он делает для отца ту работу. Я подумала, что, хоть Флинн и притворяется циником, на самом деле ему не все равно.

Жаль, что у меня никак не получалось увидеть предполагаемый приезд сестры в более радужном свете. Я чувствовала, как Жану Большому становится лучше с каждым днем по мере продвижения работ. Это ощущалось во всем — он стал энергичней, бодрее, больше не сидел в кухне, уставившись тусклыми глазами на море. И говорить он стал чаще, хотя в основном о возвращении Адриенны, так что меня это не так обрадовало, как могло бы. Словно бы кто-то нажал кнопку и возвратил его к жизни. Я пыталась радоваться за него, но поняла, что не могу.

Вместо этого я с яростным энтузиазмом нырнула в собственную работу. Я рисовала пляж на Ла Гулю, белые домики с красными черепичными крышами, блокгауз на мысе Грино и розовые тамариски, трясущие плетями на ветру, дюны, где качаются «заячьи хвостики», лодки при отливе, полотнища птиц на волнах, длинноволосых рыбаков в застиранных розовых *vareuses*, Туанетту Просаж — как она в белом чепце и черных вдовьих одеждах ищет улиток под поленницей. Я говорила себе, что, когда явятся туристы, на мою работу найдутся покупатели и мои траты — на холст, краски и прочие художественные принадлежности — это на самом деле производительные расходы. Я надеялась, что так; мои сбережения

таяли с угрожающей скоростью, и, хотя мы с Жаном Большим тратили на хозяйство относительно мало, меня беспокоило, во что обойдется строительство. Я навела справки в окрестностях и вышла на маленький художественный салон в Фроментине — владелец согласился взять мои картины на комиссию. Я бы предпочла что-нибудь поближе к дому, но для почина и это было неплохо. Я с нетерпением ждала начала сезона.

Скоро я опять повстречала ту семью туристов. Я пришла на Ла Гулю с альбомом, пытаясь запечатлеть, как выглядит вода при отливе, а они вдруг будто с неба свалились — впереди бежала Летиция с собакой Петролем, а родители, Габи и Филипп, шли чуть позади, с младенцем в коляске. Филипп нес корзину для пикника и пляжную сумку, набитую игрушками.

Летиция бешено замахала мне.

— Привет! Мы нашли пляж! — Она подбежала ко мне, запыхавшись и сияя. — Пляж, и на нем нет никого! Совсем как на необитаемом острове. Это самый дзенский необитаемый остров на свете!

Я, улыбаясь, согласилась, что это так и есть.

Габи дружелюбно помахала мне. Она была коротенькая, пухлая, загорелая, в юбке-парео, повязанной поверх купального костюма.

— Здесь не опасно? — спросила она. — Я имею в виду плавать? Тут ни зеленого флага, ничего.

Я засмеялась.

— О, совершенно безопасно, — ответила я. — Просто в этом конце острова гости не часто бывают.

— Нам на этой стороне гораздо больше нравится, — объявила Летиция. — Здесь плавать лучше всего. А я умею плавать, — добавила она с достоинством, — но только мне надо ногами доставать до дна.

— На «Иммортелях» детям плавать опасно, — объяснила Габи. — Там дно резко понижается, и течение...

— А здесь лучше, — сказала Летиция и начала спускаться по тропе, ведущей с утеса. — Тут скалы и все такое. Петроль, пошли!

Пес побежал за ней, возбужденно гавкая. Ла Гулю звенел от непривычных звуков детского восторга.

— Вода холодновата, — сказала я, глядя на Легацию, которая уже добежала до края воды и ковыряла палкой песок.

— Все будет в порядке, — сказал Филипп. — Я знаю это место.

— Да? — Теперь, когда он был рядом, я поняла, что он выглядит совсем как уроженец Колдуна — у него черные волосы и синие глаза островитянина. — Простите, а мы с вами раньше не встречались? Вы мне

кого-то напоминает.

Филипп покачал головой.

— Не встречались. Но может быть, вы знакомы с моей матерью.

Он перевел взгляд на что-то у меня за спиной и улыбнулся — очень знакомой улыбкой. Я машинально повернулась.

— *Mamie!*^[22] — завопила Летиция от воды и побежала к нам по пляжу. Летела водяная пыль. Петроль залаял.

— Мадо, — сказала, сияя глазами, Дезире Бастонне. — Я вижу, ты уже познакомилась с моим сыном. Он приехал на пасхальные каникулы. Он, Габи и дети остановились в домике для отдыхающих за Кло дю Фар, и с нашей встречи на дороге в Ла Уссиньер Дезире уже несколько раз приходила туда в гости.

— Это просто дзенско, — объявила Летиция, смачно откусывая от шоколадной булочки, извлеченной из корзины для пикника. — Все это время у меня была *mamie*, а я и не знала! У меня и *rari*^[23] есть, только я его еще не видела. Мы его потом увидим.

Дезире посмотрела на меня и чуть заметно качнула головой.

— Упрямый старый дурак, — сказала она с любовью в голосе. — Он до сих пор не забыл той истории. Но мы пока не сдаемся.

На первой неделе июня школа закрылась на лето, начались каникулы. Этот день считается началом сезона, и мы с новым интересом ждали прибытия «Бримана-1». На Лоло можно было положиться — он всегда следил за тем, что происходит в гавани, и они с Дамьеном по очереди несли вахту, с притворным равнодушием наблюдая за эспланадой. Может, кто и заметил их пристальное внимание, но никто ничего не сказал. Ла Уссиньер тихо поджаривался под солнцем, которое уже палило; на когда-то затопленном Кло дю Фар яростно хрустело под ногами — ходить там было больно, а на велосипеде ездить опасно. «Бриман-1» ходил ежедневно и привозил жалкую горстку туристов — Ле Салан маялся и дулся, как невеста, заждавшаяся жениха в церкви. Мы были готовы, и даже более чем готовы: мы наконец поняли, сколько денег и времени вложили в восстановление Ле Салана и сколь многое поставлено на карту. Нервы у всех были на пределе.

— Ты, должно быть, мало листовок раздал! — кричал Матиа Аристиду.
— Я так и знал, надо было мне самому ехать!

Аристид фыркнул.

— Мы раздали все, какие у нас были! Мы даже в Нант поехали...

— Вот именно, любоваться на огни большого города, вместо того чтобы позаботиться о нашем будущем...

— Ты, старый дурак, э! Засунь свои листовки знаешь куда...

Аристид встал в боевую позу, держа посох наготове. Матиа сделал движение, словно хотел схватить стул. Возможно, началась бы потасовка, рекордная по возрасту участников, если бы Флинн не вмешался и не предложил еще раз съездить во Фроментин.

— Может, у вас лучше получится узнать, что там творится, — мягко предложил он. — А может, туристов надо немного подтолкнуть.

Матиа посмотрел на это скептически.

— Еще не хватало, чтоб Бастонне ездили развлекаться во Фроментин за мой счет, — отрезал он. Невинный приморский городок явно представлялся ему гнездом порока и соблазнов.

— Можете поехать вместе, — предложил Флинн. — Будете приглядывать друг за другом.

Союз был кое-как восстановлен. Решили, что Матиа, Ксавье, Гилен и Аристид все вместе поедут во Фроментин на пароме в пятницу утром.

Пятница хороший день для отдыхающих, сказал Аристид, потому что в это время толпа народу едет на выходные. Рекламный «бутерброд» — это, конечно, хорошо, но ничто не сравнится с обыкновенным зазывалой на пристани. Они обещали, что в пятницу вечером все наши беды будут позади.

Значит, нам надо было убить время — почти неделю. Мы ждали с нетерпением — старики коротали время за шахматами и пивом у Анжело, а молодежь рыбачила на Ла Гулю, где улов был всегда больше, чем на мысу.

Мерседес в солнечные дни загорала там же, обтянув свои щедрые округлости купальником леопардовой раскраски. Я несколько раз натыкалась на Дамьена, который следил за ней в бинокль. Я подозревала, что он не один такой.

В пятницу после обеда вся деревня собралась у пристани, чтобы встретить «Бриман-1». Дезире. Оме. Капуцина. Туанетта. Илэр. Лоло и Дамьен. Флинн тоже был тут, с обычным, чуть отстраненным видом, он подмигнул мне, когда мы встретились глазами. Даже Мерседес пришла, видимо, чтобы встретить Ксавье, — она была в коротком оранжевом платье и босоножках на невозможно высоком каблуке. Оме внимательно следил за ней с беспокойством и одобрением одновременно. Мерседес делала вид, что не замечает.

И Клод Бриман тоже наблюдал, сидя над нами на террасе «Иммортелей». Я видела его с пристани — массивного, в белой рубаше и рыбацкой кепке, со стаканом какого-то напитка в руке. Он сидел в расслабленной, выжидательной позе. Он был далеко, так что выражения лица я не могла разобрать. Капуцина увидела, что я на него смотрю, и довольно ухмыльнулась:

— Он вообще обалдеет, когда паром придет.

Я не разделяла ее уверенности. Бриман в курсе большинства событий на острове — может, он не в силах повлиять на происходящее, но я была почти уверена: что бы ни произошло, это не застанет его врасплох. От этой мысли мне стало не по себе, у меня появилось ощущение, что за мной следят, — по правде сказать, чем дольше я смотрела на неподвижность фигуры на террасе, тем больше уверялась, что он и вправду за мной следит — странно, осведомленно, пристально. Мне это совершенно не нравилось.

Ален поглядел на часы.

— Паром опаздывает.

Пока всего лишь на пятнадцать минут. Но нам, пока мы ждали, потея, щурясь в солнечном свете, отражающемся от воды, эти минуты показались часами. Капуцина полезла в карман, достала шоколадный батончик и

поглотила его в три приема, откусывая быстро, нервно, большими кусками. Ален опять взглянул на часы.

— Лучше бы я сам поехал, — заворчал он. — Этим только доверь чего-нибудь.

— Я что-то не слышал, чтоб ты вызвался поехать, — скривился Оме.

— Я вижу! — закричал Лоло от края воды.

Все посмотрели. На молочном горизонте вырисовался белый след.

— Паром!

— Не толкайся, э!

— Вон он! Прямо за *balise*.

Прошло еще полчаса, и мы смогли различить детали. У Лоло был бинокль, в который мы смотрели по очереди. Плавающая пристань качалась у нас под ногами. Маленький паром двигался к «Иммортелям» по широкой дуге, оставляя за собой белый пышный след. Паром приближался, и мы увидели, что на палубе полно людей.

— Отдыхающие!

— Да как много...

— Наши!

Ксавье стоял, рискованно наклонившись через ограждение, едва не падая. Он бешено махал нам, неосторожно перевесившись вперед, и слабый голос донесся издали, через всю гавань.

— У нас получилось, э! Мерседес! Получилось!

Клод Бриман бесстрастно смотрел с террасы «Иммортелей», время от времени поднося стакан к губам. «Бриман-1» наконец-то опустил сходни, и на причал хлынули отдыхающие. Аристид, тяжело опирающийся на внука, но торжествующий, прохромал по сходням, Оме с Аленом подняли его на плечи и присоединились к хору. Капуцина развернула плакат, на котором было написано: «ЛЕ САЛАН — СЮДА». Лоло, который никогда не терялся, если подворачивался случай заработать, вытащил из-за стенки деревянный велосипедный прицеп и принялся выкрикивать:

— Багаж! Доставка багажа в Ле Салан задешево!

На борту парома было человек тридцать, а может, и больше. Студенты, семьи, пожилая пара с собакой. Дети. Я слышала смех, доносившийся с причала, выкрики, в том числе на иностранных языках. Наши герои в промежутках между объятиями и хлопаньем по спине разъяснили загадочный провал нашей первой рекламной кампании: исчезновение наших плакатов, предательство сотрудника информационного бюро для туристов (который оказался тайным агентом уссинцев и, притворяясь, что он за нас, на самом деле выдал Бриману все наши планы и сделал все

возможное, чтобы отговорить туристов от посещения Ле Салана).

С улицы я видела Жожо Чайку, стоявшего с открытым ртом — пальцы выпустили забытую сигарету. Владельцы лавок тоже собрались — посмотреть, из-за чего такой шум. Я видела мэра Пино — он стоял в дверях «Черной кошки» — и Жоэля Лакруа верхом на красном мотоцикле — оба с растущим удивлением смотрели на нашу небольшую толпу.

— Велосипеды напрокат! — закричал Оме Просаж. — Прямо через дорогу, велосипеды напрокат до Ле Салана!

Ксавье, покрасневшись от собственного торжества, пробрался по сходам к Мерседес и принял ее в свои объятия. Может, она его обнимала и не так горячо, но Ксавье сделал вид, что не заметил. И он, и Аристид потрясли обеими руками пачки каких-то бумаг.

— Задатки! — прокричал Аристид с плеч Оме. — Это тебе, Просаж. и тебе, Геноле, и пять палаточников тебе, Туанетта! И...

— Одиннадцать задатков, э! И это еще не все!

— Сработало, — с благоговейным удивлением сказала Капуцина.

— У них получилось! — каркнула Туанетта, обняв и звонко чмокнув Матиа Геноле.

— У нас получилось! — поправил Ален, обняв меня с неожиданной энергией. — У Ле Салана!

— Ле Салан, э!

— Ле Салан!

Не знаю, почему я оглянулась именно в этот момент. Может, из любопытства или хотела немножко поторжествовать. Это была наша победа, минута нашего триумфа. Может, я просто хотела увидеть его лицо.

Только я. Пока мои друзья шли вперед — торжествовали, пели, орали, выкрикивали, скандировали, — я обернулась назад, лишь на секунду, чтобы посмотреть на террасу гостиницы, где сидел Бриман. Какой-то игрой света его лицо высветилось с чрезвычайной ясностью. Он уже стоял, подняв стакан в молчаливом, ироническом тосте.

— За Ле Салан!

Он смотрел прямо на меня.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОСЕДЛАВ ВОЛНЫ

1

Сестра с семьей объявилась три дня спустя. Сарай (ныне именуемый летней квартирой) был почти готов, и Жан Большой, сидя на скамейке во дворе, наблюдал за нанесением последних штрихов. Флинн был внутри — осматривал проводку. Два уссинца, работавшие на стройке, уже ушли.

Шлюпочную мастерскую, ныне отделенную от квартиры изгородью, разделили пополам. Половина стала садиком, и Жан Большой оборудовал ее двумя скамьями, столом и несколькими горшками с цветами. Остальную площадь мастерской до сих пор занимали стройматериалы. Интересно, сколько времени пройдет, пока Жан Большой решит совсем расчистить свою бывшую мастерскую?

Мне бы не беспокоиться так об этом. Но я ничего не могла поделать: мастерская была наша, его и моя, единственное место, куда не допускались мать и Адриенна. Там жили призраки: я сидела скрестив ноги под козлами; Жан Большой обтачивал кусок дерева на токарном станке; Жан Большой мурлыкал себе под нос, подпевая радиоприемнику; мы с Жаном Большим делили на двоих бутерброд, и отец рассказывал мне одну из своих нечестных историй; Жан Большой спрашивал меня, стоя с длинной кистью в руке: «Ну, как мы ее назовем — Одиллия или Одетта?»; Жан Большой смеялся над моей попыткой изобразить парусный шов; Жан Большой, чуть отодвинувшись от лодки, любовался своей работой... Все это принадлежало мне и ему, а больше никому: ни матери, ни Адриенне. Им было не понять. Недаром мать непрестанно пилила его за недоделанные дела, за начатое и незаконченное, за полки, которые он так и не сделал, за водосток, требующий починки. Под конец мать стала считать отца просто ошибкой природы: строителем, который начинал строить, но никогда не заканчивал; ремесленником, который умудрялся делать лишь по одной лодке в год; бездельником, который весь день прятался среди непроходимого хаоса, а потом выбирался оттуда, ожидая, что ему подадут ужин. Адриенна стыдилась его заляпанных краской одежд и ужасных манер и старалась не показываться вместе с ним в Ла Уссиньере. За работой его видела только я. Я одна им гордилась. Мой призрак до сих пор витал в шлюпочной мастерской — доверчивый, точно знающий, что хотя бы здесь мы можем быть теми, кем не осмеливаемся быть в других местах.

В день приезда сестры я с утра была во дворе — рисовала гуашью портрет отца. Безоблачным летним утром, какие бывают, когда мир еще

зелен и влажен, отец благодушествовал, позволяя себя ублажать, — пил кофе и курил на солнышке, натянув на глаза козырек рыбацкой кепки.

Вдруг с дороги, с той стороны дома, донесся шум мотора, и я с упавшим сердцем догадалась, кто это.

Сестра была в белой блузке и струящейся шелковой юбке, отчего я сразу почувствовала себя дурно одетой замарашкой. Сестра чмокнула меня в щеку, а мальчики в одинаковых шортах и футболках остановились поодаль, перешептываясь и делая круглые глаза. Отец не тронулся с места, но глаза у него сияли.

Флинн, все еще в комбинезоне, стоял в дверях сарая. Я надеялась, что он останется — мне почему-то становилось легче оттого, что он работает где-то рядом, — но при виде Адриенны с семьей он неподвижно застыл, словно инстинктивно держась в тени дверного проема. Я чуть двинула рукой, словно надеясь этим жестом удержать его, но он уже вышел во двор, прошел мимо калитки и перемахнул через стену на дорогу. Он едва заметно повел рукой, не оборачиваясь, вскарабкался на дюну и легко побежал вдаль по тропе, ведущей к Ла Гулю.

Марэн проводил взглядом удаляющуюся фигуру.

— Что он тут делает? — спросил он. Я поглядела на него, удивленная резкостью в голосе.

— Он у нас работал. А что, ты его знаешь?

— Видел в Ла Уссиньере. Мой дядя... — Он замолк, плотно сжав губы.

— Нет, не знаю, — сказал он и отвернулся.

Они остались обедать. Я сделала тушеную баранину, и Жан Большой ел с обычным молчаливым воодушевлением, неряшливо загребая ложкой еду и каждый раз закусывая хлебом. Адриенна деликатно ковырялась в тарелке и почти ничего не ела.

— Снова дома, как хорошо, — сказала она, широко улыбаясь отцу. — Мои мальчики прямо дожидаться не могли. Они с самой Пасхи себе места не находили, так радовались...

Я поглядела на мальчиков. Лоик развлекался, кроша кусок хлеба на тарелку. Франк смотрел в окно.

— И ты им такую хорошенькую квартирку отстроил, — продолжала Адриенна — Им тут будет просто замечательно!

Однако Адриенна с Марэном, как мы скоро узнали, собирались жить в «Иммортелях». Мальчики могут остаться в летней квартирке с няней, но у Марэна есть дела к дяде, и сколько они займут времени — неизвестно. Жана Большого эта новость, кажется, не тронула — он продолжал есть

медленно, задумчиво, не сводя глаз с мальчиков. Франк что-то шепнул брату по-арабски, и оба захихикали.

— Я не ожидал тут увидеть этого рыжего англичанина, — сказал Марэн, подливая себе вина— Он ваш приятель?

— А что? Что он такого сделал? — спросила я, уязвленная его кислым тоном.

Марэн пожал плечами и ничего не сказал. Жан Большой словно вообще не услышал.

— Как бы то ни было, а квартиру он сделал отличную, — жизнерадостно сказала Адриенна. — Нам тут будет просто здорово!

Обед заканчивали в молчании.

С прибытием мальчиков Жан Большой оказался в своей стихии. Он сидел во дворе и молча смотрел, как они играют, или учил их делать лодочки из обрезков дерева и парусины, или ходил с ними на дюны играть в прятки в высокой траве. Адриенна и Марэн захаживали иногда, но, как правило, ненадолго; они сказали, что дело Марэна оказалось неожиданно сложным и сколько оно еще займет времени — неизвестно.

Ле Салан тем временем расцветал. Сады приводились в порядок, из песчаной почвы перли мальвы, лаванда и розмарин; ставни и двери выкрашены заново, улицы подметены, цветочные бордюры причесаны граблями, дома красуются яркими охряными черепичными крышами и свежей побелкой стен. Запасные комнаты и наскоро переделанные под жилье сараи заполнялись отдыхающими. Группа туристов, прибывших на кемпинг возле Ла Уссиньера, перебралась в Ле Салан ради дюн и красивых видов. Филипп Бастонне с женой и детишками приехали на лето и почти ежедневно приходили на Ла Гулю. Аристид пока не смягчился, но Дезире встречала их на пляже, и ее часто видели в тени большого зонта, а Летиция радостно плескалась рядом в лужицах среди камней.

Туанетта открыла доступ на участок за своим домом, устроив неофициальный кемпинг вдвое дешевле уссинского, и там уже раскинула палатку молодая семья из Парижа. Условия были спартанские — сортир и душевая у Туанетта на улице, а вода — из краника со шлангом, но продукты поставлялись с фермы Оме, и был еще бар Анжело, и, конечно, пляж, песку на котором было еще маловато, но прибывало с каждым приливом. Камней уже не стало видно, земля была ровная и гладкая. Скалы за линией прибоя защищали и укрывали пляж. Многочисленные ручейки и лужицы — детям было над чем радостно покричать. Я обнаружила, что

Летиция быстро подружилась с саланскими детьми. Поначалу они держались слегка недоверчиво — они редко видели туристов и потому были настороже, — но обаяние Летиции скоро растопило лед. Через неделю я уже все время видела их вместе — они бегали босиком по деревне, тыкали палками в *ètier*, скакали и катались по дюнам, и Петроль в исступлении гонялся за ними. Серьезный круглолицый Лоло особенно привязался к девочке; он очень забавно перенимал ее городскую речь и передразнивал ее акцент.

Мои племянники с ними не играли. Вместо этого, хоть мой отец и пытался удержать их при себе, они проводили бóльшую часть времени в Ла Уссиньере. Там, возле кинотеатра, был зал игровых автоматов, на которых мальчики с удовольствием играли. Адриенна, оправдываясь, сказала, что им быстро становится скучно.

Кроме них, из детей не интересовался пляжем только Дамьен. Самый старший из саланских детей, он был и самым замкнутым; я часто видела его одного — он курил, околачиваясь на вершине утеса. Я спросила, не поссорился ли он с Лоло, но он лишь пожал плечами и помотал головой. Детские ссоры, небрежно объяснил он. Иногда ему просто надо побыть одному.

Я ему почти поверила. Он унаследовал от отца нелюдимость и злопамятность; он не был особенно общителен по натуре, и его, конечно, обижало, что Лоло его так легко бросил, и ради кого — материковой девчонки едва восьми лет от роду. Меня несколько позабавили новые, взрослые замашки Дамьена — он начал развязно сутулиться, подняв воротник, совсем как Жоэль Лакруа и его дружки-уссинцы. А Шарлотта заметила, что у Дамьена, кажется, в последнее время появились деньги — больше, чем должно бы у мальчика его возраста. В деревне ходили слухи, что в банде мотоциклистов появился новенький — ездит на заднем сиденье. Судя по всему, подросток.

Мои подозрения подтвердились, когда я увидела его на той же неделе в Ла Уссиньере, возле «Черной кошки». Я пошла встречать «Бриман-1», прихватив несколько новых холстов для фроментинской галереи, и заметила Дамьена в компании Жоэля и других уссинских юнцов — они курили на эспланаде, под солнцем. Там были и девицы — голенастые, молодые, в мини-юбках. Я опять увидела Мерседес.

Она встретила со мной глазами, когда я проходила мимо, и слегка задрала нос под моим пристальным взглядом. Она курила — дома она никогда этого не делала, — и мне показалось, что она бледновата, несмотря на яркую помаду, и темные глаза с потекшей тушью смотрят измученно.

Когда я поравнялась с ней, она засмеялась — слишком пронзительно — и вызывающе затянулась сигаретой. Дамьен неловко отвернулся. Я не стала с ними заговаривать.

В Ла Уссиньере было тихо. Не мертвая тишина, как злорадно предсказывали некоторые саланцы, но сонная. Бары и кафе открыты, но наполовину пусты; на пляже «Иммортели» от силы дюжина человек. Сестра Экстаза и сестра Тереза сидели на ступеньках гостиницы и помахали мне, когда я шла мимо.

— Ой, Мадо!

— Мадо, что у тебя там?

Я села рядом и показала им рисунки, что были у меня в папке. Сестры одобрительно закивали.

— Попробуй продать что-нибудь мсье Бриману, малютка Мадо.

— Да, нам не помешало бы что-нибудь такое, на что приятно смотреть, верно, *ta soeur*, а то у нас вечно перед глазами...

— ...одни и те же старые мученики.

Сестра Тереза провела пальцами по одной картине. Это был вид мыса Грино, с развалинами храма на фоне темнеющего вечернего неба.

— У тебя глаз художника, — сказала она, улыбаясь. — От отца достался.

— Передавай ему от нас привет, Мадо.

— И поговори с мсье Бриманом. Он сейчас на совещании, но...

— ...для тебя у него ни в чем отказу не бывает.

Я задумалась. Может, это и так, но мне не нравилась сама идея вести с ним дела. Я его избегала с нашей последней встречи; я уже знала, что ему интересно, почему я так долго не уезжаю, и не хотела давать ему возможность меня допросить. Я уже догадывалась, что он знает о происходящем в Ле Салане больше, чем мы думаем, и, хотя ему так и не удалось никого поймать на краже песка с «Иммортелей», он точно знал, что кража продолжается. Пляж на Ла Гулю невозможно было утаить от уссинцев, и я знала, что рано или поздно кто-нибудь проговорится про наш плавучий риф, — это лишь вопрос времени. Я подумала: когда это случится, лучше быть как можно дальше от Бримана.

Я уже собиралась уходить, когда заметила на земле перед собой что-то маленькое. Это была красная коралловая бусина вроде тех, какими мой отец украшал лодки. Многие островитяне все еще носят такие бусы; эту, должно быть, кто-то потерял.

— У тебя острый глаз, — сказала сестра Экстаза, видя, как я поднимаю бусину.

— Оставь ее себе, малютка Мадо, — сказала сестра Тереза. — Носи ее, она принесет удачу.

Я попрощалась с сестрами и встала: «Бриман-1» уже дал предупредительный гудок — десять минут до отхода, — а мне надо было обязательно успеть на пристань, но тут с силой хлопнула дверь, и из вестибюля «Иммортелей» донесся внезапный взрыв голосов. Я не разбираю, что они говорили, но тон был гневный и все повышался, словно кто-то уходил, продолжая сердиться. Голосов было несколько — басовые тона Бримана в контрапункте с остальными. Потом из вестибюля появились мужчина и женщина, чуть не наступив на нас, — на лицах у обоих застыла одинаковая ярость. Сестры отодвинулись, чтобы пропустить их, потом сдвинулись снова, словно занавески, ухмыляясь.

— Что-нибудь случилось? — спросила я у Адриенны.

Но ни она, ни Марэн не удостоили меня ответом.

Приплыло лето. Погода стояла хорошая, как обычно в это время на островах, жаркая и солнечная, но с запада дул морской бриз, удерживая приятную температуру воздуха. У семи саланцев уже жили туристы, в том числе четыре семьи, расположившись в свободных комнатах и перестроенных сарайчиках. У Туанетты в кемпинге все места были заняты. Общим числом тридцать восемь человек — и с каждым рейсом «Бримана-1» их становилось больше.

Шарлотта Просаж взяла в привычку раз в неделю готовить паэлью с крабами и лангустинами из нового садка. Она делала большую кастрюлю и относила к Анжело, который продавал паэлью навывнос в коробочках из фольги. Отдыхающим очень понравилась эта идея, и скоро Шарлотте пришлось позвать на помощь Капуцину. Капуцина предложила меняться — чтобы каждая готовила свое блюдо раз в неделю. Скоро установился распорядок: по воскресеньям — паэлья, по вторникам — «о гратэн по-колдуновски» (запеченная барбулька с белым вином, ломтиками картофеля и козым сыром), а по четвергам — буйабес. Другие жители деревни почти перестали готовить.

В день летнего солнцестояния Аристид наконец объявил о помолвке своего внука с Мерседес Просаж и в честь этого события сделал круг почета на «Сесилии» вокруг Бушу. Шарлотта пела гимн, а Мерседес сидела на носу в белом платье, жалуясь вполголоса на запах водорослей и на брызги, попадавшие на нее каждый раз, как лодку кренило.

«Элеонора-2» превзошла всякие ожидания. Ален и Матиа были в восторге; даже Гилен воспринял новость о помолвке Мерседес на удивление благодушно и выдвинул несколько собственных сложных и малоосуществимых планов — в основном на предмет участия «Элеоноры-2» в регатах по всему побережью и выигрыша огромной кучи призовых денег.

Капуцина открыла собственное небольшое дело — она продавала пакетики скраба из морской соли, ароматизированной лавандой и розмарином, прямо из своего вагончика, и они расходились дюжинами.

— Это же так просто, — говорила она, блестя черными глазами. — Туристы все, что угодно, купят. Дикие травы, перевязанные ленточкой. Даже морскую грязь.

Она захихикала, сама себе не веря.

— Надо только разложить ее в баночки и написать на этикетках: «Талассотерапия. Питательная маска для кожи». Моя мать всю жизнь мазала лицо этой грязью. Это старый островной секрет красоты.

Оме Картошка нашел на материке покупателя на свой излишек овощей — по гораздо более высокой цене, чем он обычно продавал уссинцам. Часть своей осушенной земли он оставил под осенние цветы, хотя в былые годы считал это легкомыслием и пустой тратой времени.

Мерседес постоянно ходила в Ла Уссиньер и пропадала там часами, якобы в салоне красоты.

— Ты столько времени там сидишь, — сказала ей, хихикая, Туанетта, — что уж, наверно, и пердишь духами. Шанелью номер пять.

Мерседес обиженно тряхнула волосами.

— Ты, бабушка, такая грубая.

Аристид все так же упрямо не замечал присутствия собственного сына в Ла Уссиньере и все глубже, с каким-то даже отчаянием, погружался в осуществление своих планов относительно Ксавье и Мерседес.

Дезире это огорчало, но не удивляло.

— Мне все равно, — повторяла она, сидя под зонтиком с Габи и младенцем. — Мы слишком долго жили в тени могилы Оливье. Теперь мне хочется побыть в компании живых.

Она посмотрела на вершину утеса, где часто сидел Аристид, глядя, как возвращаются рыбацкие лодки. Я заметила, что бинокль его был направлен не в море, а на линию прибоя, где Лоло и Летиция строили крепость.

— Он там каждый день сидит, — сказала Дезире. — И почти перестал со мной разговаривать.

Она взяла на руки младенца и поправила ему панамку.

— Пойду, пожалуй, прогуляюсь у воды, — жизнерадостно сказала она. — Мне полезно подышать воздухом.

Отдыхающие все прибывали. Семья англичан с тремя детьми. Пожилая пара с собакой. Элегантная старая дама, вечно в белом и розовом. Несколько семей в палатках, с детьми.

Мы никогда не видели столько детей. Вся деревня наполнилась их визгом, криком, смехом, они были одеты в яркие, кричащие цвета, как их пляжные игрушки, — ядовито-зеленые, бирюзовые, малиновые, они пахли кремом от загара, кокосовым маслом, сахарной ватой и жизнью.

Не все гости были туристами. Я развеселилась, увидев, что наши собственные юнцы — в том числе Дамьен и Лоло — приобрели неожиданный вес в обществе и даже собирали дань с юных уссинцев за

право доступа на пляж.

— Юные бизнесмены, — заметила Капуцина, когда я заговорила об этом. — Немножко деловой сметки никому не повредит. Особенно если это значит — содрать денег с уссинцев.

Она благодушно хихикнула.

— В кои-то веки для разнообразия у нас оказалось что-то такое, что нужно им, э? Вот и пускай они за это платят.

Некоторое время процветал черный рынок. Дамьен Геноле брал мзду сигаретами с фильтром, которые курил, скрывая отвращение, как я подозревала. Но благоразумный Лоло принимал только деньги. Он сознался, что хочет накопить на мопед.

— С мопедом можно по-всякому зарабатывать, — серьезно сказал он мне. — Всякие поручения, доставка, что угодно. Если у тебя есть транспорт, ты никогда не будешь на мели.

Просто удивительно, до какой степени дюжина детей может изменить деревню. Ле Салан внезапно ожил. Старики уже не были в большинстве.

— А мне нравится, — заявила Туанетта, когда я ей об этом сказала. — Я словно сама помолодела.

И не она одна. Я нашла сурового Аристиды на вершине утеса — он учил двух маленьких мальчиков вязать узлы. Алэн, обычно суровый к собственным детям, взял Летицию в своей лодке на рыбную ловлю. Дезире тайно совала конфеты в чумадые нетерпеливые ручки. Конечно, туристы нужны были всем. Но дети утоляли другую, первичную нужду. Мы безжалостно баловали и подкупали их. Сердитые старухи мягчели. Сердитые старики вспоминали свои мальчишеские радости.

Флинн был любимцем детей. Он, конечно, и наших детей всегда привлекал, может, потому, что никогда не старался их привлечь. Но дети отдыхающих бегали за ним, как за гаммельнским крысоловом; они вечно кишели вокруг него, болтали с ним, наблюдали, как он строит скульптуры из плавленника или сортирует найденный на пляже мусор. Они таскались за ним по пятам, но он, кажется, не имел ничего против. Они притаскивали ему трофеи с Ла Гулю и жаловались ему друг на друга. Они беззастенчиво сражались за его внимание. Флинн принимал знаки их обожания так же небрежно и добродушно, как общался со всеми другими людьми.

Однако мне казалось, что со времени прибытия туристов Флинн под маской благодушия стал более замкнут. Правда, для меня он всегда находил время, и мы часами сидели на крыше блокгауза или у края воды и беседовали. Я была ему за это благодарна; теперь, когда Ле Салан начал выздоравливать, я чувствовала себя странно лишней, как мать, когда ее

дети вырастают и отдаляются. Конечно, это чепуха — кто, как не я, всем сердцем приветствовал перемену в Ле Салане, — но порой я едва ли не мечтала, чтобы наше спокойствие было чем-нибудь нарушено.

Когда я сказала об этом Флинну, он засмеялся.

— Ты просто не создана для жизни на острове, — бодро сказал он. — Ты можешь существовать только в условиях постоянного кризиса.

Тогда это легкомысленное замечание меня рассмешило.

— Неправда! Мне нравится спокойная жизнь!

Он ухмыльнулся.

— Вокруг тебя не может быть спокойной жизни.

Позже я поразмыслила над его словами. А вдруг он прав? Вдруг мне на самом деле нужна опасность, кризисная ситуация? Может, это и привлекло меня на Колдун? И к самому Флинну?

В ту ночь, при отливе, я не могла уснуть и решила пройтись на Ла Гулю, чтобы в голове прояснилось. Светил щедрый ломоть луны; я слышала приглушенное «хшш» прибоя о темную *grève* и чувствовала легкий меняющийся ветерок. Оглянувшись назад с края Ла Гулю, я увидела блокгауз, темную глыбу на фоне звездного неба, и на мгновение мне показалось, что от нее отделился силуэт и скользнул к дюнам. По манере двигаться я узнала Флинна.

Может, на рыбалку пошел, сказала я себе, хотя фонаря при нем не было. Я знала, что он до сих пор иногда ворует устрицы с отмелей Геноле, чтобы не растерять навыков. Такую работу и правда лучше делать в темноте.

Флинна я так и не нашла, если не считать виденного мельком силуэта, и, озябнув, повернула обратно к дому. Вдалеке, в деревне, все еще слышалось пение и крики, и желтый свет падал из кафе Анжело на дорогу. Подо мной на тропе стояли двое, почти невидимые в тени дюны. Одна фигура была широкая, сутуловатая, руки небрежно засунуты в карманы *vareuse*, другая — более изящная, и когда лучик света из кафе случайно упал на ее волосы, они запылали огнем.

Я увидела их лишь на миг. Приглушенное бормотание, поднятая рука, объятие. Потом они исчезли. Бриман — в деревню, бесконечная тень его распростерлась по дюне, а Флинн — обратно по тропе, длинными плавными шагами, прямо ко мне. Я не успела спрятаться; он наскочил на меня внезапно, лицо его освещал холодный свет луны. Мое, к счастью, было в тени.

— Поздно гуляешь, — весело сказал он.

Он, похоже, не понял, что я видела его с Бриманом.

— Как и ты, — ответила я.

У меня в голове была каша; я не верила собственным глазам — может, мне показалось. Мне надо было обдумать значение увиденного.

Он ухмыльнулся.

— Белот, — сказал он. — Мне повезло в кои-то веки. Выиграл у Оме дюжину бутылок вина. Когда он протрезвеет, Шарлотта его убьет.

Он взъерошил мне волосы.

— Спокойной ночи, Мадо.

И с этими словами удалился, насвистывая сквозь зубы, обратно по той же тропе, которой я пришла.

Я почему-то не смогла спросить его, зачем он встречался с Бриманом. Я говорила себе, что встреча могла быть совершенно случайной; уссинцам ведь не запрещено заходить в Ле Салан, и Оме, Матиа, Аристид и Ален — все подтвердили, что в тот вечер он действительно играл в белот у Анжело. Он не соврал. Кроме того, как любит напоминать Капуцина, Флинн — не саланец. Он ни на чьей стороне. Может, Бриман просто просил его сделать какую-нибудь работу. Но все же осадок оставался: как песчинка в раковине моллюска, легкий дискомфорт.

Я все время мысленно возвращалась в вестибюль «Иммортелей», к шумной встрече Бримана с Марэном и Адриенной и к коралловой бусинке, что я подобрала на ступенях гостиницы. Многие островитяне до сих пор носят такие, и мой отец часто держал при себе такую бусину, и многие рыбаки тоже.

Интересно, а Флинн еще носит свои бусы?

3

К концу июля я начала беспокоиться за отца. Сестра с семьей проводила большую часть времени в Ла Уссиньере, и Жан Большой стал еще рассеянее обычного и еще менее общителен. Я к этому привыкла, но в его молчании появилось что-то новое. Какая-то неопределенность. Отделка квартиры была закончена. Строительный мусор давно убран. Жану Большому уже не нужно было выходить из дому и следить за ходом работ, и, к моему расстройству, он вернулся к своей обычной апатии, даже хуже прежнего — сидел на кухне с чашкой кофе, уставившись в окно, и ждал прихода мальчиков.

Мальчики. Единственное, что выводило его из состояния летаргического равнодушия. Он оживал только в их присутствии, и это наполняло меня гневом и жалостью. *Père Gros Bide*, звали они его. Дедушка Брюхо. Они за глаза передразнивали его, пародируя его шаркающую походку, с обезьяньим упоением отклячивая ноги и круглые животики. В глаза же они были с ним благодетельны, хихикали, опустив очи долу, руки постоянно протянуты в ожидании подарков — денег или сластей. Были и более дорогие подарки. Новые тренировочные костюмы — красный для Франка и синий для Лоика; дети надели их один раз, а потом костюмы, небрежно скомканные, были брошены в зарослях чертополоха в саду за домом. Многочисленные игрушки — мячики, ведерки, лопатки; электронные игры, которые он, должно быть, выписывал с материка, потому что никто из детей-саланцев не мог их себе позволить. В августе был день рождения Лоика, и пошли разговоры насчет лодки.

Частично для того, чтобы как-то отвлечься от беспокойства, я писала быстрее и увлеченнее, чем раньше. Сюжеты моих картин были мне близки как никогда; я изображала Ле Салан и саланцев: прекрасную Мерседес в коротких юбках; Шарлотту Просаж, торопливо собирающую с веревки белье на фоне громады черно-синих грозовых туч; голых до пояса молодых людей, работающих на соляных отмелях, и конические кучки соли вокруг — словно инопланетный пейзаж; Алена Геноле на корме «Элеоноры-2», похожего на кельтского племенного вождя; Флинна у края воды, с сумкой для сокровищ, или в его маленькой однопарусной лодочке, или как он вытаскивает из воды садки с омарами, волосы стянуты обрывком парусины, одна рука прикрывает глаза от солнца...

У меня был глаз на детали. Моя мать всегда это говорила. Я рисовала

большей частью по памяти — все были слишком заняты, чтобы мне позировать, — и прислоняла холсты кучей к стене в своей комнате, чтобы высохли, прежде чем вставлять их в рамки. Адриенна, явившись из Ла Уссиньера, наблюдала за мной с растущим интересом — мне показалось, что в нем была нотка неприязни.

— Ты стала намного больше цвета использовать, — заметила она. — Некоторые картины просто режут глаз.

Это правда. Мои ранние рисунки по сравнению с этими были суровы, гамма чаще всего ограничивалась приглушенным коричневым и серым — цветами островной зимы. Но лето пришло в мою палитру, как и в деревню, — пыльная розовость тамарисков, яркая желтизна дрока, утесника и мимозы, раскаленная белизна песка и соли, оранжевый цвет рыболовных поплавков, ярко-синее небо и красные паруса островных лодок. Новые работы тоже были в каком-то смысле суровы, но я любила эту суровость. Я чувствовала, что никогда еще не рисовала так хорошо.

Флинн тоже так сказал, выразив свое восхищение коротким кивком — мне стало жарко от гордости.

— Ты делаешь успехи, — сказал он. — Скоро сможешь открыть свою галерею.

Он сидел ко мне в профиль, прислонившись спиной к стене блокгауза, лицо полускрыто широкими обвислыми полями шляпы. Над головой у него мелькнула по теплomu камню ящерка. Я пыталась поймать выражение его лица — изгиб рта, косую тень от скулы. За нами, на синей по-летнему дюне, трещали кузнечики. Флинн заметил, что я его рисую, и выпрямился.

— Зачем ты шевелишься? — обиженно спросила я.

— Я суверен. Мы, ирландцы, верим, что карандашом можно украсть кусок души.

Я улыбнулась.

— Думаешь, я настолько талантлива? Это очень лестно.

— Достаточно талантлива, чтобы открыть собственную галерею. В Нанте, а может, в Париже. Здесь твой талант зря пропадает.

— Не думаю.

Флинн пожал плечами.

— Все меняется. Что угодно может случиться. А ты не можешь прятаться тут вечно.

— Не знаю, что ты имеешь в виду.

На мне было красное платье, подаренное Бриманом; шелк, почти невесомый на коже. Очень странное ощущение после многих месяцев в штанах и парусиновых рубашках, словно я опять оказалась в Париже. Босые

ноги покрылись пылью дюн.

— Еще как знаешь. Ты талантливая, умная, красивая... — он прервался и на мгновение, кажется, так же растерялся, как и я. — В самом деле так, — продолжил он наконец, словно оправдываясь.

Далеко внизу Ла Гулю жил своей жизнью; дюжины лодочек испещрили воду. Я узнавала их по парусам: «Сесилия»; «Папа Шико»; «Элеонора-2»; «Мари-Жозеф» Жожо. За ними — широкая синяя гладь залива.

— Ты перестал носить свою бусинку на счастье, — вдруг заметила я.

Флинн машинально коснулся шеи.

— Да, — равнодушно сказал он. — Я сам — кузнец своего счастья.

Он оглянулся на залив.

— Отсюда кажется, все такое маленькое, правда?

Я не ответила. Внутри меня что-то начало сжиматься, словно кулак, и я не могла дышать. Я сунула руку в карман. Бусина, которую я подобрала у «Иммортелей», была все еще там — не крупнее вишневой косточки. Флинн поставил ладонь перед лицом и сжал пальцы, захватывая Ла Гулю.

— Эти деревушки, — мягко сказал он. — Три десятка домов и пляж. Ты думаешь, что можешь выстоять против них. Ведешь себя осторожно. Умно. Но это немножко похоже на то, как пальцы застревают в китайской трубке, — ты хочешь выдернуть руку, а ее только зажимает сильнее. Не успеешь оглянуться, а ты уже влип. Сначала по мелочам. Ты думаешь, это не важно. А потом, в один прекрасный день, ты понимаешь, что, кроме мелочей-то, ничего и нету.

— Я не понимаю, — отозвалась я, придвигаясь ближе.

Запах дюны усилился — песчаные гвоздички, фенхель, абрикосовый запах дрока, разогретого солнцем. Выражение лица Флинна все еще наполовину скрывали поля его дурацкой шляпы; я хотела ее сдвинуть, чтобы увидеть его глаза, коснуться россыпи веснушек у него на переносице... Пальцы снова сжали бусинку в кармане платья, потом опять расслабились. Флинн считает меня красивой. Сама мысль об этом ошеломляла, словно залп фейерверков.

Флинн покачал головой.

— Я слишком долго тут пробыл, — мягко сказал он. — Мадо, неужели ты думала, что я останусь тут навсегда?

Может, я и вправду так думала; несмотря на всю его неумность, мне никогда не приходило в голову, что он может уехать. Кроме того, сейчас разгар сезона; в Ле Салане еще никогда не было такого оживления.

— И это ты называешь оживлением? — спросил Флинн. — Эти курортные местечки, я их и раньше видел — и жил в них. Зимой все

мертво, летом — горстка людей.

Он вздохнул.

— Мелкие деревушки. Мелкие людишки. Тоска.

Теперь все его лицо было закрыто, я видела только рот. Меня завораживала его форма, текстура; полнота верхней губы; крохотные морщинки в углах, от улыбки. Изумление все мерцало, словно отпечаток солнца на сетчатке глаза: Флинн считает меня красивой. Слова, которые он произносил, в сравнении с этим казались незначительными, блестящими кусочками пустоты, призванными отвлечь меня от главной правды. Я осторожно, решительно протянула руки и взяла в ладони его лицо.

Мгновение он колебался. Но кожа у него была теплая, как песок у меня под ногами; глаза — цвета слюды; и я ощутила себя иной, словно вместе с подарком Бриман каким-то образом передал мне часть своего обаяния, ненадолго сделав меня совсем другим человеком.

Я заглушила протест Флинна, закрыв ему рот собственными губами. У него был вкус персиков, шерсти, металла и вина. Все мои чувства внезапно словно обострились — запах моря и дюн; крики чаек, шум волн, дальние голоса на пляже и тихие хлопки растущей травы; и свет. Это ошеломило меня. Я кружилась слишком быстро, и моя сердцевина не выдерживала. Я чувствовала, что могу в любой момент взорваться, как ракета, и мое имя звездами рассыплется по ослепительному небу.

Со стороны это должно было выглядеть очень неуклюже. Может, так оно и было, но мне показалось, что все происходит без малейших усилий. Платье само соскользнуло с меня. За ним последовала рубашка Флинна; тело под рубашкой было бледное, едва темнее самого песка, и он отвечал на мои поцелуи, как глотают воду после долгих скитаний в пустыне: жадно, не прерываясь для вдоха, пока сознание не начнет мутиться. Мы не произнесли ни слова, пока не утолили жажду, и, выпав из забытья, обнаружили, что лежим одетые, в песке и поту, сухие дюнные травы качаются у нас над головой, за нами — раскаленная белая стена блокауза, а за ней мерцает море, словно мираж.

Все так же сплетаясь в объятьях, мы смотрели на это в долгом, насыщенном молчании. Происшедшее все меняло. Я знала это и все же хотела насколько можно продлить мгновенье, когда моя голова лежит на животе у Флинна, а рука словно сама обнимает его за плечи. У меня была к нему тысяча вопросов, но задать их означало признать, что все переменялось, оказаться лицом к лицу с фактом, что мы с ним больше не друзья, но что-то бесконечно более опасное. Я чувствовала: он ждет, чтобы я разрушила напряженную тишину, и тогда, может быть, заговорит и сам;

над нами крутился и протестующе кричал вихрь чаек.
Мы оба молчали.

4

Приливы середины месяца принесли несколько жарких грозовых дней, но гроза проявилась только стеной молний и несколькими ночными ливнями, так что на наш туристический бизнес это не повлияло. Мы отпраздновали свой успех фейерверками, которые устроил Флинн, а заплатил за них Аристид с помощью Пино, мэра. Это, конечно, было не экстравагантное зрелище, какие можно увидеть на материке, но это был первый фейерверк в истории Ле Салана, так что все вышли полюбоваться. Над Бушу крутились три огромных огненных колеса — туда можно было добраться лишь на лодке, и это было задумано ради отражений в воде. На дюнах горели бенгальские огни. Ракеты расцветили небо гирляндами огромных, жирных огненных цветов. Все действие продолжалось лишь несколько минут, но дети были в восторге. Лоло никогда в жизни не видел фейерверков, и, хоть Летиция и прочие дети отдыхающих не так впечатлялись, все сошлись на том, что это был самый лучший фейерверк за всю историю острова. Капуцина и Шарлотта напекли снеди для бесплатной раздачи на празднике — маленькие колдунки, плетенки, сладости, жаренные в масле и залитые медом, блинчики, истекающие соленым маслом.

Отец не пошел на праздник Адриенна пришла, и мальчики с ней, хотя развлечения, которые других детей приводили в восторг, на них, кажется, лишь тоску наводили. Позже я видела их у одного из костров. С ними был Дамьен — недовольный и злой; я знала от Лоло, что они поссорились.

— Это из-за Мерседес, — мрачно признался Лоло. — Он на все готов, чтоб только произвести на нее впечатление. Больше его ничего не волнует.

Дамьен несомненно изменился. Его природная угрюмость, кажется, взяла верх, и он теперь избегал старых друзей. Алену с ним тоже было нелегко. Ален признавался в этом с беспокойством и в то же время с невольной гордостью.

— Ты знаешь, мы все такие, — сказал он мне. — Геноле. Каменные лбы.

Но я видела, что он все-таки беспокоится.

— Я ничего не могу поделать с этим мальчишкой, — сказал он. — Он со мной не разговаривает. Они с братом раньше были дружны, как два краба, но теперь даже Гилен не может из него выжать ни слова, ни улыбки. Правда, я в его годы тоже был такой. Он это перерастет.

Ален думал, что, может, новый мопед отвлечет Дамьена от мрачных мыслей.

— Может, он и с уссинцами перестанет таскаться, — добавил он. — Это вернет его в деревню. У него появится новое занятие.

Я тоже надеялась на это. Дамьен мне всегда нравился, несмотря на свою замкнутость. Отчасти он напоминал мне меня саму в таком возрасте — подозрительный, злопамятный, скрытный. А первая любовь в пятнадцать лет — как летняя молния: добела раскаленная, яростная, и так же быстро гаснет.

Мерседес тоже подавала повод к беспокойству. С тех пор как объявили о ее помолвке, она стала еще вспыльчивей; часами сидела в своей комнате; отказывалась от еды; то ублажала, то изводила своего несчастного суженого, так что Ксавье уж и не знал, как к ней подъехать.

Аристид говорил, что это от нервов. Но тут крылось нечто большее; мне казалось, что у девочки вид не просто беспокойный, а больной, она слишком много курила и могла вспыхнуть или расплакаться из-за любой мелочи. Туанетта рассказала, что Мерседес и Шарлотта поссорились из-за свадебного платья и теперь друг с другом не разговаривали.

— Платье Дезире Бастонне, — объяснила Туанетта. — Старинное кружево, с выточками в талии, очень красивое. Ксавье хотел, чтобы Мерседес в нем венчалась.

Дезире любовно хранила платье, пересыпав его лавандой, со дня собственной свадьбы. Мать Ксавье тоже надевала его на свою свадьбу с Оливье. Но Мерседес наотрез отказалась от платья, а когда Шарлотта продолжала робко настаивать, Мерседес закатила впечатляющий скандал.

Пошли злые слухи: Мерседес отказывается от платья только потому, что слишком толстая; понятно, эти слухи отнюдь не способствовали воцарению мира в семье Просажей.

У нас с Флинном за это время выработалось что-то вроде распорядка. Мы не говорили о перемене в наших отношениях, словно признать ее означало бы запутать нас сильнее, чем хотелось бы нам обоим. В результате наша близость выглядела обманчиво небрежной, словно курортный роман. Мы существовали в паутине невидимых линий, которые ни один из нас не осмеливался пересечь. Мы беседовали, занимались любовью, плавали вместе на Ла Гулю, ходили рыбачить, жарили улов на маленькой жаровне, которую Флинн построил в ложбинке за дюной. Мы не нарушали границ, которые сами же и установили. Иногда я задумывалась — чья трусость установила эти границы, моя или его. Но Флинн больше не заговаривал об отъезде.

Слухи про Бримана прекратились. Его несколько раз видели с мэром Пино и Жожо Чайкой — один раз на Ла Гулю и другой раз в деревне. Капуцина сказала, что они околачивались возле ее вагончика, а Ален видел их у блокгауза. Но, насколько было известно, Бримана сейчас больше всего занимала защита «Иммортелей» от сырости, и ему было не до новых начинаний. Про новый паром было совершенно ничего не слышно, и люди были в большинстве своем уверены, что «Бриман-2» — чья-то неудачная шутка (возможно, Гилена).

— Бриман знает, что проиграл, — радостно говорил Аристид. — Пора уже уссинцам для разнообразия и проиграть. Их удача переменялась, и они это прекрасно знают.

Туанетта кивнула.

— Святая на нашей стороне.

Ее оптимизм был преждевременным. Всего несколько дней спустя я вернулась из деревни с несколькими макрелями, Жану Большому на обед, и обнаружила Бримана — он сидел под солнечным зонтиком во дворе и ждал меня. Он по-прежнему был в рыбацкой кепке, но для торжественности решил приодеться в полотняный пиджак с галстуком. Обут он был, как обычно, в эспадрильи на босу ногу. Меж пальцев он держал «житан».

Напротив него сидел отец с бутылкой мюскаде под рукой. Три стакана стояли наготове.

— О, Мадо. — Бриман с трудом приподнялся с кресла. — Я надеялся, что ты скоро придешь.

— Что вы здесь делаете? — От удивления вопрос прозвучал резко, и Бримана явно обидел.

— Пришел тебя повидать, конечно. — За горестным выражением лица пряталось что-то похожее на веселье. — Я люблю быть в курсе дел.

— Я знаю.

Он налил себе еще вина, и мне тоже.

— У Ле Салана, кажется, началась полоса удач? Вы, наверно, собой очень довольны.

Я ответила, стараясь, чтобы голос прозвучал нейтрально:

— Ничего, справляемся.

Бриман ухмыльнулся, оцетинив бандитские усы.

— Мне очень пригодился бы в гостинице человек вроде тебя. Молодой, энергичный. Подумай об этом.

— Вроде меня? А что я могу делать?

— Тебя это удивит, но художник... дизайнер... мне сейчас очень пригодился бы. — Он говорил ободряющим тоном. — Мы можем договориться. Я думаю, ты внакладе не останешься.

— Мне и так хорошо.

— Может быть. Но обстоятельства меняются, скажешь, нет? Немножко независимости тебе не повредит. Гарантия на будущее. — Он широко ухмыльнулся и подтолкнул стакан в мою сторону. — Вот, выпей вина.

— Нет, спасибо. — Я показала рыбу в пакете. — Мне нужно поставить это в печку. Времени уже много.

— Макрель, э? — сказал Бриман, вставая. — Я знаю отличный рецепт, как ее готовить, с розмарином и солью. Я тебе помогу, и мы заодно поговорим.

Он пошел за мной на кухню. Он был ловчей, чем можно было подумать, глядя на его тушу, — вспарывал рыбе брюхо и вычищал внутренности одним движением.

— Как дела идут? — спросила я, зажигая огонь в духовке.

— Неплохо, — улыбаясь, ответил Бриман. — По правде сказать, мы с твоим отцом как раз праздновали.

— Что праздновали?

Бриман разъехался в широчайшей улыбке:

— Сделку.

Конечно, они использовали мальчиков. Я знала, отец готов на все, чтобы удержать их поблизости. Марэн и Адриенна сыграли на его любви к внукам; говорили о капиталовложении; поощряли Жана Большого занимать такие суммы, которые он никогда не смог бы вернуть. Интересно, какую часть своей земли он уже официально отдал.

Бриман терпеливо ждал, чтобы я заговорила. Я чувствовала, что его переполняет непомерное леденящее веселье, взгляд серых глаз были по-кошачьи пристален. Вскоре, не дождавшись моего ответа, он начал готовить маринад для рыбы: масло, бальзамический уксус, соль, побеги розмарина с кустиков, растущих у парадной двери.

— Мадлен, нам с тобой надо дружить. — Я знала, что вид у него сейчас скорбный — углы губ опущены, усы обвисли, — но в голосе слышался смех. — Мы с тобой похожи. Оба бойцы. Оба деловые люди. Ты просто обиделась на меня и потому не хочешь перейти на мою сторону. Я уверен, что у тебя все получится. И я честно хочу тебе помочь. Всегда хотел.

Я, не глядя на него, посолила рыбу, завернула каждую рыбину в фольгу и сунула в горячую духовку.

— Ты забыла маринад.

— Я не так готовлю рыбу, мсье Бриман.

Он вздохнул.

— Жаль. Тебе бы понравилось.

— За сколько? — спросила я наконец. — За сколько он отдал вам землю?

Бриман укоризненно цокнул языком.

— «Отдал»? Мне никто ничего не отдавал, — сказал он с упреком. — С какой стати?

Контракт составляли на материке. Отца повергло в благоговейный страх сложное действие с печатями и подписями. От юридического жаргона он терялся. Хотя Бриман не вдавался в детали, я решила, что он взял землю как залог в обеспечение займа. Как обычно. Он в очередной раз применил тот же прием: кратковременные займы, за которые людям в итоге приходится расплачиваться недвижимостью.

В конце концов, как сказала Адриенна, зачем отцу земля? Несколько километров дюны между Ла Бушем и Ла Гулю, допотопная шляпочная мастерская; по крайней мере сейчас все это было ему ни к чему.

Все мои худшие подозрения подтвердились. Ремонт дома, подарки для мальчиков, новые велосипеды, электронные игры, доски для серфинга...

— За все платили вы. Вы одолжили ему деньги.

Бриман пожал плечами:

— Конечно. Кто же еще?

Он заправил зеленый салат уксусом и солеросом — мясистой островной травкой, которая часто идет в маринады, — и выложил в деревянную миску, пока я начала резать помидоры.

— Надо бы еще лука-шалота положить, — заметил он так же ласково. — Он замечательно идет к спелым помидорам. Скажи мне, где у тебя шалот?

Я не ответила.

— А, вот он, в ящике для овощей. Да какие славные, крупные луковки. Я гляжу, у Оме на ферме дела хорошо идут. Да и вообще у Ле Салана выдался просто золотой год, а? Рыба, овощи, туристы...

— Да, неплохой.

— Какая скромность. Э. Да это же почти чудо.

Он быстро, умело резал лук-шалот. Пахло остро, словно морем.

— А все благодаря тому замечательному пляжу, что вы украли. Вы и ваш приятель, этот умник, Рыжий.

Я осторожно положила нож на стол. У меня слегка тряслись руки.

— Осторожно. А то порежешься.

— Не знаю, что вы имеете в виду.

— Я имел в виду — будь осторожней с этим ножом, Мадо. — Он хихикнул. — Или ты хочешь сказать, что ничего не знаешь насчет пляжа?

— Пляжи перемещаются. Песок движется.

— Да, движется, и даже иногда сам. Только на этот раз ему помогли, э? — Он широким жестом развел руки, все еще запачканные рыбьей кровью. — Только не думай, что я на вас в обиде. Я тобой восхищаюсь. Ты заново вытащила Ле Салан из моря. Ты привела его к успеху. А я только защищаю свои собственные интересы, Мадо. Чтобы и мне досталась доля. Можете называть это компенсацией, если хотите. Вы должны меня понять.

— Это вы первый устроили затопление, — сердито сказала я. — Мы вам ничего не должны.

— Ошибаешься, — покачал головой Бриман. — Как ты думаешь, откуда взялись деньги, а? Деньги на кафе Анжело, на ветряк Оме, на дом Ксавье? Кто обеспечил капитал? Кто заложил основание всему этому?

Он махнул рукой в сторону окна, загребая грязной ладонью Ла Гулю, деревню, небо, сверкающее море.

— Может, и вы, — сказала я. — Но это уже позади. Мы теперь сами держимся на плаву. Ле Салану больше не нужны ваши деньги.

— Ш-ш-ш.

Бриман с преувеличенной осторожностью вылил маринад на помидоры. Он был ароматен и соблазнителен. Я словно чужая, как он пахнет на горячей рыбе, как испаряется настоявшийся на розмарине уксус, как шкворчит масло.

— Ты удивишься, как все меняется, едва появляется случай сделать деньги, — сказал он. — Зачем довольствоваться парочкой туристов в гостевой комнате, если, вложив небольшую сумму, можно превратить гараж в квартиру для отдыхающих или построить ряд бунгало на каком-нибудь пустыре? Мадо, ты ведь уже вкусила успеха. Неужели ты думаешь, что люди так легко насыщаются?

Какое-то время я молча думала.

— Может, вы и правы, — сказала я наконец. — Но я все равно не понимаю, что вы с этого будете иметь. На том клочке, что вы купили у отца, много не построишь.

— Мадлен. — Бриман выразительно опустил плечи, изображая упрек каждым изгибом тела. — Неужели во всем должны быть скрытые мотивы? Почему ты не веришь, что я просто хочу вложить деньги в Ле Салан?

Он умоляюще развел руками.

— Между нашими деревьями такое недоверие. Такое противостояние.

Даже тебя в это втянули. Что я тебе сделал, почему ты мне не доверяешь? Я дал денег твоему отцу авансом, под землю, которая ему не нужна, — и тебе это подозрительно. Я предлагаю тебе работу в «Иммортелях» — опять подозрительно. Я хочу исправить отношения между двумя деревнями для блага моей семьи — еще более подозрительно. Э! — Он театрально воздел руки. — Ну скажи мне. В чем ты теперь меня подозреваешь?

Я не ответила. Его обаяние, развернутое в полный рост, было осязаемо, огромно. Но все равно я знала, что правильнее будет ему не доверять. У него были какие-то планы — я вспомнила про «Бриман-2», полгода назад уже наполовину построенный, а теперь готовый к спуску на воду, и вновь начала гадать, что же он задумал. Бриман тяжело вздохнул и потянул за концы воротника, чтобы ослабить его.

— Мадо, я старый человек. И одинокий. У меня была жена. Маленький сын. Я принес обоих в жертву своему честолюбию. Честно скажу, когда-то деньги для меня были важнее всего остального. Но деньги стареют. Приедаются. Теперь мне нужно то, что за деньги не купишь. Семья. Друзья. Покой.

— Покой!

— Мадлен, мне шестьдесят четыре года. Я плохо сплю. Я слишком много пью. Машинка начинает давать сбои. Я спрашиваю себя, не зря ли я жил, обрел ли я счастье, гоняясь за деньгами. Я все чаще и чаще задаю себе этот вопрос. — Он взглянул в сторону духовки. — Мадлен, кажется, твоя рыба готова.

Он надел рукавицы и вытащил макрель из духовки. Развернул фольгу и вылил на рыбу остатки маринада. Запах был точно такой, как я себе представляла, — сладкий, острый, восхитительный.

— Ну что ж, я вас оставляю, обедайте спокойно. — Он театрально вздохнул. — Ты знаешь, я обычно ем у себя в гостинице. Могу сесть за любой стол, выбрать любое блюдо из меню. Но аппетит у меня...

Он горестно похлопал себя по животу.

— Аппетит у меня уже совсем не тот. Может, пропал от вида всех этих пустых столов...

Я до сих пор не знаю, почему это сделала. Может, потому, что для жителя Колдуна не проявить гостеприимства — неммыслимо. Может, потому, что его слова меня задели.

— Оставайтесь ужинать, — внезапно предложила я. — Тут на всех хватит.

Но Бриман внезапно расхохотался, оглушительно, живот его трясся от великанского смеха. Я почувствовала, что краснею, и поняла, что меня

обманули, — вытянули из меня сочувствие, в котором совершенно не нуждались, и мое предложение его позабавило.

— Спасибо, Мадо, — сказал он наконец, вытирая слезы углом носового платка. — Ты невероятно добра. Но мне пора идти, э? Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

На следующее утро, проходя мимо блокгауза, я нигде не увидела Флинна. Ставни были закрыты, генератор выключен, и никаких других обычных признаков того, что он дома. Заглянув в окно, я не увидела ни грязной посуды от завтрака в раковине, ни покрывала на постели, ни одежды. Мельком заглянув внутрь — в Ле Салане мало кто запирает двери, — я не обнаружила ничего, кроме застоявшегося запаха пустого дома. Что еще хуже — лодочка, которую он держал в устье *ètier*, тоже исчезла.

— Должно быть, на рыбалку поехал, — сказала Капуцина, когда я зашла к ней в вагончик.

Ален согласился и сказал, что он, кажется, видел лодку Флинна, выходящую в море сегодня рано утром. Анжело тоже вроде бы не беспокоился. Но Аристид насторожился.

— Несчастные случаи бывают, — мрачно заявил он. — Вспомните Оливье.

— Э, — сказал Ален. — Оливье просто был невезучий.

Анжело кивнул.

— Рыжий скорее сам натворит беды, чем в беду попадет. Он всегда приземлится на ноги, где бы он ни был.

Но день тянулся, а Флинн не появлялся, и я слегка забеспокоилась. Ведь он наверняка сказал бы мне, если бы собирался уехать надолго?

Когда он не появился к полудню, я на всякий случай пошла в Ла Уссиньер, где как раз собирался отплыть «Бриман-1». Очередь отдыхающих ждала в тени под навесом «Черной кошки»; сходни были уставлены чемоданами и рюкзаками. Я поймала себя на том, что машинально обшариваю очередь взглядом в поисках рыжего мужчины.

Флинна среди отъезжающих, конечно, не было. Но когда я уже собиралась повернуть обратно к эспланаде, я вдруг заметила в очереди знакомую фигуру. Лицо закрывали длинные волосы, но джинсы в обтяжку и майку-топик цвета хурмы нельзя было ни с чем спутать. У ног ее, как пес, лежал набитый рюкзак.

— Мерседес?

Она повернулась на голос. Лицо было бледно и не накрашено. Похоже, она только что плакала.

— Отстань, — сказала она и повернулась в сторону «Бримана-1».

Я озабоченно поглядела на нее.

— Мерседес, у тебя что-нибудь случилось?

Она, не глядя на меня, покачала головой.

— Тебя это не касается, Квочка. Не лезь не в свое дело.

Я не двигалась — молча стояла рядом и ждала. Мерседес тряхнула волосами.

— Ты всегда меня ненавидела. Так радуйся, что я уезжаю. А теперь оставь меня в покое, поняла?

Лицо под свисающими волосами выглядело несчастной кляксой.

Я положила руку на худое плечо.

— Я тебя никогда не ненавидела. Пойдем, я куплю тебе кофе, и поговорим. А потом, если ты не раздумаешь уезжать...

Мерседес яростно всхлипнула из-под волос.

— Я не хочу уезжать!

Я подняла ее рюкзак.

— Тогда пошли.

— Только не в «Черную кошку», — быстро сказала Мерседес, когда я повернулась в сторону кафе. — Куда-нибудь еще.

Я нашла маленькую кафешку на задворках Кло дю Фар и заказала кофе и пончики на двоих. Мерседес все еще не успокоилась и была на грани слез, но враждебность пропала.

— Почему ты решила сбежать? — спросила я наконец. — Я уверена, твои родители будут беспокоиться.

— Я не вернусь, — упрямо сказала она.

— Что такое? Это из-за того дурацкого свадебного платья?

Она вздрогнула. Потом невольно улыбнулась.

— С него все началось, да.

— Никто не убегает из дому только потому, что платье не подошло, — сказала я, с трудом удерживаясь от смеха.

Мерседес покачала головой.

— Не поэтому, — сказала она.

— А почему?

— Потому что я беременна.

Мне удалось вытянуть из нее всю историю с помощью уговоров и еще одного кофейника кофе. В этой девушке странно смешивались наглость и детская наивность — она казалась то гораздо старше своих лет, то намного моложе. Я решила, что это и привлекло к ней Жоэля Лакруа — самоуверенная игривость. Но, несмотря на короткие юбки и сексуальную браваду, Мерседес оставалась островной девушкой — трогательно, опасно невежественной.

Оказалось, в вопросах контрацепции она понадеялась на святую.

— Кроме того, я думала, что с первого раза это не бывает, — объяснила она.

Я так поняла, что она была с Жоэлем лишь однажды. Он, видимо, внушил ей, что она сама виновата. До этого были только поцелуи, тайные поездки на мотоцикле, восхитительное ощущение бунта.

— Поначалу он был такой хороший, — задумчиво сказала она. — Все остальные считали само собой разумеющимся, что я выйду замуж за Ксавье, стану женой рыбака, растолстею и буду ходить в платке, как моя мать.

Она вытерла глаза углом салфетки.

— А теперь все пропало. Я ему предложила уехать вместе — может, в Париж. Снять квартиру вдвоем. Я могла бы пойти работать. А он только... — Она безучастно откинула назад волосы. — Только посмеялся.

По совету отца Альбана она сказала родителям сразу. Как ни странно, ярилась в основном тихая, суетливая Шарлотта. Оме Картошка только молча сидел за столом, словно в шоке. Шарлотта сказала, что надо признаться Ксавье, ведь они больше не могут выполнить свою часть договора. Рассказывая мне об этом, Мерседес тихо, безнадежно рыдала.

— Я не хочу уезжать на материк Но теперь мне нельзя по-другому. Я никому не буду нужна после того, что случилось.

— Оме может поговорить с отцом Жоэля, — предположила я.

Она покачала головой.

— Не нужен мне Жоэль. И никогда не был нужен. — Она вытерла глаза тыльной стороной руки. — И я не пойду обратно домой, — со слезами сказала она. — Если я вернусь, они заставят меня повидаться с Ксавье. А я лучше умру.

Издали донесся гудок парома. «Бриман-1» отваливал.

— Ну что ж, во всяком случае до завтра ты никуда не денешься, — твердо сказала я. — Пойдем пристраивать тебя на ночь.

6

Туанетта Просаж была у себя в саду — выкапывала мотыгой клубни дикого чеснока из песчаной почвы. Она дружелюбно кивнула мне, выпрямляясь; сегодня она прятала лицо от солнца не под *quichenotte*, а под широкополой соломенной шляпой, подвязанной красной лентой. На дерновой крыше хижины коза щипала траву.

— Так чего тебе надо?

— А что, у меня обязательно должны быть тайные мотивы? — я вытащила большой пакет выпечки, купленный в Ла Уссиньере, и протянула ей. — Я думала, вы не откажетесь от нескольких *rain au chocolat*^[24].

Туанетта взяла пакет и жадно исследовала содержимое.

— Ты хорошая девочка, — объявила она. — Конечно, это взятка. Ну что ж, теперь я готова тебя слушать. По крайней мере, пока не доем все.

Я ухмыльнулась, когда она принялась за первую *rain au chocolat*, и, пока она ела, рассказала про Мерседес.

— Я подумала, может, вы тут за ней присмотрите, — сказала я. — Пока пыль не осядет.

Туанетта задумчиво смотрела на булочку с корицей и сахаром. Острые черные глазки блестели из-под полей шляпы.

— Моя внучка меня очень утомляет, — вздохнула она. — Я с самого ее рождения знала, что с ней покою не жди. Я уже стара для всех этих дел. Хотя булочки, конечно, вкусные, — добавила она, смачно откусывая.

— Можете оставить себе весь пакет, — сказала я.

— Э.

— Оме не сказал бы вам про Мерседес, — рискнула я.

— Из-за денег, э?

— Может быть.

Туанетта жила очень экономно, однако ходили слухи, что у нее припрятаны денежки. Старушка не пыталась подтвердить или опровергнуть эти слухи, но молчание обычно принимают за знак согласия. Оме очень любит свою матушку, но ее долголетие по временам приводит его в отчаяние. Туанетта об этом знает и планирует жить вечно. Она радостно захихикала.

— Он думает, если будет скандал, я лишу его наследства, э? Бедный Оме. В девочке больше от меня, чем от всех остальных, вот что я тебе

скажу. Я была просто чумой для своих родителей.

— Вы не сильно изменились.

— Э! — Она опять заглянула в пакет. — Ореховый кекс. Я всегда любила ореховый кекс. Хорошо, что у меня все зубы свои, э? Правда, с медом он вкуснее. Или с капелькой козьего сыра.

— Я принесу.

Туанетта поглядела на меня цинично и весело.

— Тогда уж можешь и девчонку с собой привести. Я чувствую, она меня загоняет, как тягловую лошадь. А в моем возрасте мне нужен весь покой, какой только можно. А молодежь этого не понимает. Они только о своих делах думают.

Меня эта мнимая слабость не обманула. Я точно знала, что Мерседес через десять минут после прибытия приставят к делу — мыть, готовить и наводить порядок. И ей это, скорее всего, пойдет на пользу.

Туанетта словно прочитала мои мысли.

— Она у меня быстро забудет о своих бедах, — решительно сказала она. — А если этот мальчишка будет шнырять кругом — э!

Она широко взмахнула куском орехового кекса, словно самая старая в мире фея-крестная.

— Я его научу, как шнырять. Он у меня узнает, из чего сделаны саланцы.

Я оставила Мерседес у бабушки. Было уже больше часу дня, и солнце палило вовсю. Ле Салан под его стеклянистым взглядом словно вымер; ставни задвинуты, у подножия беленых стен лишь узенький намек на тень. Мне бы хотелось тихо прилечь в тени зонтика, может быть — с коктейлем в высоком стакане, но мальчишки сейчас дома — по крайней мере, пока зал игровых автоматов не открылся, — а после визита Бримана мне лучше было пока не общаться с отцом: я не ручалась за себя. Так что я пошла не домой, а к дюнам. Над Ла Гулю будет прохладнее, и отдыхающих в это время дня — никого. Был прилив; море чисто и прозрачно. Ветер прочистит мне мозги.

По дороге я не удержалась и заглянула в блокгауз. Там по-прежнему никого не было. Зато кто-то был на Ла Гулю. У воды стояла одинокая фигура с сигаретой в зубах.

Он не ответил на мое приветствие, а когда я подошла и встала рядом, он отвернулся, но я все равно успела заметить покрасневшие глаза. Новости насчет Мерседес разошлись быстро.

— Пусть они все умрут — тихо сказал Дамьен. — Пусть море поднимется и зальет весь остров. Смоет все дочиста. Чтоб никого не

осталось.

Он подобрал из-под ног камень и швырнул его со всей силы в набегающие волны.

— Это тебе сейчас так кажется... — начала я, но он меня перебил.

— Не надо было им строить этот риф. Оставили бы море в покое. Они думают, они такие умные. Делают деньги. Смеются над уссинцами. Все только и заняты деньгами, а сами не видят, что у них под носом творится. — Он пнул песок носком ботинка. — Ведь, если бы не это, Лакруа на нее и не посмотрел бы. Он бы уехал в конце лета. Его бы тут ничто не держало. Но он думал, что может сделать на нас деньги.

Я положила руку ему на плечо, но он вывернулся.

— Он притворялся моим другом. Оба притворялись. Использовали меня, чтобы я передавал послания. Чтобы я шпионил для них в деревне. Я думал, если я могу для нее что-то сделать... может, тогда она...

— Дамьен, ты не виноват. Ты не мог знать.

— Нет, виноват... — Дамьен внезапно прервался и подобрал еще один камень. — А ты-то что об этом знаешь, э? Ты вообще не настоящая саланка. Тебе все будет хорошо, что бы ни случилось. Твоя сестра ведь Бриман, верно?

— Не понимаю, при чем...

— Оставь меня в покое, а? Это не твое дело.

— Нет, мое. — Я взяла его за руку. — Дамьен, я думала, что мы друзья.

— Я и про Жоэля думал, что он мой друг, — угрюмо сказал Дамьен. — Рыжий пытался меня предупредить. Надо было его слушать, э?

Он подобрал еще один камень и швырнул в набегающую волну.

— Я говорил себе, что это мой отец виноват. Все эти его дела с омарами и всякое такое. Стал водиться с Бастонне. После всего, что они сделали с нашей семьей. Притворяется, что дела пошли на лад, все из-за одного-двух хороших уловов.

— И еще Мерседес, — мягко сказала я.

Дамьен кивнул.

— Мотоциклетная банда, — вспомнила я. — Это ты с ними был? Ты сказал им про деньги? Чтобы сквитаться с Бастонне? Потому что ты завидовал Ксавье?

Дамьен уныло кивнул.

— Правда, я не знал, что они побьют Ксавье. Я думал, он отдаст им деньги, и все. Но после этого Жоэль сказал, мне ничего не остается, как начать ходить с ними; мне уже нечего терять.

Неудивительно, что у него был такой несчастный вид.

— И ты все время держал это в себе? Никому не рассказывал?

— Рыжему. Ему иногда можно рассказывать... всякие вещи.

— И что он сказал?

— Что я должен признаться отцу и Бастонне. Сказал, если я этого не сделаю, будет гораздо хуже. Я сказал, что он с ума сошел; что отец меня убьет, если узнает хоть половину того, что я сделал.

Я улыбнулась.

— Знаешь, я думаю — он был прав.

Дамьен безучастно пожал плечами.

— Может, и так. Все равно уже поздно.

Я оставила его на пляже и вернулась той же дорогой. Оглянувшись, я увидела одинокую фигуру, пинающую песок в море с такой силой, словно он хотел выпихнуть весь песок с пляжа обратно на Ла Жете, на его законное место.

Когда я вернулась домой, там были Марэн, Адриенна и мальчики — они как раз заканчивали обедать. Когда я вошла, они все посмотрели на меня. Кроме Жана Большого — он низко опустил голову над тарелкой, медленно, методично доедая салат.

Я сварила кофе, чувствуя себя непрошеной гостьей. Пока я пила, стояла тишина, словно мое появление помешало разговору. Неужели теперь так и будет? Моя сестра с семьей, Жан Большой и его мальчики — и я, чужачка, незваная гостья, которую никто не решается выгнать? Я чувствовала, как сестра наблюдает за мной, сузив свои синие глаза островитянки. Время от времени кто-нибудь из мальчиков что-то шептал другому — слишком тихо, я не разбирала слов.

Наконец Марэн произнес:

— Дядя Клод сказал, что он с тобой поговорил.

— И хорошо сделал, — ответила я. — Или вы сами собирались мне рассказать, когда сочли бы нужным?

Адриенна взглянула на Жана Большого.

— Это папина земля, он сам решает, что с ней делать.

— Мы это уже обсуждали, — сказал Марэн. — Жан Большой понимает, что у него нет денег, чтобы застроить землю. Он решил, что разумнее предоставить это нам.

— Нам?

— Клоду и мне. Мы обсуждали совместное предприятие.

Я поглядела на отца, который, кажется, был полностью поглощен собиранием масла со дна салатной миски.

— Папа, ты знал об этом?

Молчание. Он даже виду не подал, что слышал.

— Мадо, ты только зря его расстраиваешь, — пробормотала Адриенна.

— А как же я? — Я начала повышать голос. — Меня кто-нибудь подумал спросить? Или Бриман это и имел в виду, когда сказал, что хочет видеть меня на своей стороне? Он этого хотел? Чтобы я закрыла глаза и позволила вам раздавать землю за гроши?

Марэн многозначительно посмотрел на меня.

— Может, нам лучше это обсудить в другой...

— Это из-за мальчиков, правда? — Гнев бился у меня в груди, как птица в клетке. — Этим вы его подкупили? Жан Большой и Жан Маленький,

восставшие из мертвых?

Я взглянула на отца, но он ушел глубоко в себя и спокойно глядел в пространство, словно никого из нас тут не было.

Адриенна взглянула на меня с упреком.

— Ах, Мадо. Ты же видела его с мальчиками. Их присутствие для него целительно. Ему стало настолько лучше с тех пор, как они тут.

— А от этой земли все равно никакого проку, — сказал Марэн. — Мы все решили, что гораздо лучше будет сосредоточиться на доме, сделать из него нормальный семейный летний дом, которым мы все сможем пользоваться.

— Подумай, как это важно для Франка и Лоика, — сказала Адриенна. — Дивный летний дом у моря...

— И хорошее вложение капитала, — добавил Марэн, — на то время, когда... ну ты понимаешь.

— Наследство, — объяснила Адриенна. — Для детей.

— Но это же не летний дом, — запротестовала я, чувствуя себя слегка нехорошо.

Сестра с сияющим лицом наклонилась в мою сторону.

— Мы надеемся, что он станет летним домом, — сказала она. — Вот что: мы пригласили папу поехать с нами в сентябре. Мы хотим, чтобы он круглый год жил у нас.

Я ушла так же, как пришла, — с чемоданчиком и папкой рисунков, но на этот раз не пошла в деревню. Я выбрала другую тропу, ту, что вела к блокгаузу над Ла Гулю.

Флинн так и не появился. Я вошла в дом и легла на старую койку, внезапно почувствовав себя очень одиноко, очень далеко от дома. В эту минуту я что угодно отдала бы, лишь бы оказаться опять в своей парижской квартирке, где рядом пивная и горячий серый воздух приносит шум с бульвара Сен-Мишель. Может, Флинн был прав, подумала я. Может, пора уже думать о том, чтобы двигаться дальше.

Я прекрасно понимала, каким образом отца обвели вокруг пальца. Но он сделал свой выбор; я не буду ему перечить. Если он хочет жить с Адриенной, пусть живет. Дом в Ле Салане станет их летней резиденцией. Я, конечно, смогу гостить в нем, когда захочу, а если я поселюсь где-то еще, Адриенна старательно изобразит изумление. Они с Марэном будут проводить здесь все праздники и каникулы. А в межсезонье, может быть, сдадут кому-нибудь. Внезапно я вспомнила себя и Адриенну детьми — как мы сражаемся за очередную игрушку, каждая тянет к себе, отрываются

руки и ноги, набивка разлетается, а мы продолжаем драться за право обладания. Нет, сказала я себе. Мне не нужен этот дом.

Я приставила к стене свою папку с рисунками, а чемодан сунула под кровать, сделанную из ящиков, и опять вышла на дюны. Дневной жар уже чуть спал, и начался отлив. В заливе дрожал на фоне солнца, отраженного от воды, одинокий парус, далеко за пределами защитного кольца Ла Жете. Я не могла точно разглядеть очертания и совершенно не представляла, кто мог заплывать так далеко в это время дня. Я начала спускаться к Ла Гулю, время от времени поглядывая на крошечный парус. Птицы кричали на меня, закладывая виражи. В таком свете трудно было опознать парус — во всяком случае, это точно не был никто из деревенских. Никакой саланец не будет так неуклюже рулить, так нерешительно лавировать, терять ветер и наконец ложиться в дрейф, оставив распущенный парус хлопать на ветру и позволяя течению унести лодку.

Подойдя ближе к краю утеса, я наткнулась на Аристида — он наблюдал со своего обычного места. Рядом с ним сидел Лоло с холодильным ящиком фруктов — на продажу — и биноклем на шее.

— Да кто это? Если так дальше пойдет, его выкинет на Ла Жете.

Старик кивнул. Лицо его избороздили морщины неодобрения. Не потому, что кто-то оказался неумелым моряком, — на острове люди приучаются сами о себе заботиться, и просить о помощи стыдно, — но потому, что кто-то бросил на произвол судьбы хорошую лодку. Люди приходят и уходят. Имущество остается.

— Может, это кто-то из Ла Уссиньера?

— Не. Даже уссинец не стал бы заплывать так далеко. Может, какой-нибудь турист, у которого больше денег, чем мозгов. А может, кто-то лег в дрейф. Отсюда не разглядеть.

Я поглядела вниз, на забитый людьми пляж. Там были Габи и Летиция. Летиция сидела на одной из старых свай возле утеса.

— Хочешь кусок арбуза? — предложил Лоло, с завистью поглядывая вниз на Летицию. — У меня только два осталось.

— Хорошо. — Я улыбнулась. — Я возьму оба.

— Дзенско!

Арбуз был сладкий и приятно освежил пересохшее горло. Я почувствовала, что вдали от Адриенны аппетит ко мне вернулся, и ела медленно, сидя в тени выющейся по утесу тропы. Мне показалось, что неопознанный парус чуть приблизился, хотя, возможно, это была лишь игра света.

— Я, кажется, знаю эту лодку, — сказал Лоло, щурясь в бинокль. — Я

уже давно на нее смотрю.

— Дай поглядеть, — сказала я, подходя к нему.

Лоло протянул мне бинокль, и я посмотрела на дальний парус. Он был типичного для островных лодок красного цвета, квадратный, без особых примет. Сама лодка — длинная, узкая, по сути немногим больше ялика — сидела в воде низко, словно ее залило. У меня внезапно упало сердце.

— Ну что, узнаешь? — дергал меня Лоло. Я кивнула.

— Думаю, да. Похоже, это лодка Флинна.

— Ты уверена? Можно спросить у Аристиды. Он знает все лодки. Он точно скажет.

Старик несколько секунд молча смотрел в бинокль.

— Э, это он, — объявил он наконец. — Далеко в море, дрейфует, но я готов биться об заклад.

— Чего это ему там надо? — спросил Лоло. — Он прямо на Ла Жете. Может, его на мель выбросило?

— Не. — Аристид хрюкнул. — Разве он мог это допустить? Но все равно... — он начал вставать на ноги, — похоже, там беда.

То, что мы узнали лодку, меняло дело. Рыжий — не какой-то никому не известный турист, пьяный, взявший лодку напрокат. Через несколько минут на утесе уже собралась кучка людей, и все беспокойно-пытливо смотрели на далекую лодку.

Аристид хотел сразу идти туда на своей «Сесилии», но Алэн на «Элеоноре-2» его опередил. И он был не один. Весть, что на Ла Гулю беда, дошла до Анжело, и через десять минут на пляже уже собралось полдюжины людей с крюками, шестами и веревками. Тут был и сам Анжело — он торговал колдуновкой по пятнадцати франков за рюмку, — и Оме, Туанетта, Капуцина, и все Геноле. Дальше по пляжу наблюдали, строя предположения, несколько туристов. С утеса море казалось серебристо-зеленым и шелковым, почти недвижимым.

Нам понадобилось больше часа, чтобы достичь Ла Жете. А показалось — еще дольше. Лодочка Рыжего зашла на песчаные банки, слишком близко к мелям, и лодкам побольше было не так легко туда добраться. Алэну пришлось маневрировать, проводя «Элеонору-2» вокруг вздымающихся банок, пока Гилэн подтягивал к ней лодку Флинна, удерживая ее крюками и шестами на безопасном расстоянии от корпуса «Элеоноры-2», а потом они вместе вытянули спасенную лодку на глубокую воду. Аристид, настоявший на том, чтобы его тоже взяли, стоял у руля и время от времени раздражался пессимистическими речами. Ветер за пределами залива был крепкий, волнение большое, и мне пришлось встать рядом с Алэном на корме и

удерживать качающийся гик, пока лодочка кренилась и рыскала на волнах. Пока мы не видели никаких следов Флинна — ни в лодке, ни в воде.

Я была рада, что никто не стал комментировать мое присутствие. Я первая опознала парус. В глазах всех остальных это давало мне какое-то право здесь находиться. Алену, сидевшему на корме «Элеоноры-2», было лучше всех видно, что происходит, и он все время комментировал, пока Гилен маневрировал лодкой Флинна, подтягивая ее поближе. Он закрепил пару старых автомобильных шин на борту «Элеоноры-2», чтобы защитить корпус от возможного удара.

Аристид был, как обычно, мрачен.

— Я чуял беду, — объявил он уже в пятый раз. — У меня было то же самое предчувствие, как в ночь, когда шторм унес мою «Réoch na Labour». Такое чувство, что идет беда.

— Скорее несварение желудка, — пробормотал Ален.

Аристид его игнорировал.

— Нам слишком везло в последнее время, вот что, — сказал он. — Рано или поздно наше счастье должно было перемениться. А иначе — почему беда случилась именно с Рыжим? Он ведь везунчик.

— Может, еще ничего и не случилось, — сказал Ален.

Аристид воздел руки.

— Я шестьдесят лет плаваю и уже раз двадцать видел такое. Человек выходит в море один, забывает об осторожности, поворачивается спиной к гикю, ветер переменился — и привет!

Он выразительно провел пальцем по шее.

— Ты же не знаешь, что случилось, — упрямо сказал Ален.

— Я знаю то, что знаю, — ответил Аристид. — Так вышло с Эрнестом Пино в сорок девятом году. Его скинуло за борт. До воды он долетел уже мертвый.

Наконец лодочку подтянули к борту «Элеоноры-2», и Ксавье спрыгнул на борт. Флинн недвижно лежал на дне. Должно быть, несколько часов так пролежал, предположил Ксавье, видя полосу солнечного ожога на лице. Ксавье с трудом поднял Флинна, подхватив его под мышки, и стал подтаскивать ближе к «Элеоноре-2», пока Ален пытался принайтовать лодку. Вокруг них хлопал и бился бесполезный парус ялика, и незакрепленные концы яростно хлестали во всех направлениях. Ксавье благоразумно не стал дотрагиваться до штуки, обмотавшей руку Флинна, хоть и не знал, что это такое, — она была похожа на размочаленные останки пластикового пакета, и куски ее тянулись в воду.

Наконец с нескольких попыток лодку надежно закрепили.

— Я же говорил, э? — объявил Аристид с мрачным удовлетворением.
— Если твое время пришло, то и коралловая бусина не спасет.

— Он не умер, — сказала я и сама не узнала своего голоса.

— Нет, — выдохнул Ален, втаскивая недвижимое тело Флинна из полузатопленного ялика на борт «Элеоноры-2». — Во всяком случае пока нет.

Мы положили его на корму, и Ксавье поднял предупреждающий флаг. Я что-то делала трясущимися руками с парусами «Элеоноры-2», пока наконец не обрела уверенность, что смогу взглянуть на Флинна без дрожи. Он уже горел в лихорадке. Время от времени он открывал глаза, но не отвечал, когда я с ним говорила. Через полупрозрачную штуку, намотанную у него на руке, я видела красные линии инфекции, тянущиеся по руке вверх. Я пыталась унять дрожь в голосе, но все равно мне самой было слышно, что я говорю визгливо и подозрительно близко к истерике.

— Ален, надо снять с него эту штуку!

— Это работа для Илэра, — коротко ответил Ален. — Давай лучше приведем лодку к берегу как можно скорее. И укроем его от солнца. Поверь мне, мы тут больше ничего не можем сделать.

Это был хороший совет, и мы его послушались. Аристид держал кусок парусины над лицом Флинна, лежащего без сознания, а мы с Аленом вели лодку, стараясь как можно быстрее попасть обратно на Ла Гулю. Но все равно, даже несмотря на добрый западный ветер, дующий нам в спину, нам понадобился почти целый час. К тому времени на берегу собралось еще больше народу, желающего помочь, — с фляжками, веревками, одеялами. Уже поползли слухи. Кто-то побежал за Илэром.

Никто не знал, что это за штука — она была все еще на руке у Флинна. Аристид считал, что это кубомедуза, которую занесло причудами Гольфстрима из теплых морей. Матиа, пришедший вместе с Анжело, презрительно отверг эту гипотезу.

— Ничего подобного, — фыркнул он. — Ты что, слепой? Это португальский военный кораблик. Помнишь их нашествие на Ла Жете? В пятьдесят первом, кажется, э, их сотни плавали на краю Нидпуля. Некоторые даже до Ла Гулю добрались, и нам пришлось вытаскивать их с пляжа граблями.

— Кубомедуза, — упрямо повторил Аристид, качая головой. — Бьюсь об заклад.

Матиа поймал его на слове и предложил ставку в сотню франков. Его примеру последовали и другие.

Но что бы это ни была за тварь, снять ее оказалось нелегко. Щупальца

— если эти перистые, похожие на папоротник, ленточки были щупальцами — прилипали к голой коже, которой касались. Они цеплялись за нее, сопротивляясь всяким попыткам их оторвать.

— Должно быть, эта штука плавала в воде и похожа была на пластиковый пакет, — размышляла Туанетта. — Он наклонился, чтобы ее выудить...

— Хорошо, что он там не плавал, э. Она бы его всего обмотала. Эти щупальца, похоже, метра два длиной, а то и больше.

— Кубомедуза, — с мрачным удовлетворением повторил Аристид. — Эти полосы — от заражения крови. Я такое видал.

— Португальский кораблик, — возразил Матиа. — Ты хоть раз видел кубомедузу так далеко на севере?

— Надо сигаретой. Пиявок так снимают, — сказал Оме Картошка.

— А может, колдуновки плеснуть, — предложил Анжело.

Капуцина посоветовала уксус.

Аристид был настроен фаталистически и говорил, что если эта тварь и впрямь кубомедуза, то Рыжему так или иначе конец. От этого яда противоядия нет. Он сказал, что Рыжему осталось жить самое большее двенадцать часов. Тут явился Илэр с Шарлоттой, которая несла бутылку уксуса.

— Уксус, — сказала Капуцина. — Я же говорила.

— Дайте пройти, — заворчал Илэр. Он сердился еще больше обычного, пряча беспокойство под маской раздражительности. — Думаете, мне больше делать нечего, э? Мне еще Туанеттиных коз лечить и уссинских лошадей. Неужели так трудно подумать головой? Почему все считают, что мне это нравится?

Кучка собравшихся с беспокойством смотрела, как Илэр с помощью пинцета и уксуса отдирает присосавшиеся щупальца.

— Кубомедуза, — вполголоса сказал Аристид.

— Каменный лоб, — отозвался Матиа.

Флинна увезли в «Иммортели». Лучше места не найти, настаивал Илэр, там кровати и медицинские принадлежности. Илэр на месте мог только сделать укол адреналина и на этой стадии отказался давать прогнозы. Он позвонил из своего кабинета на материк, сначала вызвал доктора — во Фроментине держали для подобных случаев скоростную моторную лодку, — а потом сообщил в береговую охрану, чтобы они оповестили о появлении опасных медуз.

Другие подобные твари на Ла Гулю пока не появлялись, но на новом

пляже уже приняли традиционные меры — обтянули место для плавания шнуром с поплавокми и принесли сачок, чтобы вылавливать из воды нежелательных гостей. Потом Ален и Гилен сходят на Ла Жете и проверят там. Такую процедуру иногда проводили после осенних штормов.

Я околачивалась вокруг кучки людей, чувствуя себя лишней — я ничего полезного не могла сделать. Туанетта вызвалась поехать с Рыжим в «Иммортели». Начали поговаривать о том, чтобы позвать отца Альбана.

— Неужели так плохо?

Илэр, не знакомый ни с одним из обсуждаемых видов медуз, не мог точно сказать. Лоло пожал плечами.

— Аристид говорит — к завтрашнему дню мы так или иначе узнаем.

Я не верю в приметы. Так что в этом смысле я не настоящая островитянка. И все же сегодня вечером приметы просто кишели вокруг, качались на волнах, как чайки. Где-то поворачивался прилив, черный прилив. Я чувствовала, как он поворачивается. Я пыталась вообразить Флинна умирающим; мертвым. Это было невысказано. Он был наш, островной, часть Ле Салана. Мы сформировали его, как и он — нас.

Ближе к вечеру я пошла в святилище святой Марины на мысу, ныне заляпанное свечным воском и птичьим пометом. Кто-то оставил на алтаре среди приношений пластмассовую кукольную голову. Голова была розовая; волосы — белокурые. В святилище уже горели свечи. Я сунула руку в карман и вытащила коралловую бусину. Покатала ее в ладони, потом положила на алтарь. Святая Марина смотрела на меня сверху вниз, и каменное лицо ее было еще двусмысленней обычного. Улыбка ли это играет на грубых каменных чертах? В благословении ли поднята рука?

Святая Марина. Забери обратно пляж, если тебе так угодно. Забери что хочешь. Но не это. Пожалуйста. Только не это.

В дюнах кто-то вскрикнул — может, птица. Похоже на смех.

Когда пришла Туанетта Просаж, я все еще сидела в святилище. Она коснулась моей руки, и я подняла голову; я увидела, что за ней на мыс поднимаются, приближаясь ко мне, и другие люди. Кое-кто нес фонари; я узнала Бастонне, Геноле, Оме, Анжело, Капуцину. За ними шел отец Альбан со своим посохом из плавника, а также сестра Тереза и сестра Экстаза — их *coiffes* трепыхались на фоне заката, как птицы.

— Пускай Аристид говорит что хочет, — сказала Туанетта. — Святая Марина пришла сюда раньше всех нас, и кто знает, какие еще чудеса она может сотворить. Она ведь принесла нам пляж, верно?

Я кивнула, не доверяя собственному голосу. За Туанеттой шла цепочка островитян — некоторые с цветами. Я увидела Лоло, который шел последним, приотстав, а в деревне — кучку любопытствующих туристов.

— Я же не сказал, что хочу, чтоб он умер, — оправдывался Аристид. — Но если он все-таки умрет, я сказал, он заработал себе место на Ла Буше. Я выберу участок рядом с могилой моего сына.

— Нечего болтать про покойников и могилы, — отозвалась Туанетта. — Святого этого не допустит. Это наша Марина Морская, она особенная

святая, саланская. Она не подведет.

— Э, но Рыжий ведь не саланец, — заметил Матиа. — А святая Марина — островная святая. Может, она не заботится о материковых.

Оме покачал головой.

— Может, это святая принесла нам пляж, но Ле Бушу построил Рыжий.

Аристид хрюкнул.

— Вот увидите, — сказал он. — Злой рок никогда не уходит далеко от Ле Салана. Вот и доказательство. Медуза в заливе, где их столько лет не было. Вы же не будете говорить, что это поможет нам в делах.

— В делах? — возмутилась Туанетта— Это все, что тебя волнует? Думаешь, святую очень интересует твоя торговля?

— Может, и нет, — сказал Матиа, — но все равно это плохой знак. Последний раз такое случилось в Черный год.

— Черный год, — мрачно повторил Аристид. — А удача переменяется, как прилив.

Лишь несколькими днями раньше, услышав эти мрачные слова, я бы улыбнулась. Но сейчас я поняла, что вот-вот — и я снова начну верить в приметы. Я опять взглянула на святую, пытаюсь что-то угадать по выражению ее лица.

— Наша удача не переменялась! — запротестовала Туанетта. — Мы, саланцы, сами строим свою удачу. Это ничего не доказывает.

Отец Альбан неодобрительно покачал головой.

— Не знаю, зачем вы вообще меня сюда позвали, — сказал он. — Если хотите молиться, у нас для этого есть нормальный храм. А если нет — э! Нечего разводить суеверия. Зря я пошел у вас на поводу.

— Только молитву, — настаивала Туанетта. — Только *Santa Marina*.

— Ну хорошо, хорошо. Но сразу после этого я ухожу, а вы оставайтесь, если хотите простудиться до смерти. Сейчас, похоже, дождь пойдет.

— Говори что хочешь, — пробормотал Аристид. — Торговля — это важно. И как наша святая, она обязана это понимать. Это удача Ле Салана.

— Мсье Бастонне!

— Ладно, ладно.

Мы склонили головы, как дети. Островная латынь — поросычья латынь, даже по церковным стандартам, но все попытки осовременить службу потерпели крах. В старых словах есть магия, что-то такое, что в переводе будет потеряно. Отец Альбан давно уже устал нас убеждать, что сила не в самих словах, но в чувстве, которое они выражают. У большинства саланцев эта идея не укладывается в голове и даже отдает кощунством. Католическая вера на островах ассимилировалась, вернулась к язычеству.

Амулеты, символы, заклинания, ритуалы укоренились тут, в этих общинах, где мало кто читает книги, в том числе Писание. Здесь очень сильны устные традиции, истории с каждым пересказом украшаются новыми деталями, но чудеса мы любим гораздо больше, чем числа и правила. Отцу Альбану это известно, и он нам подыгрывает, зная, что без него церковь скоро станет совсем никому не нужна.

Две старушки-монахини остались и, стоя по обе стороны алтаря, сделанного из пла́вника, наблюдали за молебном. Деревенские молча ждали в очереди. Несколько человек — среди них Аристид — сняли с шеи «счастливые» бусины и возложили на алтарь под темным, равнодушным взглядом святой Марины.

Я оставила молящихся и пошла вниз на Ла Гулю, распростершийся и краснеющий в послезакатных лучах. Далеко-далеко, у края воды, почти теряясь в отблесках солончаков, стояла человеческая фигура. Я пошла к ней, наслаждаясь прохладой мокрого песка под ногами и мягким хлюпаньем отлива. Это был Дамьен.

Он поглядел на меня — в глазах отражался красный пандемониум заката. За ним темная линия поперек неба пророчила дождь.

— Видишь? — сказал он. — Все разваливается. Все кончено.

Я вздрогнула. Издали донеслись мрачные переливы песнопения Туанетты.

— Не думаю, что все уж так плохо, — сказала я.

— Не думаешь? — Он пожал плечами. — Мой отец ходил на Ла Жете на плоскодонке. Он говорит, там полно этих штук. Должно быть, штормами занесло по Гольфстриму. Мой дедушка говорит, это плохой знак. Идут тяжелые времена.

— Я и не думала, что ты веришь в приметы.

— Не верю. Но люди держатся за них, когда больше ничего не остается. Чтобы сделать вид, что им не страшно. Поют, молятся, вешают венки на святую. Словно это как-то поможет Ры... Рыж...

На последнем слове его голос сорвался, и он с удвоенной яростью уставился на воду.

— Он выберется, — сказала я. — Он из всего умудряется выбраться.

— Мне плевать, — неожиданно отозвался Дамьен, не повышая голоса. — Это он все затеял. Мне плевать, если он умрет.

— Ты на себя наговариваешь!

Дамьен заговорил, обращаясь куда-то к горизонту:

— Я думал, он мой друг. Я думал, он не такой, как Жоэль, Бриман и остальные. А оказывается, он просто врать умел лучше.

— Что ты имеешь в виду? — спросила я. — Что он сделал?

— Я думал, они с Бриманом друг друга ненавидят, — сказал Дамьен. — Он притворялся, что это так. На самом деле они друзья, Мадо. С Бриманом. Они сотрудничают. И вчера, когда он попал в беду, он что-то делал для них. Для того и заплыл так далеко. Я сам слышал, как Бриман это говорил!

— Работал на Бримана? Что же он делал?

— Он с самого начала на него работал, — сказал Дамьен. — Бриман ему платил за то, что он для нас строит. Я слышал, как он говорил про это с Марэном возле «Черной кошки».

— Дамьен, — запротестовала я, — но он же столько сделал для Ле Салана...

— А что он такого сделал, э? — Голос Дамьена дрогнул; внезапно он заговорил совсем по-детски. — Построил эту штуку в заливе?

Дамьен показал на далекий Бушу — я различала только два сигнальных огня, мигающих, как лампочки на новогодней елке.

— Для чего? Для кого? Не для меня — это уж точно. Не для моего отца — он по уши в долгах и все ждет, чтоб ему повезло. Думает сколотить состояние на горсточке рыбы — разве можно быть таким идиотом? Не для Геноле, не для Бастонне, не для Просажей. Не для Мерседес!

— Ты несправедлив. В этом пляж не виноват. И Флинн тоже.

Солнце село. Небо было как синяк, бледнеющий по краям.

— Да, и вот еще что, — сказал Дамьен, глядя на меня. — Он не Флинн. И не Рыжий. Его зовут Жан-Клод. По отцу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВЕРНУЛСЯ В
ДЮНЫ СКИТАЛЕЦ МОРСКОЙ^[25]

1

Я бежала по тропе вверх, на утес, и мысли стучали в черепе, как семена в тыкве-погремушке. Чепуха какая. Флинн — сын Бримана? Не может быть. Дамьен, скорее всего, ослышался. И все же что-то у меня в душе кричало, что это — правда: мой радар, наконец-то обнаруживший опасность, вызванивал тревогу громче Маринетты.

Чутье говорило мне, что у меня перед глазами была куча доказательств — просто я предпочла их не замечать: тайная встреча, объятие, враждебность Марэна, то, что Флинн разрывался, не зная, кому хранить верность. Даже прозвище — Рыжий — перекликалось с прозвищем Бримана — Лис. У них было одно имя, на островной манер.

Но Дамьен всего лишь мальчишка; да еще охваченный муками первой любви. Не самый надежный источник информации. Нет, надо разузнать побольше, прежде чем мысленно вынести Флинну приговор. И я знала, куда мне идти.

В вестибюле «Иммортелей» никого не было, кроме Жоэля Лакруа — он сидел, положив ноги в ковбойских сапогах на конторку, и курил «житан». Увидев меня, он, кажется, растерялся.

— Э, Мадо. — Он криво ухмыльнулся и погасил окурок в пепельнице. — Тебе комната нужна?

— Я слыхала, мой друг здесь, — сказала я.

— Англичанин? Да, он тут. — Он опять картинно закурил, выпустив дым длинной ленивой струей, как в кино. — Доктор сказал, его нельзя трогать. Хочешь его повидать, э?

Я кивнула.

— Ну так вот, нельзя. Мсье Бриман не велел никого пускать — это и к тебе относится, *ma belle*^[26]. — Он подмигнул мне и пододвинулся поближе. — Доктор прибыл экстренным рейсом, может, час назад. Сказал, это какая-то португальская медуза. Очень ядовитая.

Значит, Аристид со своим зловецким прогнозом оказался не прав. Меня охватило невольное облегчение.

— Значит, это не кубомедуза?

Жоэль мотнул головой, мне показалось — с сожалением.

— Не. Но все равно ядовитая.

— Насколько ядовитая?

— Пфе. Что эти доктора вообще знают, э? — Он затыкнулся «житаном».
— И то, что он столько времени пролежал без сознания на солнце, тоже не сильно хорошо. Солнечный удар — это такая пакость, если не остережешься. Да что взять с материкового.

Жоэль явно имел в виду, что лично он, Жоэль, чрезвычайно крут и уж ему-то подобные мелочи нипочем.

— А что медуза?

— Этот дурак несчастный взял да вытащил ее из воды, представляешь, э? — Жоэль изумленно покачал головой. — Ты можешь в это поверить? Доктор сказал, яд будет действовать сутки.

Он ухмыльнулся.

— Значит, если завтра твой дружок будет все еще с нами, э... — Он опять подмигнул и придвинулся еще ближе.

Я увернулась.

— Тогда мне надо повидать Марэна Бримана. Он тут?

— Э, что такое? — Жоэль явно обиделся. — Я тебе не нравлюсь?

— Нравишься, только издали. Все равно как чужие рыбные угодья. Территориальные воды. Не нарушай моих границ, пожалуйста.

Жоэль хрюкнул.

— Святую Марину из себя строит, — пробормотал он. — Марэн ушел час назад. С твоей сестрой.

— Куда?

— Без понятия.

В конце концов я отыскала Адриенну и Марэна в «Черной кошке». К вечеру в кафе уже было шумно и накурено. Сестра сидела у стойки бара; Марэн играл в карты у стола с кучей усинцев. При виде меня он заметно удивился.

— Мадо! Ты тут не часто бываешь. Что-то случилось? — Он прищурился. — С Жаном Большим что-то не так?

— Нет, с Флинном.

— Да? — Он явно растерялся. — Надеюсь, он не умер?

— Конечно нет.

Марэн пожал плечами.

— Что ж, мечтать не вредно.

— Хватит играть в прятки, Марэн, — сердито сказала я. — Я все знаю насчет него и твоего дяди. И ваших общих делишек.

— О. — Он ухмыльнулся. Заметно было, что он не так уж недоволен. — Ясно. Давай поговорим в более укромном месте. Незачем посторонним

слушать про наши семейные дела, а?

Он бросил карты на стол и встал.

— Все равно я проигрывал, — сказал он. — Мне не так везет в карты, как твоему другу.

Мы вышли наружу, на эспланаду, где было прохладней и не так много народу. Адриенна пошла за нами. Я села на стену волнолома и посмотрела на них — сердце колотилось, но голос был спокоен.

— Расскажите мне про Флинна, — сказала я. — Нет, лучше расскажите про Жан-Клода.

— Понимаешь, это место должен был занять я. — Марэн, несмотря на улыбку, глядел кисло. — Я был единственный родственник у старика. Я был ему ближе, чем сын. По крайней мере ближе, чем когда-либо был его собственный сын. Все должно было достаться мне. «Иммортели». Предприятия. Всё.

Много лет Бриман позволял ему верить, что так оно и будет. Займы, небольшие подарки. Бриман держал связь с Марэном точно так же, как и со мной: не сжигал мостов; пытался предусмотреть любой поворот событий. Он старался не упоминать о бросившей его жене, о потеряном сыне. Он дал Марэну понять, что порвал отношения с обоими, что они уехали в Англию, что мальчик даже французского не знает, что он не большей степени Бриман, чем любой уроженец этого большого острова — страны ростбифа и шляп-котелков.

Но он, конечно, соврал. Бриман Лис никогда не терял надежды. Он держал связь с матерью Жан-Клода, посылал деньги на учебу, много лет вел двойную игру, тянул время и ждал. Он всегда собирался, когда придет время, передать свой бизнес Жан-Клоду. Но сыну, кажется, это было совсем не нужно — он охотно брал посылаемые Бриманом деньги, но предложение вступить в дело вызвало гораздо меньший энтузиазм. Бриман терпеливо ждал, пока мальчик перебесится, стараясь не думать о том, что время уходит. Жан-Клоду было уже за тридцать, но его планы — если у него вообще были какие-то планы — так и не определились. Бриман начал думать, что сын никогда не вернется.

— Это решило бы дело, — самодовольно сказал Марэн. — Клод, может, и сумасшедший отец, но он никогда не оставил бы деньги тому, кто их не заработал. Он дал понять Жан-Клоду, что, если тот хочет увидеть хоть грош из наследства, ему надо сначала приехать сюда.

Бриман, конечно, не делился своими заботами с Марэном и Адриенной. Все время, пока ситуация оставалась неясной, Бриману как никогда нужны были хорошие отношения с Марэном. Марэн был для него страховкой, запасной струной на случай, если Жан-Клод так и не появится. К тому же Марэн был ценным контактом — ведь он женат на дочери Жана Большого.

— Он хотел упрочить свои связи с Ле Саланом. Особенно ему хотелось купить дом Жана Большого и прилегающую землю. Но Жан Большой отказался продавать. Меж ними была какая-то ссора — я так и не узнал, из-

за чего. А может, он просто заупрямился.

В общем, пока Марэн и Адриенна стояли в очереди на получение наследства, Бриману оставалось только выжидать. Он был более чем щедр к молодой паре, дал им хорошие деньги, чтобы они могли начать свое дело.

Я видела, что, пока Марэн говорил, Адриенна все больше раздражалась.

— Погоди минуту. Ты хочешь сказать, что твой дядя тебе заплатил, чтобы ты на мне женился?

— Не говори глупостей. — Марэну явно было не по себе. — Он просто воспользовался подвернувшейся возможностью, вот и все.

В процветающем Ла Уссиньере земля неподъемно дорога. В Ле Салане же пока все дешево. Если бы Бриману удалось там закрепиться, это было бы для него большой удачей. Дом Жана Большого и полоска земли, которая тянется до самого Ла Гулю, открывает большие перспективы для человека, который распорядится ими с умом. Поэтому Бриман был добр к Марэну и Адриенне. Слал подарки для мальчиков. Марэн и Адриенна уверенно смотрели в будущее, ожидая в конце концов получить часть состояния, и много лет жили не по средствам.

И тут явился Флинн.

— Блудный сын, — ядовито сказал Марэн. — Опоздал на тридцать лет и почти иностранец, но совершенно вскружил голову старику. Можно было подумать, что он умеет по водам ходить.

И Марэн внезапно опять оказался всего лишь племянником. Теперь, когда сын вернулся, бизнес в Танжере больше не интересовал Клода, и он забрал обратно все займы и инвестиции, от которых зависели Марэн и Адриенна.

— О, он, конечно, не сразу сказал нам, в чем дело. «Иммортели» якобы нуждались в ремонте. Новые волноломы для защиты пляжа. Модернизировать гостиницу. Конечно, это было и в наших интересах тоже, ведь «Иммортели» в конце концов будут наши.

Про Жан-Клода пока не объявлялось официально. Природная осторожность Бримана взяла верх, и он не собирался допускать к своим делам чужого человека, пока не убедится, что это действительно его сын. Предварительное расследование, кажется, подтвердило этот факт. Мать Жан-Клода, покинув Колдун, вернулась на родину, в Ирландию. Она снова вышла замуж, у нее новая семья. Она сказала Бриману, что Жан-Клод уехал несколько лет назад и почти не поддерживает с ней контактов, хотя чеки, посылаемые Бриманом, она передает. Это уже частично подтверждало историю, рассказанную Флинном. Что гораздо важнее, у него были письма Бримана, фотографии уехавшей жены с Жан-Клодом, свидетельство о

рождении. Более того, он знал истории, которых не мог знать никто, кроме Жан-Клода и его матери. Марэн предложил сделать анализ крови. Но Бриман чуял сердцем, и ему не нужно было подтверждений. У Флинна были глаза матери.

Бриман подрядил Флинна помочь с проблемой размывания, намекнув, что если тот хорошо зарекомендует себя в «Иммортелях», то в конце концов получит долю в бизнесе. Таким образом Бриман мог проверить сына в деле, в то же время не спуская с него глаз.

— Дядя мой — малый не промах, — сказал Марэн с мрачным удовлетворением. — Даже если Жан-Клод — тот, за кого себя выдает, ясно, зачем он приехал. За деньгами. За чем еще он мог явиться после стольких лет?

Бриман, как и все жители Колдуна, знал, что делать в подобных случаях. Дезертиров приветствуют с распростертыми объятиями, но кошельки открывать не торопятся, зная: то, что вернулось, не обязательно возвращается навсегда.

— Он нашел ему работу. Сказал, если сын собирается унаследовать дело, то лучше ему начать с самого низа. — Марэн засмеялся. — Единственное, что меня хоть как-то утешает во всей этой истории, — я представляю, какая рожа была у этого сукина сына, когда он услышал от дядюшки, что должен заработать право на свою фамилию.

Они поссорились. При воспоминании о ссоре лицо Марэна просветлело.

— Старик плевался кипятком. Жан-Клод понял, что зашел слишком далеко, и попытался его успокоить, но было уже поздно. Дядя сказал ему, что он не увидит ни гроша, пока не заслужит право занимать свое место, и отправил его в Ле Салан.

Но обе стороны контролировали свои эмоции. Жан-Клод дал отцу время остыть, а сам тем временем старался вновь заработать его хорошее отношение. Бриман же мало-помалу начал понимать, до какой степени ему выгодно иметь в Ле Салане своего шпиона.

— Он узнавал обо всем. У кого туго с деньгами, у кого дела пришли в упадок, кто спит с чьей женой, кто залез в долги. Он умеет располагать людей к себе. Они ему доверяют.

Через несколько месяцев Бриману стали известны все саланские тайны. Из-за новых сооружений в «Иммортелях» течения переменялись. Перестала ловиться рыба. Многие саланцы уже были его должниками. Он мог заставить их плясать под свою дудку.

Среди этих людей был и Жан Большой. Флинн с самого начала взял его

под покровительство, помогал ему в самых разных вещах, выступал в роли посредника, давая Жану Большому возможность брать деньги взаймы, когда у того кончились сбережения. Бриман был совершенно счастлив. Если удастся купить Жана Большого, то через год-два Ле Салан — или то, что от него останется, — будет принадлежать ему.

— И тут вернулась ты, — сказала Адриенна.

Это все меняло. Жан Большой, ранее такой податливый, стал непокорным. Я слишком явно на него влияла. Тонкие подкопы Флинна были разрушены.

— И тогда он изменил тактику, — сказала Адриенна, злорадно улыбаясь. — Вместо папы он сосредоточился на тебе. Чтобы узнать, в чем твои слабости. Он тебе льстил...

— Неправда, — быстро сказала я. — Он мне помогал. Он нам всем помогал.

— Он себе помогал, — ответил Марэн. — Он донес Бриману про риф, как только на Ла Гулю показался песок. Ну сама подумай, — сказал он, видя выражение моего лица. — Неужели ты веришь, что он это делал ради тебя?

Я мрачно посмотрела на него.

— А как же «Иммортели»? — возразила я. — Если он с самого начала знал, что будет с пляжем Клода...

Марэн пожал плечами.

— Это все поправимо, — сказал он. — А небольшое давление на «Иммортели» — самое то, что нужно было Рыжему, чтобы слегка подтолкнуть дядюшку.

Марэн посмотрел на меня, мрачно улыбаясь.

— Мадо, я тебя поздравляю, — сказал он. — Твой приятель наконец-то заработал себе имя. Он теперь Бриман, с чековой книжкой на имя компании и половиной долей в предприятии «Бриман и сын». И все благодаря тебе.

3

В «Иммортелях» было темно. В вестибюле горел ночник, но дверь была заперта, и мне пришлось в течение пяти минут снова и снова звонить в звонок, чтобы добиться ответа. Бриман был в рубашке с закатанными рукавами, в углу рта — «житан». Он чуть поднял брови, увидев меня через дверное стекло, потом вынул из кармана связку ключей и отпер дверь.

— Мадо. — Голос у него был усталый, и в осанке, скорбных щеках, вислых усах, почти закрытых глазах тоже сквозила усталость. Плечи сгорбились под бесформенной *vagueuse*; он был еще больше обычного похож на грубый валун, на памятник самому себе из стертого гранита. — Немного не ко времени, э?

— Я понимаю. — Гнев накатился на меня раскаленной глыбой, но я отпихнула его прочь. — Вы, наверное, очень расстроены.

Мне показалось, что его взгляд на мгновение дрогнул.

— Ты про медуз? Да, делаю это не помогает. Правда, моим делам уже мало что поможет.

— Медузы — это, конечно, проблема, — ответила я. — Но я имела в виду несчастный случай с вашим сыном.

Бриман скорбно глядел на меня несколько секунд, потом испустил свой обычный колоссальный вздох.

— Да, неосторожно с его стороны, — сказал он. — Глупая ошибка. Ни один островитянин не сделал бы такого.

Он улыбнулся.

— Но я же тебе говорил, что рано или поздно он ко мне вернется, э? Пришлось подождать, но он в конце концов вернулся. Я так и знал. Мужчине в моем возрасте нужно, чтобы сын был рядом. Опора. Кто-то, к кому перейдет дело, когда меня не станет.

Мне показалось, что теперь я улавливаю сходство: что-то в улыбке, осанке, манерах, в глазах. У них глаза одного цвета, у Бримана и у Флинна не синие, цвета летнего моря, как у моего отца, но грифельно-серые, узкие, хитрые. Это был решающий довод. Грифельные глаза.

— Вы, должно быть, им очень гордитесь, — заметила я, борясь с тошнотой.

Бриман поднял бровь.

— Да, мне хотелось бы думать, что в нем есть что-то от меня.

— Но зачем было притворяться? Прятаться от всех остальных? Почему

он нам помогал — почему вы нам помогали, — если все это время он был на вашей стороне?

— Мадо, Мадо. — Бриман горестно покачал головой. — Зачем эти разговоры о сторонах? У нас что, война, э? Обязательно должна быть скрытая подоплека?

— Благодеяние украдкой? — съязвила я.

— Мадо, мне больно это слышать. — Его поза вторила словам — он сгорбился, полуотвернулся прочь, засунув руки в карманы. — Поверь мне, я желаю Ле Салану только добра. И всегда желал. Посмотри, что мое «благодеяние украдкой» принесло Ле Салану — рост, торговлю, бизнес, э! Думаешь, они приняли бы все это от меня? Подозрительность, Мадо. Подозрительность и гордость. Вот что губит Ле Салан. Люди цепляются за свои камни, стареют, боятся перемен — они скорее дождутся, что их смоем начисто, чем примут разумное решение и проявят немножко предприимчивости.

Он развел руками.

— Ведь все напрасно пропадает! Они знали, что делодохлое, но продавать все равно никто не хотел. Они скорее дождались бы, чтоб море сомкнулось у них над головами, чем проявили бы капельку здравого смысла.

— Теперь вы даже говорите его словами, — сказала я.

— Мадлен, я устал. Слишком устал, чтоб меня так допрашивать. — Он вдруг словно снова постарел, его энергия рассеялась. Щеки обвисли. — Ты мне симпатична. Ты симпатична моему сыну. Мы бы о тебе всегда позаботились. А теперь иди домой и ложись спать, — заботливо посоветовал он. — Завтра будет длинный день.

4

Так вот, значит, что я искала все это время, сама того не зная. Бриман и его давно потерянный сын. Они втайне сотрудничали, каждый на своем конце острова, и вместе планировали — что? Я вспомнила сентиментальные речи Бримана про то, что он стареет. Неужели Флинн убедил его загладить свою вину? Неужели они действительно трудились нам на благо? Нет. Я точно знала, что нет. В глубине души, где от себя не укроешься, я понимала, что это было известно мне с самого начала.

Всю дорогу до блокгауза я бежала. В душе было чувство отстраненности, смутно знакомое: мне довелось испытать его раньше, однажды, в тот день, когда умерла мать. Словно заработал тонкий механизм, отдаляющий меня от всего, кроме насущного дела. Потом придется расплачиваться — может, скорбью, может, слезами. Но сейчас я владела собой. Предательство Флинна случилось в чьем-то чужом сне; странное спокойствие прошло по моему сердцу, как волна проходит по письменам на песке.

Я думала про Жана Большого и только что отстроенную летнюю квартиру. Я думала обо всех саланцах, взявших займы на ремонт домов, расширение бизнеса, обо всех наших мелких капиталовложениях в будущее. За свежепокрашенными домами, новыми садами, стойлами, сверкающими прилавками магазинчиков, модернизированными рыбацкими лодками, припасами в кладовых, яркими ставнями, цветочными ящиками, коктейльными стаканами, ямами для шашлыка, живорыбными садками, ведрами и лопатами тайно сверкали деньги Бримана, власть Бримана.

А «Бриман-2», полгода назад уже наполовину построенный? Сейчас он, должно быть, уже готов; готов служить планам Бримана; это доля Жан-Клода в Бримановом концерне. Я уже поняла, каково место Флинна — ключевая позиция в триумвирате Бриманов. Клод, Марэн, Рыжий. Ла Уссиньер, Ле Салан, материк. В этом была неумолимая симметрия — займы, риф, тяга Бримана к затопленной земле. Я видела его планы, когда они были еще в зачаточном состоянии; чтобы найти неизвестное в этом уравнении, не хватало только вестей о вероломстве Флинна.

Моя мать, человек импульсивный, немедленно разнесла бы эту весть; но во мне слишком много от Жана Большого. Я сильнее похожа на него, чем думала; мы оба втайне лелеем свои обиды. Мы смотрим на себя изнутри — наружу. Наши сердца колючи и плотно замотаны во много

слоев, как артишоки. Я не стану поднимать шум. Я узнаю всю правду. Я исследую ее спокойно, аналитически. Я поставлю диагноз.

Но мне надо с кем-то поговорить. Не с Капуциной, хотя в обычных обстоятельствах я бы первым делом пошла к ней; она слишком доверчива, слишком жизнерадостна. Подозрительность ей не свойственна. Кроме того, она обожает Рыжего, и мне не хотелось беспокоить ее раньше времени — по крайней мере, пока не выяснилась вся глубина его предательства. Да, он нам врал. Но его мотивы пока неизвестны. Возможно, он — каким-то чудом — все же окажется невиновен. Конечно, мне этого хотелось. Но разумная часть моей души — та, что досталась от Жана Большого, — неумолимо работала на опровержение. Потом, сказала я себе. У меня будет на это время... позже.

Туанетта? С возрастом она стала странно отчужденной: с ленивым равнодушием следила за саланскими распрями, поскольку уже все повидала в этой жизни и ничто ее не занимало. Может, она даже узнала Рыжего и поняла, кто он есть на самом деле, но ничего не сказала, намереваясь молча наблюдать и развлекаться.

Аристид? Матиа? Одно словечко любой из рыбацких семей — и к утру весть разнесется уже по всему Ле Салану. Я попробовала представить себе, какова будет реакция. Оме? Анжело? Столь же невозможно. Но мне обязательно надо было кому-нибудь рассказать. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что я в своем уме.

Через открытое окно с дюны доносился ночной шум. Ла Гулю издавал запах поднимающейся соли, остывающей земли, миллионов мелких тварей, оживающих под светом звезд. Жан Большой сейчас на кухне, с чашкой кофе под рукой, смотрит в окно, как всегда в молчаливом ожидании...

Ну конечно. Я расскажу отцу. Кто, как не он, сумеет сохранить тайну?

Он поднял голову, когда я вошла. Лицо было опухшее и усталое, тело тяжело обвисло на узенькой кухонной табуретке, словно сделанное из теста. Меня охватила внезапная любовь и жалость — бедный Жан Большой, с печальными глазами и паузами. На этот раз все будет в порядке, подумала я. Ведь сейчас мне нужно только, чтобы он меня выслушал.

Я поцеловала его и села против него у стола. Такого уже давно не случалось, и мне почудилось, что тень удивления пробежала по его лицу. Я поняла, что со дня приезда сестры почти не разговаривала с ним. Ведь и он со мной тоже почти не говорил.

— Папа, мне ужасно жалко, — сказала я. — Ведь ты ни в чем не виноват, правда?

Я налила кофе нам обоим — машинально положила ему сахару, как он любит, — и села, откинувшись на спинку стула. Должно быть, отец забыл закрыть окно, потому что под абажуром крутились мотыльки и свет из-за этого мигал. Издали доносился запах моря — это поворачивался прилив.

Не помню, какую часть сказанного я произнесла вслух. В былые дни, в шлюпочной мастерской, мы иногда разговаривали без слов, с помощью своего рода эмпатии, или, по крайней мере, я думала, что это так. Движение головы, улыбка, отсутствие улыбки. Все эти знаки так много говорили тому, кто брал на себя труд их прочесть. В детстве молчание отца было для меня загадочно, почти божественно. Я читала его паузы, как жрец — внутренности. Положение кофейной чашки или салфетки говорило, что он мной доволен или, наоборот, недоволен; брошенная корка хлеба могла повлиять на события целого дня.

Но теперь все это было кончено. Я его любила; я его ненавидела. Я никогда не видела его по-настоящему. Теперь увидела: грустный молчаливый старик у стола. Каких дураков делает из нас любовь. Каких дикарей.

Моя ошибка была в том, что я считала: любовь надо заработать. Заслужить. Конечно, это говорил во мне остров: ничего не достается даром, за все надо платить. Но заслуги тут ни при чем. Иначе любили бы только святых. И я столько раз повторяла эту ошибку. С Жаном Большим. С матерью. С Флинном. Даже, может быть, с Адриенной. А больше всего с самой собой — я так тяжело трудилась, стараясь заслужить, желая быть любимой, заработать свое место под солнцем, свою горсть земли, что упустила самое важное.

Я накрыла его руку своей. Кожа была гладкая и стертая, как старый плащик.

Любовь моей матери была через край; моя же была скрытна, неподатлива. Это опять остров во мне, опять Жан Большой. Мы закапываемся, как моллюски. Открытость нас пугает. Я представила, как отец сидит на утесе и наблюдает за морем. Столько времени он там провел, ожидая, пока святая Марина выполнит свое обещание. Жан Большой никогда не верил по-настоящему, что Жан Маленький ушел навсегда Тело, найденное вместе с «Элеонорой» на Ла Гулю, столь же стертое и лишенное очертаний, как туша освежеванного тюленя, могло принадлежать кому угодно. Отцовский обет молчания — возможно ли, что отец заключил своего рода договор с морем, принес в жертву свой голос в обмен на возвращение брата? А может, молчание просто вошло в привычку, причуда укоренилась и наконец ему стало так трудно говорить, что в минуты

волнения он почти лишается дара речи?

Он уставился мне в глаза. Губы беззвучно двигались.

— Что? Что такое?

И тут мне показалось, что я расслышала — ржавый, почти беззвучный шепот. Жан Маленький. Выразительные руки сжались в отчаянии от неповоротливости языка

— Жан Маленький?

Он побагровел от натуги, пытаясь сказать мне, но звука не выходило. Двигались только губы. Он показал на стены, на окно. Руки немо порхали, изображая надвигающийся прилив. Отец изображал невероятно похоже — ссутулился, сунул руки в карманы. Бриман. Потом со значением показал рост — повыше и пониже. Большой Бриман, маленький Бриман. Потом взмахнул рукой в сторону Ла Гулю.

Я обняла его.

— Все хорошо. Не надо говорить. Все в порядке.

У меня было ощущение, словно я обнимаю деревянную статую — жестокую карикатуру на отца, сделанную небрежным скульптором. Губы, упершиеся в мое плечо, шевелились в колоссальном, непостижимом горе, дыхание едко пахло сигаретами «голуаз» и кофе. Даже держа его в объятиях, я чувствовала, как большие ладони шевелятся у боков, странно утонченными движениями, — он пытался объяснить мне что-то настолько важное, что не передать словами.

— Все в порядке, — повторила я. — Не обязательно говорить. Это не важно.

Он опять изобразил: «Бриман. Жан Маленький». Опять взмах в сторону Ла Гулю. Лодка? «Элеонора»? Он пронзительно смотрел на меня. Потянул меня за рукав, снова, еще настойчивей, повторил жест. Я никогда не видела его таким возбужденным. «Бриман. Жан Маленький. Ла Гулю. Элеонора».

— Если это так важно, напиши, — сказала я наконец. — Я сейчас найду карандаш.

Я порылась в кухонном ящике и наконец нашла огрызок красного карандаша и клочок бумаги. Отец посмотрел на них, но не взял. Я подтолкнула их к нему по столу.

Жан Большой покачал головой.

— Ну же. Прошу тебя. Напиши.

Он поглядел на бумагу. Карандашный огрызок выглядел нелепо маленьким меж его крупных пальцев. Он писал старательно, неуклюже, ни следа той ловкости, с какой он когда-то сшивал паруса и мастерил игрушки. Я, даже не поглядев на бумагу, кажется, уже догадалась, что он написал. На

моей памяти он никогда не писал ничего другого. Его имя: «Жан-Франсуа Прато», крупный, нетвердый почерк. Я и забыла, что его второе имя — Франсуа. Для меня и для всех остальных он всегда был Жан Большой. Он никогда не читал, только разглядывал рыболовные журналы с яркими картинками, никогда не писал — я вспомнила свои парижские письма, оставшиеся без ответа; я всегда полагала, что мой отец просто не любит писать. Теперь я поняла, что не умеет.

Я задумалась: а сколько еще у него тайн от меня? Может быть, даже мать не знала. Он сидел неподвижно, словно написание имени забрало у него все силы, руки расслабленно свесились по бокам. Я поняла, что он оставил попытки сообщить мне что-то. Неудача — а может, равнодушие — сгладили черты лица, превратив его в безмятежного Будду. Он снова устремил взгляд к Ла Гулю.

— Ничего, — повторила я, целуя его в прохладный лоб. — Ты не виноват.

Снаружи наконец пошел долгожданный дождь. Через несколько секунд дюну за домом охватили тысячи шорохов, они шипели и шептались, уходя к Ле Бушу через водомоинки в песке. Сугробы дюнных чертополохов блестели, коронованные дождем. Далеко на горизонте ночь развернула свой единственный черный парус.

Летние ночи никогда не бывают абсолютно темными, и небо уже светлело, когда я медленно шла обратно к Ла Гулю. Я пробралась через дюну, задевая щиколотками качающиеся пушистые «заячьи хвостики», и залезла на крышу блокгауза, чтобы посмотреть на прилив. На Бушу мигали два сигнальных огня — один зеленый, один красный, — обозначая положение рифа.

Он был такой прочный на вид. Крепко заякорен, и весь Ле Салан вместе с ним. Но теперь все изменилось. Он больше не наш. На самом деле он никогда не был наш. Он построен на деньги Бримана.

Но зачем это Бриману?

Бриман сам сказал: чтобы завладеть Ле Саланом. Земля тут еще дешева: если распорядиться ею с умом, она принесет выгоду. Только саланцы мешали, продолжая упрямо за нее цепляться.

На Колдуне долги священны. Вернуть долг — дело чести. Не вернуть — немислимо. Пляж поглотил все наши сбережения, столбики монет, спрятанные под половицами, и жестянки с банкнотами, отложенными на черный день.

Я опять вспомнила «железную свинью» в фроментинской шлюпочной мастерской и вопрос Капуцины: зачем Бриману покупать затопленную землю? А может, он не собирается ее застраивать, внезапно подумала я. Может, ему с самого начала нужна была затопленная земля.

Затопленная земля. Но зачем она ему? Какой ему от нее прок?

И тут меня осенило. Паромный порт.

Если Ле Салан затопит — а еще лучше, отрежет от Ла Уссиньера через Ла Буш, — тогда ручеек можно будет расширить, чтобы паром мог войти туда и встать на стоянку. Снести дома и затопить всю деревню. Места хватит на два парома, а может, и больше. Бриман сможет держать паромные переправы на все острова побережья, если захочет, обеспечивая Колдуну постоянный приток отдыхающих. Из порта в Ла Уссиньер и обратно можно пустить маршрутки, чтобы не занимать дорогую уссинскую землю.

Я опять посмотрела на Бушу — сигнальные огоньки спокойно мигали над водной гладью. Это собственность Бримана, сказала я себе. Двенадцать звеньев из старых автомобильных шин и авиационный трос, вцементированный в морское дно. Когда-то риф казался мне таким прочным; теперь меня поражала его беззащитность. Как мы могли

возлагать на него такие надежды? Конечно, мы тогда верили, что Флинн за нас. Думали, мы очень умные. Украли кусок «Иммортелей» у Бримана из-под носа. А Бриман все это время укреплял свои позиции, наблюдал за нами, помогал вылезти из скорлупы, втирался в доверие, поднимал ставки в ожидании момента, когда сможет сделать ход...

Внезапно меня охватила страшная усталость. Заболела голова. Где-то за Ла Гулю раздавался шум — тонко выл ветер в расщелинах, и воздух вдруг зазвучал по-иному: гулкий удар, страшно похожий на звон утонувшего колокола, а затем, в цезуре меж волнами, зловещая тишина.

Бриманов план, как любой плод вдохновения, был на самом деле очень прост. Я поняла, как наше процветание отдало нас в руки Бриману.

С запада дул теплый ветер, неся аромат цветов и соли. Подо мной блестела литораль в лучах ложного рассвета; море за ней лежало серой полосой, чуть светлее неба. «Элеонора-2» уже вышла в море, «Сесилия» плелась далеко у нее в фарватере. Лодки были крохотными по сравнению с нависшей над ними громадой туч и из-за расстояния казались совсем неподвижными.

Я вспомнила другую ночь, давным-давно — когда мы устанавливали риф. Тогда наш план казался невероятным, грандиозным, его размах вызывал благоговейный ужас. Украсть пляж. Переменить линию берега. Но план Бримана — идея, лежащая в его основе, — начисто затмевала мои скромные амбиции.

Украсть Ле Салан.

Ему остается лишь сделать последний ход, и деревня будет его.

6

— Знаю, куда ты наострилась в такую рань, — сказала Туанетта.

Я шла в деревню мимо ее дома. Во время прилива с моря пришел туман, и солнце затянулось дымкой, которая позже могла обернуться дождем. Туанетта в плотном плаще и перчатках кормила козу объедками. Наглая коза схватила меня губами за рукав *vareuse*, и я досадливо отпихнула ее.

Туанетта хихикнула.

— Солнечный удар, девочка, больше с ним ничего страшного не приключилось, хотя и это не подарок, с его-то жидкой северной кровью, но не смертельно. Э. Не смертельно. — Она ухмыльнулась. — Подожди пару дней, он будет как новенький и такой же пройдоха, как всегда. Ну что, успокоилась? Ты об этом хотела меня спросить?

Я не сразу поняла, о чем она. По правде сказать, я настолько погрузилась в свои заботы, что болезнь Флинна отступила на задний план — теперь, когда я знала, что он в безопасности, — и стала тупой болью где-то на задворках моего сознания. Такое неожиданное напоминание застало меня врасплох, и я почувствовала, что краснею.

— Вообще-то я хотела спросить, как поживает Мерседес.

— Я ей не даю бездельничать, — созналась старушка, оглянувшись на окна домика. — Целый день только этим и занимаюсь. А еще ходоков гоняю — молодой Дамьен Геноле целные сутки крутится вокруг дома, да еще Ксавье Бастонне все время тут околачивается, да ее мать приходила, орала как сто чертей — честное слово, если я ее еще раз увижу поблизости... А ты-то как?

Она пронзила меня взглядом.

— Ты что-то плохо выглядишь. Не болеешь, часом?

Я покачала головой.

— Не выпалась сегодня.

— Я и сама не очень-то выпалась. Но говорят, рыжим везет больше всех прочих. Так что не переживай. Я не удивлюсь, если он сегодня уже будет ночевать дома.

— Эй! Мадо!

Кричали у меня за спиной; я повернулась, обрадованная, что разговор прервался. Это шли Габи и Летиция с дневными припасами. Летиция повелительно махнула мне рукой с гребня дюны.

— Ты видела большую лодку? — прощепетала она.

Я покачала головой. Летиция неопределенно махнула рукой в сторону Ла Гулю.

— Она просто дзенская! Сходи погляди! — И ускакала в сторону пляжа, а Габи поплелась в фарватере.

— Привет Мерседес от меня, — сказала я Туанетте. — Передайте, что я о ней думаю.

— Э. — Кажется, Туанетта что-то заподозрила. — Я, пожалуй, пройду с тобой чуток. Погляжу на большую лодку, э?

— Ладно.

Корабль было хорошо видно и из деревни — длинный, низкий силуэт, полускрытый белым туманом, ползущим от мыса Грино. Для танкера маловат, для пассажирского судна — обводы не те; может, плавучий рыбозавод какой-нибудь, но мы знали наперечет все суда, которые мимо нас ходили, и это не был ни один из них.

— Может, он потерпел крушение? — предположила Туанетта, глядя на меня. — Или ждет прилива?

У ручейка Аристид и Ксавье чистили сети, и я спросила, что они думают по этому поводу.

— Может, это что-то связанное с медузами, — заявил Аристид, вытаскивая из одного садка большого краба-соню. — Он там стоял, еще когда мы в море выходили. Как раз на краю Нидпуля, здоровый, э, двигатели и все такое. Жожо Чайка говорит — правительственный.

Ксавье пожал плечами.

— Что-то великоват, на нескольких медуз. Это ж не конец света.

Аристид мрачно посмотрел на него.

— Несколько медуз, говоришь? Ты ничего не понимаешь. Последний раз, когда это случилось... — Он осекся и опять занялся сетью.

Ксавье нервно хохотнул.

— Во всяком случае, Рыжий должен поправиться, — сказал он. — Жожо мне сказал про это сегодня утром, я послал бутылку колдуновки.

— А я тебе велел не трепаться с Жожо, — сказал Аристид.

— Я не трепался...

— Занимался б ты лучше своим делом. Если б ты с самого начала так и делал, у тебя еще остались бы шансы с этой Просаж.

Ксавье отвернулся, покраснев под очками.

Туанетта возвела глаза к небу.

— Аристид, оставь парня в покое, э, — предостерегла она.

— Что ж, — буркнул Аристид, — я думал, что у сына моего мальчика

будет больше мозгов в голове.

Ксавье не обращал на них внимания.

— Ты ведь с ней говорила? — тихо спросил он, когда я повернулась, собравшись уходить. Я кивнула. — Как она выглядит?

— Какая разница, как она выглядит, э? — спросил Аристид. — Главное, ты ее стараниями выглядишь как полный идиот, это уж точно. А что до ее бабки...

Туанетта вдруг показала Аристиду язык — так внезапно и сердито, что я не могла не улыбнуться.

Ксавье не обращал на них внимания — беспокойство пересилило робость.

— С ней все в порядке? Она захочет повидаться со мной? Туанетта не говорит.

— Она растеряна, — ответила я. — Она пока сама не знает, чего хочет. Дай ей немного времени.

Аристид фыркнул.

— Ничего ей не надо давать! — взорвался он. — У нее был шанс, э. А теперь найдутся девушки и получше. Приличные.

Ксавье промолчал, но я видела его лицо.

— А моя Мерседес тебе неприличная? — вскинулась Туанетта.

Я быстро обняла ее за плечи.

— Пойдем. Что толку.

— Пускай он сперва возьмет свои слова обратно!

— Туанетта, ну пожалуйста.

Я опять посмотрела на корабль, странно зловещий силуэт на бледном горизонте.

— Кто это? — спросила я, почти про себя. — Что они тут делают?

Кажется, сегодня утром всей деревне было не по себе. Я зашла за хлебом в лавочку Просажей — за прилавком никого, а из задней комнаты доносятся раздраженные голоса. Я взяла, что мне нужно было, и оставила деньги у кассы. У меня за спиной Оме и Шарлотта продолжали спорить — голоса странно далеко разносились в неподвижном воздухе. Мать Гилена и Дамьена, повязав голову тряпкой, чистила клетки для омаров у живорыбного садка. У Анжело никого не было, кроме Матиа — он сидел в одиночестве над кофе с колдуновкой. Туристов тоже почти не попадалось — может, из-за тумана. Было душно, пахло дымом и надвигающимся дождем. Все были неразговорчивы.

Возвращаясь с покупками домой, я встретила Алена. Он, как и его жена,

выглядел осунувшимся и бледным. В зубах у него был зажат окурок «житан». Я поздоровалась кивком.

— Что, сегодня не рыбачите?

Ален покачал головой.

— У меня мальчишка пропал. Когда я его найду, он об этом сильно пожалеет.

Оказалось, Дамьен не ночевал дома. От гнева и беспокойства у Алена меж бровями и вокруг рта запали глубокие морщины.

— Он не мог далеко уйти, — сказала я. — Куда он денется с острова?

— Куда угодно, — мрачно ответил Ален. — Он забрал «Элеонору-2».

Они оставили ее пришвартованной на Ла Гулю, объяснил он. Ален с Гиленом собирались идти рано утром на Ла Жете — проверить, есть ли там еще медузы.

— Я думал, мальчик захочет пойти с нами, — горько сказал он. — Надеялся, что его это отвлечет от разных мыслей.

Но когда они явились на пляж, «Элеонору-2» уже не было. Вообще никаких следов — а маленькая плоскодонка, на которой они добирались до лодки во время прилива, была пришвартована к бую.

— Что это ему в голову взбрело? — спросил Ален. — Лодка слишком большая — он один с ней не справится. Он ее разобьет. И куда его могли черти понести в такую погоду?

Я вспомнила, что видела «Элеонору-2» сегодня утром со своего наблюдательного пункта — крыши блокгауза. В котором часу? В три? В четыре? «Сесилия» тоже выходила в море, но лишь затем, чтобы проверить садки для омаров, установленные в заливе: тогда уже начинал спускаться туман, а уж Бастонне знают, что в такую погоду лучше не соваться к банкам.

Когда я сказала об этом Алену, он побледнел.

— Что это парню в голову стукнуло? — застонал он. — Вот уж я до него доберусь... Как ты думаешь, он не затеял какую-нибудь настоящую глупость? Вроде как податься на материк?

Ну, это вряд ли. «Бриману-1», чтобы дойти до нас от Фроментина, нужно три часа, и по дороге есть несколько довольно опасных мест.

— Не знаю. А с чего бы вдруг?

— Я с ним поговорил начистоту кой о чем. А мальчишки, они такие. — Некоторое время он разглядывал костяшки пальцев. — Может, я чуть перехватил. И еще он забрал с собой кое-что из своих вещей.

— Ого. — Похоже, дело было серьезное.

— Откуда я знал, что он такой дурак? — взорвался Ален. — Я тебе

говорю, дай только доберусь до него...

Он прервался — голос был как у усталого старика.

— Мадо, если с ним что-нибудь случится... Если с Дамьеном что-нибудь случится. Ты ведь скажешь мне, если его увидишь, правда?

Он пронзительно поглядел на меня глазами, сощуренными от беспокойства.

— Он тебе доверяет. Скажи ему, я не буду сердиться. Я просто не хочу, чтобы он попал в беду.

— Скажу, — пообещала я. — Да я уверена, он где-то недалеко.

К полудню туман чуть поднялся. Небо сменило цвет на застиранно-серый, подул ветер, и опять начался прилив. Я медленно шла к Ла Гулю, беспокоясь гораздо сильнее, чем позволила себе показать во время бодрого прощания с Аленом. Со дня медуз мне казалось, что все на грани развала, даже погода и приливы сговорились против нас. Словно Флинн, как гаммельнский крысолов, ушел и увел с собой нашу удачу.

Когда я дошла до Ла Гулю, оказалось, что пляж почти безлюден. Сначала я удивилась, потом вспомнила про оповещение насчет медуз и увидела белую кайму у края воды — слишком густую для пены. Приливом принесло десятки медуз — они, умирая, постепенно теряли прозрачность. Потом придется вооружиться сачками и граблями и устроить уборку. И — поскольку эти твари так опасны — чем раньше, тем лучше.

У самой полосы прибоя кто-то стоял и глядел на воду — почти на том же месте, где прошлой ночью Дамьен. Это мог быть кто угодно — выцветшая *vareuse*, лицо закрыто широкими полями соломенной шляпы, — но я знала, кто это.

— Здравствуй, Жан-Клод. Или тебя теперь звать Бриман-два?

Он, должно быть, слышал, как я подошла, поскольку не удивился.

— Мадо. Марэн мне сказал, что ты в курсе.

Он подобрал с песка кусок пла́вника и стал тыкать им в подышающую медузу. Я заметила, что рука в рукаве *vareuse* забинтована.

— Все не так плохо, как ты думаешь, — сказал он. — Никого не бросят на произвол судьбы. Поверь мне, абсолютно все саланцы в результате только выиграют. Неужели ты думаешь, я способен допустить, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое?

— Я не знаю, на что ты способен, — холодно сказала я. — Я даже не знаю, как тебя теперь называть.

Это его явно задело.

— Можешь называть Флинном, — ответил он. — Это фамилия моей матери. Мадо, ничего не изменилось.

Голос его звучал настолько мягко, что я чуть не расплакалась. Я закрыла глаза, снова впуская в себя холод, радуясь, что он не попытался меня коснуться.

— Все изменилось! — Я услышала, что мой голос повышается, но не могла ничего поделать. — Ты нас обманул! Ты меня обманул!

Его лицо застыло. Мне показалось, что у него больной вид — бледное, осунувшееся лицо. Левая скула еще хранит след от солнечного ожога. Углы рта слегка опущены.

— Я говорил тебе то, что ты хотела слышать, — сказал он. — Я делал то, что ты хотела. Ты была вполне довольна результатами.

— Но ты ведь не для нас это делал, так? — Я не могла поверить, что он пытается оправдать свое предательство. — Ты о себе заботился. И это окупилось, верно? Партнерство с Бриманом и оборотный капитал?

Флинн внезапно злобно пнул блеклую тварь, валявшуюся у его ног.

— Ты понятия не имеешь, каково мне пришлось, — сказал он. — Тебе никогда ничего другого не было нужно. Тебя совершенно не волновало, что ты живешь в чужом доме, где некому о тебе позаботиться, что у тебя нет ни собственных денег, ни нормальной работы, ни будущего. А я хотел большего. Если бы я хотел так жить, я бы остался в Керри.

Он посмотрел под ноги, на подышающую медузу, и снова пнул ее.

— Мерзкие твари. — Внезапно он поднял голову и посмотрел на меня с вызовом. — Мадо, скажи мне честно. Ты никогда не задаешься вопросом: а что бы ты делала, если бы все было по-другому? Неужели тебе этого никогда не хотелось, совсем-совсем?

Я игнорировала вопрос.

— Но почему Ле Салан? Почему бы тебе не сидеть спокойно в Ла Уссиньере, занимаясь своим делом?

Он скривил губы.

— С Бриманом непросто. Он хочет, чтобы все было под его контролем. Он меня не с распростертыми объятиями принял, знаешь ли. На все это понадобилось время. Планы. Труд. Он мог держать меня в подвешенном состоянии годами. Его бы это вполне устроило.

— Значит, ты нам позволял о себе заботиться, а сам тем временем использовал нас, чтобы взять верх над Бриманом.

— Я за все расплатился! — Кажется, он был по-настоящему зол. — Отработал. Я никому из вас ничего не должен.

Он рубанул воздух здоровой рукой, и стая испугнутых чаек взлетела, пронзительно крича.

— Ты не знаешь, каково мне пришлось, — повторил он, уже потише. — Я полжизни прожил в бедности. Моя мать...

— Но ведь Бриман посылал вам деньги, — запротестовала я.

— Деньги на... — Он прервался и закончил фразу безжизненным голосом: — Мало. Слишком мало.

Я презрительно посмотрела на него, и он встретил мой взгляд с

ВЫЗОВОМ.

Облаком опустилась тишина.

— Ну так что? — Я постаралась, чтобы мой голос звучал безо всякого выражения. — Когда это случится? Как скоро ваши люди демонтируют Ле Бушу?

Он растерялся.

— Кто тебе сказал, что это должно случиться?

Я пожала плечами.

— Это же совершенно очевидно. Все должны Бриману деньги. Все рассчитывают на хорошую прибыль от летнего сезона. Будет куча денег, и они расплатятся с долгами. Но если не будет рифа, людям придется продать землю задешево, чтобы расплатиться; еще год, и тут все будет принадлежать Бриману. Тогда ему останется только подождать, чтобы приливы опять разнесли эту часть острова, и приступить к постройке паромного порта. Я верно угадала?

— Достаточно верно, — признал он.

— Сволочь, — сказала я. — Это ты придумал или он?

— Я. Точнее, ты. — Он пожал плечами. — Если можно украсть пляж, то почему не деревню? Почему бы не целый остров? Бриман и так уже владеет чуть не половиной острова. И, можно сказать, управляет второй половиной. Он уже произвел меня в компаньоны. А теперь...

Он увидел мое лицо и осекся.

— Мадо, не надо на меня так смотреть, — сказал он. — Все не так плохо, как ты думаешь. Для любого, кто хочет сделать выбор, есть выбор.

— Какой?

Флинн повернулся ко мне, сверкая глазами.

— Ах, Мадо, ну неужели ты в самом деле думаешь, что мы такие изверги? — сказал он. — Ему нужны рабочие. Подумай, что значит для острова паромный порт. Работа. Деньги. Жизнь. У всех саланцев будет работа. Лучше, чем все, что у них было до сих пор.

— Не за так, я полагаю.

Мы оба знали, каковы будут условия Бримана.

— Ну и что? — Кажется, голос его наконец зазвучал так, словно он оправдывается. — Что в этом плохого? Все будет при деле — хорошие деньги, оживление в торговле. Сейчас тут сплошной раздрай, каждый тянет в свою сторону. Земля пропадает без дела, потому что некому финансировать, некому возглавить предприятие. Бриман мог бы все изменить. И вам это прекрасно известно; только гордость и упрямство не дают вам это признать.

Я уставилась на него. Просто не могла ничего поделать: он будто и вправду верил в то, что говорил. На миг он меня почти убедил. Так заманчиво — порядок из хаоса. Дешевый прием, мимолетное обаяние — словно краткий блик солнца на воде, что цепляет глаз, лишь на долю секунды, но достаточно, чтобы проглядеть скалы прямо по носу, и это иногда оказывается смертельно.

— А как же старики? — Я заметила брешь в его рассуждениях. — Те, кто не сможет внести свой вклад или не захочет?

Он пожал плечами:

— Есть же еще «Иммортели».

— Они саланцы. Они на это никогда не пойдут. Я знаю, что не пойдут.

— Думаешь, у них будет выбор? — Флинн увидел мое лицо и улыбнулся. — Скоро мы это так или иначе узнаем. Сегодня собрание, в баре у Анжело.

— Да, чем быстрее, тем лучше, пока береговая инспекция все еще здесь.

Он посмотрел на меня с восхищением:

— А, ты, значит, видела судно.

— Без него ты бы вряд ли осмелился демонтировать Бушу, — презрительно сказала я. — Но, как ты мне сам когда-то объяснял, это незаконное сооружение. Оно построено без плана. Оно принесло вред. Только словечко шепнуть кому надо, а потом сидеть и смотреть, как бюрократы сами за вас все сделают.

Я не могла не признать, что это элегантное решение. Саланцы боятся чиновников, власть внушает им священный трепет. Скрепка для бумаг победит там, где динамит был бы бессилён.

— Мы не собирались ничего делать так рано, но потом нам все равно понадобился бы предлог, чтоб их вызвать, — сказал Флинн. — Нашествие медуз было достаточно подходящим предлогом. Жаль только, что жертвой оказался я.

Он поморщился и показал перевязанную руку.

— Ты будешь на сегодняшнем собрании? — спросила я, игнорируя его слова.

Флинн улыбнулся.

— Вряд ли. Я, может быть, вернусь на материк: буду оттуда управлять своей частью бизнеса. Боюсь, саланцы мне будут не особенно рады, когда Бриман расскажет им, кто я.

Мгновение я была совершенно уверена, что он позовет меня уехать вместе с ним. Сердце трепыхалось, как умирающая рыба, но Флинн уже

отвернулся. Я ощутила смутное облегчение, что он меня не позвал; по крайней мере, четко дал понять, что все кончено, и перестал притворяться.

Молчание легло между нами океаном. Далеко за отмелями шипели волны. Удивительное дело, я почти ничего не чувствовала; я была пуста, как высохший полый кусок плавника, легка, словно пена. Облачная дымка опоясала солнце блестящей лентой. Щурясь в обманчивом свете, я, кажется, увидела лодку, далеко на Ла Жете; я подумала про «Элеонору-2» и пригляделась внимательнее, но на том месте уже ничего не было.

— Все будет хорошо, честное слово, — сказал Флинн. Его голос словно встряхнул меня и рывком вернул в самое себя. — Для тебя всегда найдется работа. Бриман поговаривает о том, чтобы открыть для тебя художественный салон в Ла Уссиньере, а может, и на материке. Я прослежу, чтобы он нашел тебе хороший дом. Тебе там будет лучше, чем когда-либо было в Ле Салане.

— Тебе-то что за печаль? — бросила я ему в лицо. — Ты, кажется, и без того хорошо устроился!

Он поглядел на меня, и лицо его замкнулось.

— Да, — сказал он наконец жестким, бодрым голосом. — Я в порядке.

На собрание я опоздала. К девяти уже все кончилось, если не считать крика, впрочем, его и до этого хватало. Голоса на повышенных тонах, топанье ногами и грохот по столам было слышно еще с Атлантической улицы. Заглянув в окно, я увидела Бримана — он стоял у бара с рюмкой колдуновки в руках и выражением лица снисходительного учителя в расшумевшемся классе.

Флинна не было. Я и не думала, что он будет — его присутствие, без сомнения, довело бы и без того разозленную толпу до восстания или убийства, — но я ощутила, как от его отсутствия у меня странно сжалось сердце. Я разозлилась сама на себя и стряхнула это чувство.

Еще кое-кто отсутствовал: не было Геноле и Просажей — видно, до сих пор обшаривают остров в поисках Дамьена, — а также Ксавье и Жана Большого. Если не считать их, тут, кажется, собрался весь Ле Салан, даже жены и дети. Люди стеснились толпой; дверь подперли в открытом положении, чтобы освободить еще немного места; столы шатались, потому что на них напирала толпа; у бара люди стояли в шесть рядов. Неудивительно, что у Анджело был ошалелый вид: сегодня ему светила рекордная выручка.

Снаружи прилив почти достиг высшей точки; шквалистые каракули багровых туч закрыли горизонт. Ветер тоже слегка переменялся; отклонился к югу, как часто бывает перед бурей. Похолодало.

Я все еще стояла у окна, пытаюсь разобрать отдельные голоса, — мне не хотелось входить внутрь. Я видела неподалеку Аристиды, Дезире была с ним и держала его за руку; рядом с ними я заметила Филиппа Бастонне и его семью, включая даже Легацию и пса Петроля. Я не видела, чтобы Аристид говорил непосредственно с Филиппом, но в позе старика было меньше агрессии, он чуть обмяк, словно из него вынули главную подпорку. С тех пор как до старика дошли новости о Мерседес, он стал не так самоуверен, вид у него был растерянный и жалкий, несмотря на всю его обычную грубость.

Внезапно с ручейка позади меня донесся шум. Я повернулась и увидела Ксавье Бастонне и Гилена Геноле — они спускались с дюны, очень спеша, вместе, с мрачными лицами. Они меня не видели, но сразу направились к *étier*, сейчас разбухшему от соленых вод прилива, к месту швартовки «Сесилии».

— Неужто вы собрались выходить в море? — крикнула я, видя, что Ксавье начал выбирать швартовы. Гилен, мрачный, присоединился к нему.

— У Ла Жете видели лодку, — кратко сказал он. — В тумане ничего не разберешь, надо туда идти.

— Не говори моему дедушке, — сказал Ксавье, сражаясь с мотором. — Он с ума сойдет, если узнает, что я пошел с Гиленом, да еще в такую ночь. Он всегда говорил, что это беспечность Геноле погубила моего отца. Но если Дамьен там застрял и не может вернуться...

— А что же Ален? — спросила я. — Вам ведь нужен хотя бы еще один человек?

Гилен пожал плечами.

— Он ушел в Ла Уссиньер с Матиа. Время поджимает. А если мы сможем дойти туда на «Сесилии», пока не поднялся ветер...

Я кивнула.

— Тогда — удачи. Будьте осторожны.

Ксавье робко улыбнулся.

— Может, кто-нибудь передаст Алену и Матиа в Ла Уссиньер, куда мы пошли.

Небольшой мотор наконец зарычал и ожил. Пока Гилен держал гик «Сесилии», Ксавье правил, осторожно выводя лодочку меж укрепленных деревьев берегов ручейка к Ла Гулю и дальше в открытое море.

Мне не хотелось объясняться с Аристидом по поводу исчезновения Ксавье и «Сесилии», поэтому я решила сама передать Алену сообщение. Когда я дошла до Ла Уссиньера, уже совсем стемнело. И похолодало; ветер, который в низинном Ле Салане был шквальным, тут, на южной оконечности острова, гудел в проводах и трепал флаги. Небо было взбудоражено, бледную полосу над пляжем уже наполовину поглотили ярко-фиолетовые грозовые тучи; волны украсились белыми галунами; птицы попрятались в ожидании бури. Жожо Чайка выходил с эспланады, неся плакат, гласящий, что из-за неблагоприятного прогноза погоды вечерний рейс «Бримана-1» во Фроментин отменяется; за ним шла пара сердитых протестующих туристов с чемоданами.

Ни Алена, ни Матиа на эспланаде не было. Я стояла на волноломе и, щурясь, глядела на «Иммортели», чуть дрожа и сожалея, что не надела куртку. Из кафе за моей спиной послышался внезапный взрыв голосов, словно дверь открыли.

— Да это же Мадо, *ta soeur*, э, пришла к нам в гости.

— Малютка Мадо, замерзла, э, видно, совсем-совсем замерзла.

Это были старушки-монахини, сестра Экстаза и сестра Тереза — они вышли из «Черной кошки» с чашками, в которых, судя по всему, был кофе с колдуновкой.

— Мадо, может, ты внутрь зайдешь, э? Выпьешь чего-нибудь горяченького?

Я покачала головой.

— Спасибо, мне и так неплохо.

— Опять этот гадкий южный ветер, — сказала сестра Тереза. — Это он опять пригнал медуз, так Бриман говорит. Их нашествие бывает каждые...

— ...тридцать лет, *ta soeur*, когда приходят приливы с Бискайского залива. Гадкие твари.

— Помню, когда это прошлый раз случилось, — сказала сестра Тереза. — Он все ждал и ждал на «Иммортелях», наблюдал за приливами...

— Но она так и не вернулась, правда, *ta soeur*? — Обе монахини покачали головами. — Нет, не вернулась. Совсем-совсем. Никогда.

— О ком это вы? — спросила я.

— О той девушке, конечно. — Монахини посмотрели на меня. — Он был в нее влюблен. Они оба были в нее влюблены, эти братцы...

Братцы? Я в изумлении посмотрела на монахинь.

— Вы про моего отца и Жана Маленького?

— Летом Черного года. — Сестры опять кивнули и расплылись в улыбках. — Мы это совершенно точно помним. Тогда мы были молоды...

— Во всяком случае, моложе...

— Она сказала, что уезжает. Она дала нам письмо.

— Кто? — растерянно спросила я.

Сестры воззрились на меня черными глазками.

— Та девушка, кто же еще, — нетерпеливо сказала сестра Экстаза. — Элеонора.

Я была так ошарашена, услышав это имя, что даже звук колокола до меня не сразу дошел; колокол бил на той стороне гавани, и звук резко отдавался от воды, словно камушек отскакивал. Кучка народу вывалила из «Черной кошки» — поглядеть, что случилось. Кто-то налетел на меня, его напиток разлился; когда я опять подняла глаза, кучка народу уже рассеялась, а сестра Тереза и сестра Экстаза исчезли.

— Чего это отец Альбан трезвонит в этакий час? — лениво спросил Жоэль с сигаретой, прилипшей к губе. — Вроде не время для обедни?

— Вряд ли, — сказал Рене Лойон.

— Может, пожар, — предположил Люка Пино, кузен мэра.

Решили, что пожар — наиболее вероятное объяснение; на маленьких островках вроде Колдуна служб экстренной помощи как таковых не существует, и часто звон церковного колокола — лучший способ поднять тревогу. «Пожар!» — завопил кто-то, и народ опять забегал, еще больше посетителей кафе начало толкаться в дверях, но Люка тут же сказал, что в небе не видно зарева и дымом не пахнет.

— Мы ведь звонили в колокол в пятьдесят пятом, э, когда в старую церковь ударила молния, — заявил старик Мишель Дьедонне.

— Там, за «Иммортелями», что-то есть, — сказал Рене Лойон, глядевший со стены волнолома. — Там, на скалах.

Это была лодка. Теперь, когда мы знали, куда смотреть, ее было совершенно ясно видно. Метрах в ста от берега, застряла на тех же скалах, где в прошлом году погибла «Элеонора». У меня перехватило дыхание. Паруса видно не было, и на таком расстоянии нельзя было понять, не одна ли это из наших саланских лодок.

— Дело дохлое, — авторитетно заявил Жоэль. — Должно быть, она там уже несколько часов сидит. Поздно поднимать тревогу.

Он раздавил сапогом окурочек.

Жожо Чайка не согласился.

— Надо попробовать направить туда свет, — предложил он. — Может, с нее еще что-нибудь можно снять. Я приведу тягач.

Под стеной волнолома уже начали собираться люди. Церковный колокол, сделав свое дело, умолк. Тягач Жожо рывками пробирался по неровному пляжу туда, где кончался песок; мощные фары светили на воду.

— Теперь видно, — сказал Рене. — Лодка пока целая, но это ненадолго. Мишель Дьедонне кивнул.

— Сейчас прилив слишком высоко, до нее не доберешься, даже с «Мари-Жозеф». Да еще при шквальном ветре... — Он выразительно развел руками. — Не знаю, чья это лодка, но она, считай, пропала.

— О боже! — Поль Лакруа, мать Жоэля, стояла над нами на эспланаде. — Там кто-то в воде!

Все лица обратились к ней. Свет фар от тягача был слишком ярк; он отражался от воды, и среди бликов можно было различить только корпус лодки.

— Выключите фары! — заорал мэр Пино, только что прибывший вместе с отцом Альбаном.

Глаза не сразу привыкли к темноте. Теперь море было черным, а лодка — цвета индиго. Напрягая взгляд, мы пытались различить в волнах бледный силуэт.

— Я вижу руку! Там человек в воде!

Невдалеке от меня, слева, кто-то вскрикнул, и я узнала голос. Я повернулась и увидела мать Дамьена — лицо, искаженное отчаянием, под толстым островным платком. Ален стоял на стене волнолома с биноклем, хотя из-за южного ветра в лицо и усиливающегося волнения он, скорее всего, видел не больше всех остальных. Рядом с ним стоял Матиа и беспомощно глядел на воду.

Мать Дамьена увидела меня и побежала по пляжу, хлопая полами пальто.

— Это «Элеонора-два»! — Она, задыхаясь, цеплялась за меня. — Это она, я знаю! Дамьен!

Я попыталась ее успокоить.

— Еще неизвестно, кто это, — сказала я спокойно, насколько могла. Но утешить ее было невозможно. Она запричитала на высокой воющей ноте — полуплач-полуслова. Я разобрала лишь несколько раз повторенное имя ее сына. Я поняла, что не сказала про Ксавье и Гилена, ушедших на «Сесилии», но мне пришло в голову, что заговорить об этом сейчас — значит лишь ухудшить дело.

— Если там кто-то есть, надо попытаться его спасти, э?

Это был мэр Пино, полупьяный, но храбро пытающийся взять на себя руководство ситуацией.

Жожо Чайка покачал головой.

— Только не на моей «Мари-Жозеф», — непреклонно сказал он.

Но Ален уже бежал по дорожке, ведущей с эспланады к гавани.

— Попробуй мне помешать, — крикнул он.

Без сомнения, только у «Мари-Жозеф» хватило бы остойчивости, чтобы добраться до застрявшей на скалах лодки, но и для нее в такую погоду эта операция была почти невозможной.

— Там никого нет! — негодуяще завопил Жожо, устремляясь по пляжу за Аленом. — Ты не можешь выйти в ней один!

— Тогда ты иди с ним! — настойчиво сказала я. — Если мальчик там...

— Если так, то ему конец, — пробормотал Жоэль. — Нет смысла тонуть вместе с ним.

— Тогда я пойду!

Я помчалась, перепрыгивая через две ступеньки, по лестнице, ведущей к улице Иммортелей. Лодку выбросило на скалы; саланец в опасности. Несмотря на тревогу, мое сердце пело. Яростная радость охватила меня — вот что значит быть островитянином, вот что значит быть своим — нигде больше не найдешь такой верности, такой каменной, нерушимой любви.

Рядом со мной бежали другие — я увидела отца Альбана и Матиа Геноле, я так и думала, что он будет где-то поблизости; за ними топал Оме, настолько быстро, насколько мог, Марэн и Адриенна смотрели из освещенного окна «Ла Маре». Кучки уссинцев смотрели, как мы бежим, кто-то растерянно, другие — недоверчиво; мне было все равно. Я бежала к гавани.

Ален был уже там. Люди смотрели на него с пристани, но мало кто, кажется, готов был составить ему компанию на «Мари-Жозеф». С улицы закричал Матиа; за ним раздавались еще крики. Мужчина в выцветшей *vareuse*, стоявший спиной ко мне, зарифлял паруса «Мари-Жозеф»; когда со мной поравнялся запыхавшийся Оме, мужчина повернулся, и я узнала Флинна.

У меня не было времени отреагировать. Он встретился со мной глазами и отвернулся, почти равнодушно. Ален уже устраивался у штурвала. Оме сражался с незнакомым двигателем. Отец Альбан на пристани пытался успокоить мать Дамьена, которая, совсем запыхавшись, прибежала на минуту позже остальных. Ален окинул меня кратким взглядом, словно оценивая, гожусь ли я в помощники, потом кивнул.

— Спасибо.

Люди еще толпились вокруг — кое-кто пытался помочь как мог. В «Мари-Жозеф» полетели разные предметы — словно бы как попало: багор, бухта каната, ведро, одеяло, электрический фонарик. Кто-то протянул мне фляжку бренди; кто-то другой дал Алену рукавицы. Когда мы уже отваливали, Жожо Чайка швырнул мне свою куртку.

— Только постарайся ее не намочить, э? — сварливо крикнул он.

Выйти из гавани было обманчиво просто. Хотя лодку немного качало, гавань была почти полностью укрыта от ветра, и нам нетрудно было выбраться по узкому центральному проходу в открытое море. Кругом качались на волнах буйки и ялики; я, наклонясь вперед с носа, отталкивала их с дороги.

Потом нас ударило морем. За время наших недолгих сборов поднялся ветер; теперь он гудел в тросах и осыпал нас брызгами, жесткими, как гравий. «Мари-Жозеф» была славной рабочей лошадкой, но совершенно не подходила для такой погоды. У нее была низкая осадка, как у устричной лодки; волны перекатывались через нос. Ален выругался.

— Ты ее еще не видишь? — крикнул он Оме.

Оме покачал головой.

— Что-то вижу, — крикнул он, перекрывая шум ветра. — Еще не знаю, это «Элеонора-два» или нет.

— Разверни ее! — Голос было едва слышно. Вода слепила. — Нам надо зайти прямо против ветра!

Я поняла, что он имеет в виду. Идти прямо против ветра сложно; но если нас развернет, то при такой высоте волн они нас просто опрокинут. «Элеонора-2» — если это она — была едва различима из-за бешено взбитой пены вокруг. Человека, которого мы раньше вроде бы заметили в воде, не было видно.

Через двадцать минут я бы не могла сказать, продвинулись ли мы хоть на несколько десятков метров; ночью расстояния обманчивы, а все наше внимание было устремлено на море. Я смутно помнила о присутствии Флинна — он на дне лодки вычерпывал воду, но мне некогда было об этом думать или вспоминать последний раз, когда мы с ним были вместе в похожей ситуации.

Я все еще видела свет на «Иммортелях», и мне казалось, что я различаю доносящиеся издали голоса. Ален светил фонариком в море; вода в слабом свете казалась серо-бурой, но я наконец увидела покалеченную лодку, теперь уже рядом, узнаваемую, она, почти переломленная пополам, лежала на гребне скалы.

— Это она! — Ветер украл боль из голоса Алена; голос показался мне тонким и далеким, словно свист камышинки. — Осторожно!

Последнее слово было обращено к Флинну, который продвинулся так далеко вперед, что почти свисал с носа «Мари-Жозеф». На миг я что-то заметила в воде, что-то бледное, но не пену. Оно показалось на миг, потом ушло дальше вместе с волной.

— Там кто-то есть! — закричал Флинн.

Ален метнулся на нос, оставив Оме управлять лодкой. Я схватила конец и бросила за борт, но ветер злобной когтистой лапой подхватил веревку и швырнул, мокрую, мне в лицо, яростно хлестнув по глазам. Я отскочила — из плотно сжатых глаз покатались слезы. Когда я наконец опять смогла открыть глаза, мир показался мне до странности размытым; все расплывалось, я едва могла различить Флинна и Алена, цепляющихся друг за друга в отчаянном гимнастическом упражнении, в то время как море дергало нас и швыряло вниз. Оба промокли до нитки; Ален привязался за щиколотку, чтобы его не смыло в море; Флинн с веревочной петлей в руках высунулся за борт, упершись одной ногой в живот Алена, а другой — в борт «Мари-Жозеф», погрузив широко разведенные руки в бурлящую воду. Что-то белое промелькнуло мимо; Флинн попытался его схватить, но промахнулся.

За спиной у нас Оме пытался удержать лодку носом к ветру. «Мари-Жозеф» тошнотворно качало; Ален шатался; волна окатила обоих и накренила лодку на бок. Нас обдало душем холодной воды. На миг я испугалась, что обоих смоем за борт; нос «Мари-Жозеф» осел, выдаваясь из моря едва на сантиметр. Я изо всех сил вычерпывала воду, и тут надвинулись скалы, страшно близко. Потом ужасно заскрипел корпус лодки, что-то заскрежетало и треснуло, словно молния ударила. Мы напряглись в ожидании, но это подался корпус «Элеоноры-2», ей наконец переломило хребет, и она распалась надвое на пенящихся скалах. Но и мы не были в безопасности — нас несло на дрейфующие обломки. Я почувствовала, как что-то задело борт лодки. Кажется, днище за что-то зацепило, но потом нас приподняло волной, ровно настолько, чтобы «Мари-Жозеф» обогнула скалу, и Оме оттолкнул багром обломки кораблекрушения. Я подняла голову: Ален все еще стоял на носу, но Флинна не было. Это длилось лишь секунду; я хрипло вскрикнула от облегчения, увидев, как он выныривает из водяной стены с чем-то в руках — с веревочной петлей. Что-то мелькнуло в воде, и Флинн с Аленом начали вытягивать это в лодку. Что-то белое.

Как мне ни хотелось узнать, что там, надо было продолжать

вычерпывать; «Мари-Жозеф» уже набрала столько воды, что дальше некуда, и мы все были заняты. Я услышала крики и рискнула поднять голову, но из-за спины Алена мне было мало что видно. Я вычерпывала воду не меньше пяти минут, или пока мы не отошли подальше от этих страшных скал. Мне показалось, что с «Иммортелей» донеслись далекие, едва слышные ободряющие крики.

— Кто это? — крикнула я.

Ветер выхватил голос у меня изо рта. Алена не повернулся. Флинн на дне лодки боролся с брезентом. Брезент почти полностью закрывал мне обзор.

— Флинн!

Я знала, что он услышал; он быстро оглянулся на меня, потом отвернулся. Что-то в его лице подсказало мне, что новости плохие.

— Это Дамьен? — снова закричала я. — Он жив?

Флинн оттолкнул меня рукой, еще обвязанной промокшим насквозь бинтом.

— Без толку, — крикнул он, едва слышно на фоне ветра. — Все кончено.

Прилив бил нам в корму, и мы довольно быстро продвигались к гавани; мне уже казалось, что волны стали пониже. Оме вопросительно поглядел на Алена; Алена ответил непонимающим, растерянным взглядом. Флинн не смотрел ни на кого из них; взамен он взял ведро и начал вычерпывать воду, хотя это уже и не нужно было.

Я схватила Флинна за руку и заставила его посмотреть мне в лицо.

— Ради бога, Флинн, скажи, это Дамьен?

Все трое посмотрели на брезент, потом на меня. На лице Флинна было сложное, непонятное выражение. Он посмотрел на свои руки, до крови ободранные мокрыми канатами.

— Мадо, — наконец произнес он. — Это твой отец.

Все это помнится мне беззвучной картиной — яростным Ван Гогом, с закрученными спиралью фиолетовыми небесами и расплывчатыми лицами. Я помню, лодка дергалась, как сердце. Помню, как прижала руки к лицу и видела кожу, бледную, набухшую складками от морской воды. Может быть, я упала.

Жан Большой лежал, наполовину прикрытый брезентом. Я впервые ощутила, какой он на самом деле огромный, какой тяжелый — мертвой тяжестью. Он где-то потерял ботинки, и ступни по сравнению с остальным телом были странно маленькие, почти утонченные. Когда рассказывают про покойников, часто говорят, что они как будто спят, покоятся. Жан Большой выглядел как зверь, погибший в капкане. Тело было на ощупь резиновое, как свинина в мясной лавке, рот открыт; желтые зубы обнажены в усмешке, словно в последний момент, перед лицом смерти, он наконец обрел голос. Я не чувствовала того онемения, про которое часто рассказывают родственники усопших; милосердного чувства нереальности происходящего. Вместо этого меня охватил прилив ужасного гнева.

Как он посмел? После всего, что мы пережили вместе, как он посмел? Я ему доверяла, доверялась, пыталась начать все заново. И вот, значит, что он обо мне думал? Вот что он думал о себе?

Кто-то взял мою руку; я колотила холодное мокрое тело кулаками; на ощупь оно было как мясо. «Мадо, пожалуйста». Это был Флинн. Меня опять охватил гнев; не раздумывая, я резко повернулась и ударила его в зубы. Он отскочил; я попятилась, споткнулась и упала на палубу. Перед глазами мелькнул Сириус, на миг показавшись из-за облака. Звезды удвоились, утроились, наполнили небо.

Позже я узнала, что Дамьен нашелся на грузовом складе «Бримана-1», голодный, холодный, но невредимый. Очевидно, он хотел зайцем пробраться на паром и сбежать на материк, но рейс отменили.

Гилен и Ксавье так и не добрались до «Иммортелей». Они много часов пытались это сделать, но в конце концов им пришлось высадиться на Ла Гулю; они вернулись в деревню почти в одно время с добровольцами из Ла Уссиньера.

Мерседес ждала. Она встретила в деревне Аристида, и они как следует поорали друг на друга, отбросив всякие соображения о приличии. Встреча Мерседес с Гиленом и Ксавье оказалась более сдержанной. Оба молодых

человека устали донельзя, но ощущали странную радость. Их усилия в море оказались бесплодными, но ясно было, что они достигли нового взаимопонимания. Некогда злейшие соперники, теперь они снова стали почти друзьями. Аристид принялся ругать внука за то, что он взял «Сесилию», но Ксавье (кажется, впервые) не очень-то испугался. Вместо этого он отвел в сторону Мерседес, улыбаясь — совсем не похоже на его обычную застенчивую улыбку, — и, хотя говорить о примирении было еще слишком рано, Туанетта втайне надеялась на благоприятный исход.

Я простыла на «Мари-Жозеф», и за ночь простуда перешла в воспаление легких. Может, поэтому я почти ничего не помню из того, что было дальше, — лишь несколько неподвижных набросков выцветшей сепией. Тело отца в одеяле спускают на веревках на набережную. Всегда сдержанные Геноле обнимают друг друга яростно, совершенно не стыдясь проявления чувств. Отец Альбан терпеливо ждет, ряса подоткнута над рыбацкими сапогами. Флинн.

Прошла почти неделя, прежде чем я начала осознавать происходящее. Все это время контуры были расплывчаты, цвета обострены, звуки отсутствовали. Легкие были залиты бетоном; я горела в лихорадке.

Меня сразу перенесли в «Иммортели», откуда еще не уехал доктор «скорой помощи». Постепенно, по мере того как спадала температура, я начала воспринимать комнату с белыми стенами, цветы, подарки, что лежали, как жертвоприношения, у двери, оставленные неиссякающим потоком посетителей. Сначала я их почти не замечала. Я была так больна и слаба, что мне было трудно даже держать глаза открытыми. Даже память о том, что мой отец умер, отступила на второй план перед телесным недугом.

Адриенна, боясь, что вдруг придется за мной ухаживать, сбежала с Марэном на материк, как только позволила погода. Доктор объявил, что я пошла на поправку, и доверил Капуцине ухаживать за мной, а ворчливому Илэру — колоть мне антибиотики. Туанетта готовила отвары из трав и заставляла меня их пить. Отец Альбан сидел со мной каждую ночь, сказала Капуцина Бриман держался в отдалении; Флинн никто не видел.

Может, это и к лучшему; к концу недели его роль в недавних событиях стала ясна всем, и саланцы были на него невероятно злы. Удивительно, что на Бримана они злились гораздо меньше; в конце концов, он настоящий уссинец. Чего еще от него ожидать? Но Рыжий был один из нас. Только Геноле осмелились его защищать — в конце концов, он пошел к «Элеоноре-2», когда больше никто не захотел. Туанетта вообще отказалась воспринимать эту историю всерьез, но многие саланцы злоеще поговаривали о мести. Капуцина была уверена, что Флинн уехал обратно на

материк, и скорбно покачивала головой по поводу всего происшедшего.

Нашествие медуз было под контролем, поперек песчаных банок протянули сети, чтобы больше ни одна медуза не вошла в залив, а катер береговой охраны подобрал тех, что еще остались. Официальное объяснение гласило: медуз принесло необычными штормами вверх по Гольфстриму, может, даже из самой Австралии, — но деревенская молва предпочитала утверждать, что это предостережение от святой.

— Я всегда говорил, что нынешний год — Черный, — заявил Аристид с мрачным удовлетворением. — Видишь, что получается, когда меня не слушают?

Старик, хоть и злился на Бримана, кажется, сдался. Свадьбы стоят денег, сказал он, а если этот молодой дурак, его внук, продолжает упираться... Он покачал головой.

— Все-таки я ведь не вечен. Мне хотелось бы думать, что мальчик от меня что-то унаследует — не одни зыбучие пески и гниль. Может, наша удача наконец переменится.

Однако не все держались того же мнения. Геноле насмерть стояли против Бриманова проекта — их можно было понять. В семье пять ртов, при этом один из них мальчишка-школьник, а другой — восьмидесятипятилетний старик, поэтому с деньгами у них всегда было туго. Никто не знал в точности, сколько у них долга, но все считали, что не меньше ста тысяч. Потеря «Элеоноры-2» оказалась последним ударом. Ален после собрания громко возмутился, что это нечестно, что у общины есть перед ними определенные обязательства, что из-за пропажи Дамьена он не смог принять участие в обсуждении; но почти никто не обратил внимания на его возражения. Наше непрочное чувство товарищества опять исчезло, и опять каждый саланец был за себя.

Конечно, Матиа Геноле отказался переселиться в «Иммортели». Ален его поддержал. Ходили слухи, что они хотят уехать с острова. Вражда между Геноле и Бастонне возобновилась; Аристид, чувствуя слабость своих основных конкурентов по рыбной ловле и зная об их возможном отъезде, сделал все, чтобы настроить против них остальных саланцев.

— Они все погубят своим упрямством, э! Наш единственный шанс. Это эгоизм, вот что это такое, и я не допущу, чтобы жадность Геноле погубила будущее моего внука. Нам надо хоть что-то спасти из этого крушения, иначе мы все потопнем!

Многие не могли не признать, что в его словах есть своя правда. Но Ален, когда узнал о них, просто взорвался.

— Так вот, значит, как? — рычал он. — Вот так у нас в Ле Салане

заботятся о своих? А как насчет моих внуков? Как насчет моего отца, ветерана войны? Вы собираетесь выдать нас с потрохами? В обмен на что? На деньги? На грязную уссинскую прибыль?

Год назад мы, наверное, сопротивлялись бы гораздо яростнее. Но мы уже успели понюхать эти деньги. Познакомились с ними поближе. Все молчали, кое-кто покраснел. Но мало кто проникся. Что такое интересы одной семьи, когда на карту поставлено будущее всей общины? В конце концов, лучше паромный порт Бримана, чем совсем ничего.

Пока я лежала в «Иммортелях», отца похоронили. Летом тела долго не держатся, а островитяне не признают материковых штучек со вскрытиями и бальзамированием. У нас ведь есть священник, чего еще надо? Отец Альбан отслужил службу на Ла Буше, как всегда, в сутане и рыбацких сапогах.

Могильный камень — розово-серый гранитный валун с мыса Грино. Его притащили моим тягачом. Потом, когда песок осядет, я попрошу кого-нибудь выбить надпись, — наверно, Аристид возьмется, если попросить.

— Зачем он это сделал? — Я поняла, что злюсь все так же, как в ту ночь на «Мари-Жозеф». — Зачем вышел в тот день на «Элеоноре-два»?

— Кто знает? — отозвался Матиа, закуривая «житан». — Одно могу сказать: когда мы наконец притащили лодку обратно, мы нашли в ней всякие странные вещи...

— Идиот, девочка еще больная! — прервала его Капуцина, ловко перехватив сигарету цепкими пальцами.

— Какие вещи? — требовательно спросила я, садясь на кровати.

— Канаты. Зажимы. И пол-ящика динамита.

— Что?

Старик пожал плечами и вздохнул.

— Наверно, мы никогда не узнаем в точности, что он задумывал. Мне жаль только, что для этого он взял «Элеонору».

«Элеонора». Я попыталась в точности вспомнить слова монахинь в ту ночь перед штормом.

— Это была девушка, которую они все знали, — сказала я. — И он, и Жан Маленький были к ней равнодушны. К этой Элеоноре.

Матиа неодобрительно покачал головой.

— Нечего верить этим сорокам. Уж они наплетут. — Он посмотрел на меня — мне показалось, что он слегка покраснел. — Уж эти монахини, э! Хуже сплетниц не бывало. И вообще, что бы там ни было, а с тех пор уже много лет прошло. При чем тут то, как умер Жан Большой?

Как он умер, может, тут и ни при чем, а вот почему он умер... Я не могла

не думать об этом: о связи с самоубийством его брата тридцать лет назад; самоубийством на «Элеоноре». А вдруг мой отец сделал то же самое? И зачем он взял с собой динамит?

Я так надолго потеряла покой, что Капуцина решила: эти мысли мешают мне пойти на поправку. Она, должно быть, поговорила с отцом Альбаном, потому что через два дня высохший старый священник со своим обычным траурным видом явился поговорить со мной.

— Все кончено, Мадо, — сказал он. — Твой отец покоится с миром. Не нарушай его покой.

К тому времени мне стало гораздо лучше, но я все еще чувствовала себя очень усталой; полусидя, откинувшись на подушки, я видела в окно сияющее августовское небо. Будет отличный день для рыбной ловли.

— Отец Альбан, кто была эта Элеонора? Вы ее знали?

Он поколебался.

— Знал, но не могу про нее с тобой говорить.

— Она была из «Иммортелей»? Монахиня?

— Мадо, поверь мне, лучше всего про нее забыть.

— Но если он назвал лодку ее именем...

Я попыталась объяснить, как важно это было для отца; как он больше никогда не называл лодок в чью-либо честь, даже в честь моей матери. Конечно, он не случайно выбрал именно эту лодку. И что значат вещи, которые Матиа в ней нашел?

Но отец Альбан был еще неразговорчивей обычного.

— Это все ничего не значит, — в третий раз повторил он. — Не тревожь покой Жана Большого.

К тому времени я пробыла в «Иммортелях» уже больше недели. Илэр советовал мне полежать еще неделю, но я уже начинала скучать. Небесный пейзаж в высоком окне дразнил меня, золотые пылинки оседали на мою кровать. Месяц был почти на исходе; еще несколько дней, и настанет полнолуние, а с ним — день празднества святой Марины на мысу. Мне казалось, что все эти давно знакомые вещи случаются в последний раз, что каждая секунда — последнее прощание, пропустить которое — невыносимо. Я стала готовиться к возвращению домой.

Капуцина протестовала, но я безжалостно отвергла ее доводы. Меня слишком долго не было. Рано или поздно мне придется встретиться лицом к лицу с Ле Саланом. Я даже еще не видела могилу отца.

Перед лицом такой решимости Блоха спасовала.

— Поживи у меня в вагончике, — предложила она. — Я не хочу, чтоб ты была одна в том пустом доме.

— Все будет в порядке, — уверила я. — Я туда не пойду. Но мне надо немного побыть одной.

В тот день я не пошла в дом Жана Большого. Мне самой было удивительно, что я совсем не чувствую ни любопытства, ни желания заглянуть внутрь. Вместо этого я пошла на дюны над Ла Гулю и окинула взглядом остатки своего мира.

Отдыхающие в основном уже уехали. Море было как шелк; небо — кричаще-синее, как на детском рисунке. Ле Салан тихо выцветал под позднеавгустовским солнцем, как и в прошлые годы; цветы в подоконных ящиках и садики, запущенные в последнее время, иссохли и умерли; чахлые фиговые деревья были увешаны мелкими, противными на вкус плодами; собаки маялись у дверей домов, окна которых были задвинуты ставнями; «заячьи хвостики» высохли и стали хрупкими. Люди тоже вернулись к прежним привычкам: Оме теперь часами просиживал у Анжело, играя в карты и поглощая колдуновку стакан за стаканом; Шарлотта Просаж, которая так смягчилась с появлением в деревне детей отдыхающих, снова начала прятать лицо за бурными платками; Дамьен был угрюм и вечно со всеми пререкался. Мне хватило суток с момента возвращения, чтобы понять: Бриманы не просто сломили Ле Салан — они сожрали его целиком.

Мало кто со мной говорил; видно, люди сочли, что проявили

достаточно заботы визитами и подарками. Теперь, выздоровев, я чувствовала в них какую-то инертность, возврат к старому образу жизни. Приветствия опять сократились до простого кивка. Разговоры шли вяло. Сначала я думала, может быть, люди настроены против меня; в конце концов, я ведь родственница Бримана. Но вскоре я начала понимать. Это было заметно по тому, как они смотрели на море: все время кося одним глазом на штуку, которая плавает там в заливе, на наш Бушу, на наш собственный дамоклов меч. Они даже сами не сознавали, что они это делают. Но смотрели на него, даже дети, которые стали бледней и подавленней, чем были все лето. Риф еще более драгоценен, говорили мы себе, потому что он стоил жертв. Чем больше была жертва, тем драгоценнее становился риф. Когда-то мы его обожали, теперь ненавидели, но потерять его было бы невысказанно. Оме взял заем под собственность Туанетты, хоть и не имел никакого права ею распоряжаться. Аристид заложил свой дом за сумму, намного превышающую его истинную стоимость. Ален терял сына — возможно, обоих сыновей, поскольку дела теперь пришли в упадок. Просажи теряли дочь. Ксавье и Мерседес поговаривали о том, чтобы уехать с острова навсегда — поселиться где-нибудь вроде Порника или Фроментина, где рождение ребенка не даст пищу сплетням.

Аристида эти новости подкосили, хоть гордость и мешала ему в том признаться. Порник — это совсем рядом, говорил он любому, кто готов был слушать. Три часа езды на пароме, который ходит дважды в неделю. Не то чтоб далеко, э?

О гибели Жана Большого все еще ходили слухи. Я слышала их из вторых рук, от Капуцины — деревенские правила хорошего тона предписывали оставить меня в покое, — но слухов было предостаточно. Многие верили, что он покончил жизнь самоубийством.

На то были свои резоны. Жан Большой всегда был со странностями; может, от вестей о Бримановом коварстве он окончательно съехал с катушек. Да еще под самую годовщину смерти Жана Маленького и день святой Марины... История повторяется, шептались саланцы. Все возвращается.

Но другие были менее легковверны. От них не укрылось значение того факта, что в «Элеоноре-2» нашли динамит; Ален считал, что Жан Большой хотел уничтожить волнолом у «Иммортелей», не справился с лодкой и его выкинуло на скалы.

— Он пожертвовал собой, — повторял Ален любому, кто готов был его слушать. — Он раньше нас всех понял, что это единственный способ

остановить нашествие Бримана.

Это объяснение было несколько не менее правдоподобным, чем любое другое. Несчастный случай; самоубийство; подвиг... Правды никто не знал; Жан Большой никому не сказал о своих планах, и нам оставалось только гадать. В смерти, как и в жизни, отец умел хранить тайны.

В утро своего возвращения я пошла на Ла Гулю. Лоло и Дамьен сидели у края воды, оба молчаливы и недвижны, как скалы. Казалось, они чего-то ждут. Прилив как раз поворачивал на отлив; его отступление было отмечено темными запятыми мокрого песка. На скуле у Дамьена был свежий синяк. Когда я сказала об этом, Дамьен пожал плечами. «Я упал», — сказал он, даже не стараясь, чтобы ложь выглядела убедительной.

Лоло взглянул на меня.

— Дамьен правильно говорил, — мрачно сказал он. — Ни к чему нам этот пляж. Он все испортил. Раньше нам было лучше.

Он говорил без злости, но с глубокой усталостью, что меня еще больше беспокоило.

— Просто тогда мы этого не знали.

Дамьен кивнул.

— Мы бы и так выжили. Если б море подошло слишком близко, мы бы просто переехали подальше от воды.

— Или уехали совсем.

Я кивнула. Почему-то сейчас отъезд с острова не казался мне такой уж ужасной перспективой.

— В конце концов, это всего лишь место, э?

— Ну да. Всяких других мест полно.

Интересно, знает ли Капуцина, что думает ее внук. Дамьен, Ксавье, Мерседес, Лоло... Если так пойдет, то через год в Ле Салане совсем не останется молодых лиц.

Оба мальчика глядели в сторону Бушу. Его сейчас не было видно, он покажется часа через четыре или пять, когда прилив обнажит устричные отмели.

— А что, если они его разберут, э? — с непонятным чувством спросил Лоло.

Дамьен кивнул.

— Пускай забирают свой песок обратно. Мы и без него обойдемся.

— Угу. Не нужен нам ихний уссинский песок.

Я была поражена, поняв, что почти готова с ним согласиться.

Однако после моего возвращения оказалось, что саланцы, вопреки

всему, стали проводить на пляже гораздо больше времени. Они не купались и не загорали — они же не отдыхающие какие — и даже не беседовали между собой, как мы часто беседовали на пляже летом. Теперь на Ла Гулю не было ни шашлыков, ни костров, ни пикников с выпивкой. Теперь мы прокрадывались туда втайне, рано утром или когда прилив поворачивался, украдкой пропускали песок меж пальцев, избегая смотреть друг другу в глаза.

Песок нас завораживал. Теперь мы смотрели на него по-другому; он был уже не золотой пылью, но пылью веков: в нем были кости, раковины, микроскопические кусочки окаменел остей, истолченное в порошок стекло, покоренный камень, осколки невообразимых времен. В песке были люди: любовники, дети, предатели, герои. В нем были черепицы давно снесенных домов. В нем были воины и рыбаки, фашистские самолеты, осколки тарелок и обломки идолов. В нем были восстание и поражение. В нем было все, и он все уравнивал.

Теперь мы это понимали — понимали, до чего все было бессмысленно: наша война с приливами, с уссинца-ми. Мы точно знали, что будет дальше.

До празднества святой Марины оставалось два дня, когда я наконец решила навестить могилу отца. На похоронах я не могла присутствовать, но теперь вернулась, и мне полагалось сходить на могилу.

У уссинцев — свое кладбище: при церкви, аккуратное, поросшее травой, со сторожем, который следит за могилами. Мы на Ла Буше все делаем сами. Приходится. По сравнению с их могилами наши выглядят языческими — как менгиры^[27]. И мы заботливо ухаживаем за ними. Под одним очень старым надгробием похоронена юная пара, и надпись гласит просто: «Геноле — Бастонне, 1861—1887». Кто-то до сих пор приносит на эту могилу цветы, хотя, конечно, все, кто лично знал похороненных в ней, уже давно умерли.

Его положили рядом с Жаном Маленьким. Их камни — почти близнецы по размеру и цвету, хотя камень Жана Маленького старше, оброс лишайником. Подойдя ближе, я увидела, что гравий на обеих могилах аккуратно разровнен граблями и кто-то уже приготовил землю под посадку цветов.

Я принесла черенки лаванды, чтобы посадить вокруг камня, и совок, чтобы копать. Отец Альбан, похоже, пришел с той же целью: руки у него были в земле, а под обоими камнями краснели только что посаженные герани.

Старый священник вздрогнул при виде меня, словно я застала его врасплох. Он несколько раз потер друг о друга запачканные ладони.

— Я рад, что ты хорошо выглядишь, — сказал он. — Я тебя оставлю — не буду мешать тебе попрощаться с отцом.

— Не уходите. — Я шагнула вперед. — Отец Альбан, хорошо, что вы здесь. Я хотела...

— Извини. — Он покачал головой. — Я знаю, чего ты от меня хочешь. Ты думаешь, я что-то знаю про смерть твоего отца. Но я не могу ничего тебе рассказать. Оставь.

— Почему? — настойчиво спросила я. — Я должна понять! Мой отец умер не просто так, и мне кажется, вы знаете, почему он умер!

Он сурово посмотрел на меня.

— Мадо, твой отец погиб в море. Он вышел на «Элеоноре-два», и его смыло за борт. Точно как его брата.

— Но вы что-то знаете, — тихо сказала я. — Верно?

— Я... подозреваю. Точно так же, как и ты.

— Что вы подозреваете?

Отец Альбан вздохнул.

— Мадлен, оставь. Я не могу тебе ничего рассказать. В том, что я знаю, я связан тайной исповеди и не могу тебе этого открыть.

Но мне что-то почудилось у него в голосе — странная интонация, словно он говорил одно, а выразить пытался совсем другое.

— Но кто-то другой может? — спросила я, беря его за руку. — Это вы хотите сказать?

— Мадлен, я не могу тебе помочь.

Может, это было только мое воображение, но мне показалось, что он произнес эту фразу не просто так — сделал небольшое ударение на слове «я».

— Мне надо идти, — сказал старый священник, осторожно высвобождая свою руку из моей. — Я должен разобрать кое-какие старые бумаги. Метрические записи, ну, знаешь, о рождении и смерти. Я все время откладывал эту работу на потом. Но я за нее отвечаю. Эта ответственность на меня давит.

Вот опять эта странная интонация.

— Бумаги? — повторила я.

— Метрические записи. Раньше у меня был писарь. Потом монахини. Теперь мне никто не помогает.

— Я могу помочь. — Нет, мне не показалось: он и правда пытался мне что-то сказать. — Отец Альбан, позвольте, я помогу.

Он улыбнулся особенно доброй улыбкой.

— Как это мило с твоей стороны, Мадлен. Это будет для меня большим облегчением.

Островитяне не доверяют бумагам. Поэтому мы поставили священника охранять наши тайны, наши странные рождения и насильственные смерти, ухаживать за нашими генеалогическими деревьями. Конечно, это публично доступная информация — по крайней мере, теоретически. Но на ней, погребенной под слоями пыли, к тому же лежит тень исповедадьни. Здесь никогда не было компьютера и никогда не будет. Зато есть амбарные книги, исписанные мелким почерком, красновато-коричневыми чернилами, и бурые папки с документами, хрупкими от старости.

В подписях, растянувшихся или мелко семенящих по странице, уже заключены целые истории: вот неграмотная мать прилепила розовый

лепесток на свидетельство о рождении младенца; вот мужской почерк — рука дрогнула, подписывая свидетельство о смерти жены. Браки, мертворожденные дети, смерти. Вот два брата, расстрелянные немцами за контрабанду товаров с черного рынка, купленных на материке; вот целая семья вымерла от инфлюэнцы; на этой странице девушка — очередная Просаж — родила ребенка, «отец неизвестен». Напротив — другая девушка, четырнадцати лет, умерла, родив ребенка-урода, который тоже не выжил.

Бесконечные вариации не были скучны; как ни странно, они меня сильно подбодрили. Нужно своеобразное геройство, чтобы продолжать жить, как это делаем мы, вопреки всему, зная, чем все кончится. Островные фамилии — Просаж, Бастонне, Геноле, Прато, Бриман — маршировали по страницам, как солдаты. Я почти забыла, зачем пришла.

Отец Альбан оставил меня одну. Может, не доверял себе. Я на какое-то время с головой углубилась в старые истории Колдуна, но день стал меркнуть, и я вспомнила, зачем пришла. Мне понадобился еще час, чтобы найти нужную запись.

Я все еще не очень понимала, что ищу, и потеряла много времени на свое собственное генеалогическое древо — у меня навернулись слезы на глаза, когда я увидела подпись матери, случайно на нее наткнувшись; она была наверху страницы, а под ней — тщательно накорябанная неграмотная подпись Жана Большого. Потом запись о рождении Жана Большого и его брата, на одной и той же странице, хотя их разделяли годы. Смерть Жана Большого и его брата — «погиб в море». Страницы, исписанные до того мелко, что были почти нечитаемы — на каждую уходили долгие минуты. Я начала думать, что, может быть, я не поняла священника и тут на самом деле ничего нет.

И вдруг — вот оно. Запись о браке Клода Сен-Жозефа Бримана и Элеоноры Маргарет Флинн, две подписи фиолетовыми чернилами — краткое «Бриман» следует за цветистым «Элеонора» с невероятно длинными, почти бесконечными хвостиками букв, переплетающимися, как плющ, с именами выше и ниже строки.

Элеонора. Я произнесла это вслух, и у меня перехватило дыхание.

Я нашла ее.

— Верно, *ta soeur*.

— Я знала, что она ее найдет, если не бросит искать.

Это были монахини. Они стояли в дверях, улыбаясь, как яблочные куклы^[28]. В тусклом свете они словно помолодели, глаза блестели.

— Ты на нее похожа немножко, верно, *ta soeur*? Она немножко похожа

на...

— ...Элеонору.

После этого все было просто. Все началось с Элеоноры и кончилось «Элеонорой». Мы с монахинями разматывали историю, как клубок, в церковной ризнице, где хранились метрические книги, при свете свечей, которые мы зажгли, когда стемнело, чтобы осветить старые бумаги.

Я уже частично разгадала эту историю. Сестры знали остальное. Может, отец Альбан о чем-то проговорился, когда они помогали ему с метрическими записями.

Это островная история, из самых мрачных, но, если вдуматься, мы так привыкли цепляться за свои камни, что обрели своего рода сопротивляемость — по крайней мере, кое-кто из нас. Сначала были два брата, неразлучные, как крабы, — Жан-Марэн и Жан-Франсуа Прато. И конечно, девушка — сплошной огонь, темперамент. Была в ней и страсть: видно по тому, как распласталась по странице ее подпись, с росчерками и завитушками, словно полный томления любовный роман.

— Она была не здешняя, — объяснила сестра Тереза. — Мсье Бриман привез ее из-за границы в одну из своих поездок. Она была сирота, без друзей, без денег. Десятью годами моложе его; едва ли ей двадцать исполнилось...

— Но настоящая красавица, — сказала сестра Экстаза. — Красивая и неумная — взрывоопасное сочетание...

— А мсье Бриман был так занят, делая деньги, что после свадьбы, кажется, совсем ее не замечал.

Он хотел детей, как все островитяне. Но ей хотелось большего. Она не подружилась ни с кем из жен уссинцев — для них она была слишком молодой и слишком иностранкой — и завела привычку каждый день сидеть в одиночку на «Иммортелях», глядя на море и читая книги.

— О, она обожала истории, — сказала сестра Экстаза. — И читать, и рассказывать...

— ...про рыцарей и дам...

— ...про принцев и драконов.

Тут братья и увидели ее впервые. Они пришли забрать материалы для шлюпочной мастерской, где работали вместе с отцом, а она ждала на пляже. К тому времени она не провела на Колдуне и трех месяцев.

Импульсивный Жан Маленький влюбился мгновенно. Он стал каждый день ходить к ней в Ла Уссиньер, сидеть рядом с ней на пляже и беседовать. Жан Большой смотрел равнодушно — сначала его это забавляло, потом заинтериговало, потом он стал слегка ревновать, а потом наконец

смертельно влюбился.

— Она знала, что делает, — сказала сестра Тереза. — Сначала это было для нее игрой — она любила игры. Жан Маленький был мальчишкой; он бы в конце концов оправился. Но Жан Большой...

Мой отец, молчаливый, способный на сильное чувство, был совсем другой. Она это чувствовала; он ее привлекал. Они встречались втайне, в дюнах или на Ла Гулю. Жан Большой учил ее ходить под парусом; она рассказывала ему истории. В лодках, которые он строил у себя в шлюпочной мастерской, отразилось ее влияние, все эти причудливые имена — из романов и поэм, которых он сам никогда не читал.

Но Бриман уже начал что-то подозревать. Виноват был по большей части Жан Маленький: его влюбленность не прошла незамеченной для уссинцев, и, хотя он был так молод, он был гораздо ближе по возрасту к Элеоноре, чем ее муж. Клод никогда всерьез не подозревал его, но запретил Элеоноре одинокие прогулки в Ле Салан и сделал так, чтобы на «Иммортелях» всегда была монахиня — наблюдала за Элеонорой. Кроме того, Элеонора забеременела, и Клод был вне себя от радости.

Ребенок родился чуть раньше срока. Мать назвала его в честь Клода, как велит островная традиция, но со свойственным ей духом противоречия поставила и другое, более тайное имя на свидетельстве о рождении, которое мог увидеть любой желающий.

Никто не сделал выводов. Даже мой отец — он не смог бы прочитать такой сложный, полный завитушек почерк, а у Элеоноры на несколько месяцев поубавилось неумности — ее внимание поглотил уход за ребенком.

Но теперь, с появлением сына, собственнические чувства Бримана усилились. Сыновья на Колдуне важны — важнее, чем на материке, где здоровыми детьми никого не удивишь. Я представила себе, как он держался, как гордился сыном. Я представила, как смотрели на него братья — полные презрения, вины, зависти, желания. Я всегда полагала, что мой отец ненавидит Бримана, потому что Бриман сделал ему что-то плохое. Только теперь я поняла: больше всего мы ненавидим тех, кого сами обидели.

А что же Элеонора? Какое-то время она честно пыталась посвятить всю себя ребенку. Но она не была счастлива. Островная жизнь казалась ей, как и моей матери, невыносимой. Женщины смотрели на нее подозрительно и завистливо; мужчины не осмеливались с ней говорить.

— Она все читала и читала эти свои книги, — рассказывала сестра Тереза, — но ничего не помогало. Она похудела, поблекла. Она была как те

дикие цветы, которые нельзя срывать, потому что в вазе они сразу вянут. Она иногда говорила с нами...

— Но мы даже тогда были для нее слишком старые. Ей нужна была жизнь.

Сестры закивали, остренькие глазки заблестели.

— Однажды она дала нам письмо — передать в Ле Салан. Она очень-очень нервничала...

— Но смеялась так, что чуть бока не трескались...

— А на следующий день — ффу! — и нет ни ее, ни ребенка.

— Куда, почему — никто не знал...

— Но мы догадывались, верно, *та soeur*, хоть люди нам и не исповедуются, но...

— ...все равно рассказывают разные вещи.

Когда Жан Маленький догадался? Выяснил ли он случайно, или она сама ему сказала, или он увидел, как я тридцать лет спустя, имя на свидетельстве о рождении, написанное ее собственным цветистым почерком?

Сестры выжидательно глядели на меня, улыбаясь. Я посмотрела на свидетельство о рождении, лежащее передо мной на столе: фиолетовые чернила, имя написано уже знакомым, замысловатым, с завитушками, почерком...

Жан-Клод Дезире Сен-Жан Франсуа Бриман. Мальчик был сыном Жана Большого.

Мне знакомо чувство вины. Очень хорошо знакомо. Это мой отец говорит во мне, унаследованная мною горькая сердцевина. Оно парализует; душит. Должно быть, он так чувствовал себя, когда лодку с телом брата выбросило на Ла Гулю. Парализован. Наглухо запечатан. Он всегда был молчалив; теперь казалось, что любого молчания, сколько б его ни было, недостаточно. Живой Жан Маленький, должно быть, принес ему достаточно забот; мертвый Жан Маленький был непреодолимым препятствием.

Когда моему отцу пришло в голову сообщить Элеоноре, она уже исчезла, оставив письмо, — это письмо, адресованное ему, он нашел вскрытым в кармане куртки брата, висящей на крючке за дверью спальни.

Понимаете, я нашла это письмо, в последний раз обыскав старый отцовский дом. Из письма я узнала недостающие детали: смерть отца; самоубийство Жана Маленького; Флинн.

Не стану утверждать, что поняла все. Отец не оставил других объяснений. Не знаю, почему я ожидала иного; при жизни он никогда ничего не объяснял. Но мы с сестрами долго говорили об этом, и я думаю, что наши догадки достаточно близки к истине.

Флинн, конечно, был катализатором. Неведомо для себя он привел в ход целую машину. Сын моего отца; сын, которого отец никогда не смог бы признать, ведь тем самым он признал бы свою ответственность за самоубийство брата. Теперь мне стала понятна реакция отца, когда выяснилось, кто такой Флинн. Все возвращается: от Черного года — к Черному году, от Элеоноры — к «Элеоноре», круг замкнулся; и горькая поэзия такого конца, должно быть, тешила романтическую жилку в отцовском характере.

Может, Ален был прав, говорила я себе, и отец на самом деле не собирался погибнуть. Может, это был отчаянный жест, попытка искупления, отцовский способ исправить содеянное. В конце концов, человек, который нес ответственность за происшедшее, приходился ему сыном.

Мы с сестрами вернули записи и реестры на места. Я испытывала молчаливую благодарность к сестрам за их присутствие, за непрестанную болтовню, которая не давала мне чересчур пристально взглянуть в мою часть этой истории.

Спустилась ночь, и я медленно шла в Ле Салан, слушая кузнечиков в зарослях тамариска и глядя на звезды. Время от времени под ногами слабо светились личинки светляков. Я чувствовала себя как донор после сдачи крови. Гнев исчез. Горе тоже. Даже ужас того, что я узнала, казался чудовищно нереальным, таким же далеким, как истории, читанные в детстве. Что-то во мне оборвалось, и впервые в жизни я почувствовала, что могу покинуть Колдун и не испытаю ужасного чувства дрейфа, невесомости, когда ощущаешь себя обломком кораблекрушения в чужой волне. Я наконец знала, куда иду.

В отцовском доме было тихо. Но у меня было странное чувство, что я не одна. Об этом говорило что-то в воздухе, запах застарелого свечного дыма, незнакомое эхо. Я не боялась. Станным образом я чувствовала себя дома, словно отец просто ушел на ночную рыбалку, словно мать все еще здесь — может, в спальне, читает какой-нибудь потрепанный любовный роман в мягкой обложке.

Я мгновение поколебалась перед дверью отцовской спальни, не решаясь ее открыть. Комната была в том же виде, как отец ее оставил, — может, чуть аккуратнее обычного, одежда сложена и кровать заправлена. У меня сжалось сердце при виде старой *vareuse* Жана Большого, висящей на крючке за дверью, но в остальном я была спокойна. На этот раз я знала, что ищу.

Он держал свой тайный архив в коробке из-под обуви, как свойственно таким людям, перевязав бумаги бечевкой. Бумаг было немного: потрянув коробку, я поняла, что она не заполнена и наполовину. Несколько фотографий — со свадьбы родителей, она в белом, он в островном костюме. Его лицо под плоскими полями черной шляпы было настолько молодым, что у меня защемило сердце. Несколько фотографий Адриенны и моих; несколько фотографий Жана Маленького, разных возрастов. Остальные бумаги были в основном рисунками.

Он рисовал на оберточной бумаге, больше всего углем и толстым черным карандашом, от времени и трения рисунков друг о друга контуры чуть расплылись, но все равно я поняла, что у Жана Большого когда-то был незаурядный талант. Лица были изображены почти с той же скупостью, с какой он обычно разговаривал, но каждая линия, каждая растушевка были выразительны. Вот тут он размазал большим пальцем жирную тень, обрисовав контур челюсти; вот пара глаз странно-пристально глядит из-за угольной маски.

Тут были одни портреты, и все — одной и той же женщины. Я знала ее имя; я видела элегантные завитушки ее почерка в метрической книге в

церкви. А теперь я увидела и ее красоту: самоуверенные скулы, гордую посадку головы, изгиб рта.

Я поняла, что эти рисунки были любовными письмами. Мой молчаливый, неграмотный отец некогда обрел дивный голос. Из листов оберточной бумаги выпал засушенный цветок: дюнная гвоздичка, выцветшая и пожелтевшая от времени. Потом кусок ленты, которая когда-то могла быть голубой или зеленой. Потом письмо.

Это был единственный письменный документ. Одна страница, распадающаяся на куски оттого, что ее складывали и расправляли бесчисленное количество раз. Я сразу узнала почерк, росчерки с завитушками и фиолетовые чернила.

Милый Жан-Франсуа!

Может, ты и правильно сделал, что так долго не напоминал о себе. Сначала я обижалась и сердилась, но потом поняла — ты хотел дать мне время подумать.

Я знаю, что мне здесь не место. Я сделана из другого вещества; сначала я думала, что мы можем изменить друг друга, но нам обоим оказалось слишком трудно.

Я решила уехать завтрашним паромом. Клод меня не остановит: он уехал на несколько дней во Фроментин по делам. Я буду ждать тебя на пристани до полудня.

Я не буду в обиде, если ты со мной не поедешь. Твое место здесь, и я поступила бы неправильно, если бы заставила тебя уехать. Но все равно постарайся меня не забывать; может быть, в один прекрасный день наш сын вернется на остров, даже если я никогда не вернусь. Все возвращается.

Элеонора

Я снова бережно сложила письмо и положила назад в коробку. Вот оно, сказала я себе. Последнее подтверждение, если, конечно, я еще нуждалась в подтверждении. Не знаю, как письмо попало к Жану Маленькому, но предательство брата, конечно, нанесло впечатлительному, меланхоличному юноше ужасный удар. Было ли это самоубийство или неудачная попытка привлечь внимание? Никто не знал, кроме, может быть, отца Альбана.

Жан Большой должен был пойти к нему, я в этом не сомневалась. Уссинец, священник — он один был в достаточной степени не замешан в

это дело, чтобы можно было доверить ему расшифровку письма Элеоноры. Для старого священника это было достаточно близко к исповеди; и он сохранил тайну.

Кроме него, Жан Большой никому не рассказал. После отъезда Элеоноры он стал нелюдим, часами просиживал на «Иммортелях», глядя в море, все больше и больше замыкаясь в себе. Когда он женился на моей матери, поначалу казалось, что этот брак поможет ему вылезти из скорлупы, но все перемены оказались кратковременными. Из другого вещества, писала Элеонора. Из разных миров.

Я закрыла коробку крышкой и вынесла в сад. Когда за мной закрылась дверь, я ощутила абсолютную уверенность: нога моя больше никогда не ступит в дом Жана Большого.

— Мадо. — Он ждал у калитки шляпочной мастерской, почти невидимый в черных джинсах и свитере. — Я знал, что ты придешь рано или поздно.

Я стиснула коробку.

— Чего тебе надо?

— Мне очень жаль твоего отца.

Его лицо было в тени; тени металась в глазах. У меня внутри что-то сжалось.

— Моего отца? — резко переспросила я.

Мой тон заставил его поморщиться.

— Мадо, ну пожалуйста.

— Не подходи ко мне.

Флинн протянул руку и погладил меня по предплечью. Хоть я была в куртке, его прикосновение словно обожгло через плотную ткань, и тошнотворный ужас охватил меня оттого, что желание вдруг змеей развернулось внизу живота.

— Не трогай меня! — крикнула я и ударила его. — Чего тебе надо? Зачем ты вернулся?

Я попала ему в зубы. Он прижал руку к лицу, спокойно глядя на меня.

— Ты на меня сердисься, я знаю, — сказал он.

— Сержусь?

Я обычно неразговорчива. Но на этот раз мой гнев обрел голос. Целый оркестр голосов. Я выложила Флинну все: Ле Салан, «Иммортели», Бримана, Элеонору, моего отца, его самого. Наконец у меня кончился воздух, я замолчала и сунула ему в руки обувную коробку. Он не сделал попытки ее удержать; коробка упала, и печальная повесть жизни моего отца

рассыпалась ворохом бумаг. Я опустилась на колени и стала дрожащими руками собирать их.

Он безжизненно произнес:

— Сын Жана Большого? Его сын?

— Что, Элеонора тебе не сказала? Я думала, ты из-за этого так стараешься, чтобы все осталось в семье.

— Я понятия не имел. — Он прищурился; я поняла, что он очень быстро что-то соображает. — Впрочем, не важно, — сказал он наконец. — Это ничего не меняет.

Он как будто говорил сам с собой, а не со мной. Он опять стремительно повернулся ко мне.

— Мадо, — настойчиво сказал он. — Ничего не изменилось.

— О чем ты? — Я чуть не ударила его еще раз. — Конечно изменилось. Это все меняет. Ты мой брат.

У меня защипало глаза; горло было словно ободрано, из него поднималась горечь.

— Мой брат, — повторила я, держа в руках бумаги Жана Большого, и внезапно грубо расхохоталась — хохот перешел в приступ долгого, болезненного кашля.

Воцарилось молчание. Потом Флинн тихо засмеялся в темноте.

— Что такое?

Он продолжал смеяться. В этих звуках вроде бы не было ничего неприятного, тем не менее они были ужасно неприятны.

— Ах, Мадо, — сказал он наконец. — Все обещало быть так просто. Так элегантно. Никто никогда не проворачивал такой крупной аферы. Все было на местах: старик, его деньги, его пляж, его отчаянное желание обрести наследника...

Он покачал головой.

— Все было на месте. Нужно было только чуть подождать. Подождать чуть дольше, чем я рассчитывал сначала, но от меня ничего не требовалось, только дать событиям идти своим чередом. Провести год в такой дыре, как Ле Салан, — не слишком большая цена.

Он подарил мне одну из своих опасных улыбок, подобных блику солнца на воде.

— И вдруг, — сказал он, — явилась ты.

— Я?

— Ты, со своими гигантскими идеями. Со своими островными фамилиями. Со своими невозможными планами. Упрямая, наивная, абсолютная бессребреница.

Он мимолетно коснулся моего загривка; из его пальцев ударило статическое электричество.

Я его оттолкнула.

— Скажи еще, что ты для меня это сделал.

Он ухмыльнулся.

— А для кого же еще, как ты думаешь?

Я все чувствовала его дыхание у себя на лбу. Я закрыла глаза, но его лицо словно продолжало пылать у меня на сетчатке.

— Ох, Мадо. Если бы ты знала, как отчаянно я тебе сопротивлялся. Но ты совсем как этот остров: он влезает в тебя медленно и неуклонно. Не успеешь оглянуться, а ты уже попался.

Я открыла глаза.

— Ты этого не сделаешь.

— Уже поздно.

Он вздохнул.

— А как хорошо было бы стать Жан-Клодом Бриманом, — горестно сказал он. — У меня были бы деньги, земля, я бы делал что хотел...

— Тебе и сейчас ничто не мешает, — сказала я. — Бриману не обязательно знать...

— Но я не Жан-Клод.

— Что ты хочешь сказать? Вот же свидетельство о рождении, там все написано.

Флинн помотал головой. Глаза его были непроницаемы, почти черны. В них танцевали светлячки.

— Мадо, — сказал он, — это не мое свидетельство о рождении.

Я слушала его рассказ и все больше терялась. Вот она — его тайна; запертая дверь, куда он меня не пускал, наконец распахнулась. История двух братьев.

Они родились с разницей в тысячу миль и без малого два года. Хоть и не родные, а сводные, но оба походили на мать и в результате были поразительно похожи друг на друга с виду, разительно отличаясь во всех остальных отношениях. Матери «везло» на неподходящих мужчин, к тому же она отличалась непостоянством. Поэтому у Джона и Ричарда было много отцов.

Но отец Джона был богат. Он, несмотря на то что жил за границей, продолжал материально поддерживать сына и его мать, не терял с ними связь, хоть и не приезжал никогда. Поэтому братья привыкли представлять его туманной, неопределенно-благосклонной фигурой; некто, к кому можно

обратиться в час нужды.

— Это была ошибка, — сказал Флинн. — И я узнал это максимально жестоким для себя способом в первый день школы.

Джон двумя годами раньше отправился в частную школу, где его учили латыни, где он играл в школьной крикетной команде, но Ричарда отвели в простую школу по месту жительства, где непохожие — в первую очередь те, кто выделялся умом, — безжалостно выявлялись и подвергались множеству изощренных и жестоких мучений.

— Мать не рассказала ему про меня. Она боялась, что, если расскажет ему про других своих мужчин, он перестанет посылать деньги.

Поэтому имя Ричарда никогда не упоминалось, и Элеонора тщательно создавала у Бримана впечатление, что они с Джоном живут одни.

Флинн продолжал:

— Если в семье были деньги, они всегда шли на брата. Школьные экскурсии, школьная форма, спортивные принадлежности. Никто не объяснял почему. У Джона был сберегательный счет на почте. У Джона был велосипед. А у меня были только те вещи, которые Джону надоели, которые он сломал или по глупости не мог научиться ими пользоваться. Никому никогда не приходило в голову, что и мне хотелось бы иметь что-нибудь свое.

Я мимолетно подумала про себя и Адриенну. И, почти не сознавая того, кивнула.

После школы Джона отправили в университет. Бриман согласился оплачивать его учебу, при условии, что тот выберет полезную для бизнеса профессию; но у Джона не оказалось талантов ни к инженерному делу, ни к управленческим специальностям, и он терпеть не мог, когда им командовал кто-то другой. По правде сказать, Джон терпеть не мог работать вообще, потому что его всю жизнь баловали, и на втором курсе бросил университет — жил на свои сбережения и праздно проводил время с друзьями, людьми сомнительной репутации и вечно без гроша в кармане.

Элеонора прикрывала его, пока могла. Но Джон уже вырвался из-под ее влияния: ему нравились легкие деньги — выручка от продажи контрабандных сигарет и краденых радиоприемников из машин, — и еще он любил, подвыпив, хвастаться богатеньким папой.

— Вечно одно и то же. Когда-нибудь у него будет работа; старик его пристроит; будьте спокойны; торопиться некуда. Я, честно говоря, думаю: он надеялся протянуть с решением, пока Бриман не помрет. Джон никогда не отличался особенной целеустремленностью, так что переехать во Францию, выучить язык, расстаться с друзьями и с легкой жизнью... —

Флинн гадко хохотнул. — Что же до меня — я достаточно долго работал на верфях и стройках, а должность Жан-Клода была вакантна. Сам же мальчик-мажор, кажется, не очень торопился ее занять.

Казалось, грех не воспользоваться такой возможностью. У Флинна было достаточно документов и информации, чтобы сойти за брата, а также вполне удовлетворительное внешнее сходство. Флинн оставил работу на стройке и на свои скудные сбережения купил билет до Колдуна.

Поначалу он собирался просто выудить у Бримана сколько получится наличных и сбежать.

— Например, было бы неплохо получить золотую кредитную карточку или доверительный фонд на мое имя. Вполне обычное дело между отцом и сыном. Но на островах все по-другому.

Он был прав: на островах не доверяют фондам. Бриман хотел, чтобы сын делом доказал свою верность. Ему нужна была помощь. Сначала с «Иммортелями». Потом с Ла Гулю. Потом с Ле Саланом.

— Ле Салан меня и прикончил, — с ноткой сожаления сказал Флинн. — Это был решающий момент. Сначала пляж, потом деревня, потом весь остров. Я мог бы получить все. Бриман был готов удалиться на покой. Он бы поставил меня во главе основной части дел. У меня был бы полный доступ ко всему.

Он вздохнул.

— А как было бы хорошо, — горестно сказал он. — Я был бы нужен — для разнообразия. У меня было бы свое место.

Я уставилась на него.

— Но теперь не выйдет?

Он ухмыльнулся и потрогал мою щеку кончиками пальцев.

— Нет, Мадо. Теперь не выйдет.

Издалека, с Ла Гулю, доносилось мягкое шипение волн. Еще дальше квакали чайки — кто-то потревожил гнездо. Но далекие звуки терялись за оглушительным гулом крови у меня в ушах. Я изо всех сил пыталась понять историю Флинна, но у меня словно что-то застряло в горле, и мне было трудно дышать. Словно все остальное заслонила один-единственный необъятный факт. Флинн не был мне братом.

— Что это?

Я отодвинулась, почти не осознав услышанный звук. Предостерегающий звон, глубокий и гулкий, едва слышный за шумом волн.

Флинн пронзил меня взглядом.

— Что еще?

— Ш-ш-ш! — Я прижала палец к губам. — Слушай!

Вот опять — едва слышная вибрация в неподвижном вечернем воздухе, бой утонувшего колокола пульсирует в барабанных перепонках.

— Я ничего не слышу.

Он нетерпеливо потянулся рукой, словно собираясь обхватить меня за плечи. Я встала и оттолкнула его, на этот раз решительнее.

— Ты что, не слышишь? Не узнаешь?

— Какая разница, что там.

— Флинн, это Маринетта.

Так все и кончилось — тем же, чем и началось. Колокол — не пресловутая Маринетта, а просто колокол уссинской церкви — уже второй раз за месяц возвещал тревогу, громогласно разнося весть над отмелями. Ночью колокол звучал по-иному, чем днем; сейчас в его звоне была мрачная настойчивость, заставлявшая меня невольно спешить. Флинн пытался меня задержать, но я уже не позволила бы себя остановить; я почувствовала, что случилось несчастье — может, даже большее, чем гибель «Элеоноры», — и помчалась вниз по дюне, к Ле Салану, прежде чем Флинн успел понять, куда я бегу.

Конечно, деревня была единственным местом, куда он не мог за мной пойти; он остановился на гребне дюны, остался позади. У Анжело было открыто, и на улице собралась кучка людей, которые выпивали в баре, слышали звон колокола и вышли поглядеть, что случилось. Среди них были Оме, Капуцина и Бастонне.

— Ддвонят, — сказал Оме заплетающимся языком. Он был уже довольно пьян и соображал значительно медленнее обычного. — В Уссине ддвонят.

Аристид покачал головой.

— Тогда это не наше дело, э? Пускай теперь уссинцы побегают, если беда на этот раз у них, для разнообразия. Ведь это ж не то, что остров собрался потонуть, э?

— Все равно лучше бы кому-нибудь пойти узнать, — предложил обеспокоенный Анжело.

— Тада ппускай ктодибудь давелосипеде, — предложил Оме.

Несколько человек поддержали это предложение, но добровольцев не нашлось. Люди начали со вкусом строить предположения о том, что именно случилось, начиная с повторного нашествия медуз и кончая невиданным смерчем, унесшим «Иммортели» целиком. Последняя гипотеза пришлась по душе большинству собравшихся, и Анжело предложил налить всем еще по рюмочке.

И в этот момент на Атлантическую выбежал Илэр, крича и размахивая руками. Это уже само по себе было достаточно неожиданно, поскольку доктор всегда отличался выдержкой; довершала картину его одежда — он, похоже, в спешке накинул *vareuse* прямо на пижаму, а на ногах у него ничего не было, кроме потрепанных эспадрилий. Для Илэра, всегда

корректно одетого даже в самую жару, это выходило за всякие рамки. Он кричал что-то насчет радио.

Когда он вбежал, Анжело уже налил ему рюмку, и доктор первым делом осушил ее — быстро, с мрачным удовлетворением.

— Если то, что я слышал, правда, нам всем не помешает принять еще по одной, — кратко сказал он.

Он слушал радио. Обычно он перед сном слушает десятичасовую программу международных новостей, хотя островитяне вообще редко следят за новостями. Газеты обычно прибывают на Колдун с опозданием, и только мэр Пино всерьез утверждает, что интересуется политикой и текущими событиями; этого, можно сказать, требует его должность.

— Ну так вот, — сказал Илэр, — на этот раз я услышал кое-что такое, что нас несколько не обрадует!

Аристид кивнул.

— Кто бы удивлялся, — сказал он. — Я же вам говорил, это Черный год. Этого следовало ожидать.

— Черный год! Э! — Илэр хрюкнул и потянулся за второй рюмкой колдуновки. — Судя по тому, что я слышал, он скоро еще больше почернеет.

Вы наверняка читали об этом. Нефтеналивной танкер потерпел крушение у берегов Бретани. Утечка сотен галлонов нефти в минуту. Подобные вещи занимают умы публики несколько дней, может, неделю. По телевизору показывали мертвых морских птиц; негодующих студентов, протестующих против загрязнения окружающей среды; несколько городских добровольцев для очистки совести очистили один-два пляжа. Туристическая отрасль на время пострадает, хотя власти на побережье обычно принимают меры по очистке самых выгодных курортов. Рыбная ловля, конечно, страдает дольше.

Устрицы чувствительны: даже легкое загрязнение может их погубить. Крабы и омары — то же самое; а что до кефали, она, можно сказать, еще хуже. Аристид помнит кефаль сорок пятого года, со вздутыми от нефти животами; все мы помним утечку в семидесятом — гораздо дальше, чем теперешняя, — после которой нам пришлось отскрести от скал у мыса Грино огромные куски мазута. К тому времени, как Илэр закончил объяснения, в бар Анжело явилось еще несколько человек с информацией, подтверждающей или опровергающей сказанное им, и мы уже были в состоянии, близком к панике: корабль был меньше чем в семидесяти километрах от нас — нет, даже в пятидесяти, нагруженный неочищенным

дизтопливом, а хуже этого вообще не придумать; пятно утечки уже было несколько километров длиной и совершенно вышло из-под контроля. Несколько человек отправились в Ла Уссиньер — повидать Пино, который мог быть лучше осведомлен. Многие другие остались в кафе — решили попробовать выловить чуть больше информации из телевизора или, вытащив из карманов старые карты, начали гадать, куда в конце концов пойдет пятно загрязнения.

— Если оно вот тут, — мрачно сказал Илэр, очертив пятно на Аристидовой карте, — то, по-моему, ему никак не пройти мимо нас, э? Вот Гольфстрим...

— Мы еще не знаем наверняка, что оно дошло до Гольфстрима, — сказал Анжело. — Может, они его раньше остановят. А может, оно пойдет вот сюда — обогнет Нуармутье и вообще пройдет мимо нас.

Аристида это не убедило.

— Если оно попадет в Нидпуль, — выразительно произнес он, — оно там затонет и отравит нас на полвека.

— Ну, ты нас отравляешь почти вдвое дольше, а мы вроде пока живы, — заметил Матиа Геноле.

Все прочие нервно засмеялись. Анжело налил всем еще по одной. Потом из бара кто-то закричал, чтобы все замолчали, и все присоединились к кучке выпивающих, сгрудившихся вокруг старого телевизора.

— Тихо, вы все! Вот оно!

Есть новости, которые можно встретить лишь молчанием. Мы слушали, как дети, с круглыми глазами, пока телевизор возвещал свои новости. Даже Аристид молчал. Мы сидели как оглушенные, прилипнув к телевизору и красному крестику, отмечавшему место аварии.

— Далеко это? — беспокойно спросила Шарлотта.

— Близко, — очень тихо сказал побелевший Оме.

— Чертовы материковые новости! — взорвался Аристид. — Не могли взять нормальную карту, э? По этой их дурацкой схеме получается, что пятно от нас в двадцати километрах! А где подробности?

— Что будет, если пятно придет сюда? — прошептала Шарлотта.

Матиа попытался ответить спокойно.

— Мы что-нибудь придумаем. Сплотимся. Как раньше.

— Раньше такого не было! — отозвался Аристид. Оме что-то пробормотал вполголоса.

— Что такое? — переспросил Матиа.

— Я сказал — жалко, что Рыжего больше нету.

Все переглянулись. Никто не возразил.

Той ночью, подогретые колдуновкой, мы начали делать что могли. Нашлись добровольцы — посменно сидеть у телевизоров и радио для сбора любой новой информации об утечке. Илэра, у которого был телефон, назначили официальным представителем по связи с материком. Он должен был поддерживать связь с береговой охраной и морскими службами, чтобы нас в случае чего предупредили. На Ла Гулю поставили часовых, сменявшихся каждые три часа: когда мы что-нибудь увидим, мрачно сказал Аристид, мы увидим это на Ла Гулю. Кроме этого, мы начали углублять дно ручья и отгораживать его от моря камнями с мыса Грино и цементом, оставшимся от постройки Бушу.

— Если получится сохранить *étier*, у нас хоть что-то останется, — сказал Матиа.

Аристид в кои-то веки согласился и не стал ворчать.

Около полуночи явился Ксавье Бастонне — оказалось, что они с Гиленом два раза выходили на «Сесилии», — и сообщил, что судно береговой охраны еще стоит за Ла Жете. По-видимому, потерпевший крушение танкер уже давно был в опасности, но власти обнародовали информацию лишь несколько дней назад. Ксавье сообщил, что прогнозы довольно мрачные. Он сказал, что ожидается южный ветер — если этот ветер продержится несколько дней, он пригонит нефть прямо к нам. В таком случае нам поможет лишь чудо.

Утро праздника святой Марины мы встретили в мрачном настроении. Работы на *étier* несколько продвинулись, но все же недостаточно. Матиа сказал, что даже при наличии всех нужных материалов понадобится не меньше недели, чтобы как следует отгородить ручей. К десяти утра до деревни дошла весть, что в нескольких километрах от Ла Жете на воде показался черный слой, так что все деревенские были не в духе и терзались мрачными предчувствиями. Песчаные банки уже покрылись этой чернотой, и хотя она еще не достигла берега, но непременно должна была достигнуть в ближайшие сутки.

Тем не менее, как сказала Туанетта, негоже было бы забросить святую в день ее праздника, так что в деревне закипели обычные приготовления: люди перекрашивали маленькое святилище, несли цветы на мыс, зажигали жаровни у развалин храма.

Даже в бинокль не удалось разглядеть, что такое это черное, но Аристид сказал, что его там прорва, а поскольку в эту ночь ожидался прилив и южный ветер, то похоже было, что его можно ожидать на Ла Гулю в любой момент. Прилив должен был дойти до высшей точки около десяти вечера, и после обеда на мысу собралось уже довольно много наблюдателей, с приношениями, цветами и копиями статуи святой. Туанетта, Дезире и многие другие деревенские жители, особенно те, что постарше, утверждали, что единственное спасение — в молитве.

— Она и раньше творила чудеса, — заявила Туанетта — Всегда есть место надежде.

Чуть позже Черный прилив уже стало видно невооруженным глазом. Тени скользили под волнами, что-то перекатывалось на песчаных банках, необычно плясало на волнах в тени скал. Правда, на воде пока не было никаких следов нефти — даже пленки, — но, как сказал Оме, это может быть особенная нефть, совершенно новый вид, хуже всего, с чем мы имели дело раньше. Она не плавает на поверхности воды, а сбивается в сгустки, тонет, опускается на дно и отравляет все живое. Техника нынче дошла до совершенно жутких вещей, э? Все качали головами, но никто ничего толком не знал. Мы не разбирались в таких вещах, и к вечеру страшные истории о Черном приливе расплодились во множестве. Будет двухголовая рыба, вещал Аристид, и ядовитые крабы. Достаточно будет лишь дотронуться до них, чтобы подхватить жуткую инфекцию. Птицы взбесятся, а густеющая нефтяная каша будет налипать на лодки и тащить их ко дну. Почем мы знаем, может, и нашествие медуз случилось из-за Черного прилива. Но, несмотря на все это, а может, как раз из-за этого, Ле Салан держался мужественно.

Хоть что-то дал нам Черный прилив. У нас опять появилась цель, общая задача Дух Ле Салана, твердый стержень в сердце, то, что вставало со страниц метрических книг отца Альбана, опять вернулось. Я это чувствовала Старые обиды снова забылись. Ксавье и Мерседес забросили планы отъезда — по крайней мере на время — и обратили все силы на помощь деревне. Филипп Бастонне, который в Ла Уссиньере ждал следующего парома, вернулся в Ле Салан вместе с Габи, Легацией и младенцем и намеревался, несмотря на затихающие протесты Аристида, остаться и помочь. Дезире нашла для них место в доме, и на этот раз Аристид не стал возражать.

Темнело, прилив поднимался, и все больше народу собиралось на мысу Грино. Отец Альбан был слишком занят в Ла Уссиньере, где служил в церкви особый молебен, но пришли старые монахини, бодрые, с

блестящими глазами, как обычно. Зажглись жаровни — красные, оранжевые и желтые фонари вспыхнули у подножия развалин храма, — и снова саланцы, странно трогательные в своих островных шляпах и воскресных платьях, выстроились у ног святой Марины Морской, чтобы молиться и умолять ее вслух, перекрикивая море.

Тут были Бастонне с Франсуа и Летицией; Геноле, Просажи. Капуцина вместе с Лоло; Мерседес — чуть стесняясь, держа Ксавье за руку и положив другую руку на живот. Туанетта дребезжащим голосом пела «Санта Марина», а Дезире стояла между Филиппом и Габи у ног святой, такая розовая и улыбочивая, словно дело происходило на свадьбе.

— Даже если святая решит не вмешиваться, — безмятежно сказала Дезире, — то, что мои дети здесь, всё искупает.

Я стояла поодаль от остальных, на гребне дюны, слушая и вспоминая прошлогоднее празднество. Ночь была тихая, и кузнечики громко кричали в теплых, поросших травой ложбинах. Жесткий песок охлаждал мне ноги. С Ла Гулю доносилось «хишш» наступающего прилива. Святая Марина глядела вниз каменным, нелюдимым взглядом, и прыгающий свет огней оживлял ее лицо. Я смотрела, как саланцы один за другим подходят к берегу.

Первой подошла Мерседес и уронила в воду горсть лепестков.

— Святая Марина. Храни моего ребенка. Храни моих родителей и спаси их от всякой беды.

— Марина Морская. Храни мою дочь. Пускай живет счастливо со своим молодым, и поближе к нам, чтоб навещала нас хоть время от времени.

— Марина Морская, храни Ле Салан. Храни наши берега.

— Спаси и сохрани моего мужа и сыновей...

— Храни моего отца...

— Храни мою жену.

Я не сразу поняла, что происходит что-то необычное. Саланцы сплели руки в свете огней — Оме обнял Шарлотту, Гилен взялся за руки с Ксавье, Капуцина — с Лоло, Аристид — с Филиппом, Дамьен с Аленом. Люди улыбались, несмотря на тревогу; вместо мрачно склоненных голов, как в прошлом году, я видела блестящие глаза и гордые лица. Платки были сброшены, волосы распущены; лица светились не просто отблесками костров; танцующие люди бросали в волны охапки лепестков, ленты и мешочки ароматных трав. Туанетта снова запела, и на этот раз песню подхватили другие; голоса понемногу сливались в один — голос Ле Салана.

Я поняла, что, если вслушаюсь как следует, услышу среди них и голос Жана Большого, и голос моей матери, и Жана Маленького. Внезапно мне тоже захотелось присоединиться, войти в освещенный круг и помолиться святой. Но вместо этого я зашептала молитву, стоя на дюне, очень тихо, почти про себя.

— Мадо?

Когда надо, он умеет двигаться абсолютно бесшумно. Это его островная душа — если в нем на самом деле есть островная душа, под всеми слоями притворства. Сердце у меня подскочило, и я резко повернулась.

— Господи, Флинн, что ты тут делаешь?

Он стоял у меня за спиной на тропе, идущей по боку дюны, так, чтобы его не видели участники скромного празднества. В темной *vareuse* он был бы почти невидим, если бы не клубок лунного света в волосах.

— Где ты был? — прошипела я, боязливо оглядываясь на саланцев, но он не успел ответить, как наблюдатели на мысу Грино испустили страшный крик, которому через несколько секунд начали вторить на Ла Гулю.

— Ай-й-й! Прилив! Ай-й-й!

Пение возле храма умолкло. Наступило секундное замешательство: кое-кто из саланцев побежал к краю мыса, но в неверном свете фонариков никто не мог ничего толком разглядеть. Что-то плавало на волнах, какая-то темная, не тонущая масса, но никто не мог в точности сказать, что это. Ален схватил фонарь и побежал, Гилен последовал его примеру. Скоро цепочка фонарей и электрических фонариков, качающихся вверх-вниз, уже двигалась через дюну к Ла Гулю и Черному приливу.

Мы с Флинном затерялись в неразберихе. Толпа прошла совсем рядом, распевая, выкрикивая вопросы и размахивая фонарями, но нас никто не замечал. Каждый хотел первым оказаться на Ла Гулю; кое-кто на ходу хватал в деревне грабли и сачки, словно собираясь сразу приняться за очистку пляжа.

— Что происходит? — спросила я у Флинна, пока нас обоих увлекала толпа.

Он покачал головой.

— Пойдем посмотрим.

Мы дошли до блокгауза — удобной наблюдательной площадки. Под нами Ла Гулю кишел огнями. Несколько человек стояли с фонарями на мелководье, словно во время ночного лова. Вокруг них плавали какие-то черные силуэты, десятки силуэтов — плавучие, наполовину погруженные в воду, скрывающиеся под волнами. Издалека доносились крики и... неужели смех? Черные штуки было невозможно разглядеть в свете фонарей, но на

мгновение мне почудилось, что они имеют правильную форму, слишком геометрическую для природных объектов.

— Смотри, — сказал Флинн.

Голоса под нами стали громче, еще больше народу собралось у края воды, кое-кто зашел в море до подмышек. Свет фонарей скользил по воде; отмели, если смотреть отсюда, сверху, имели зловещий зеленый цвет.

— Смотри, смотри, — сказал Флинн.

Люди совершенно точно смеялись, я видела, как они плещутся на мелководье.

— Что происходит? — спросила я. — Это что, Черный прилив?

— В каком-то смысле — да.

Тут Оме и Ален принялись выкатывать странные черные предметы из полосы прибоя. То же стали делать и другие люди; предметы были около метра в диаметре, правильной формы. Издали они были похожи на автомобильные шины.

— Это они и есть, — тихо сказал Флинн. — Это Бушу.

— Что?! — Во мне словно что-то оторвалось и поплыло по воле волн. — Бушу?

Он кивнул. Лицо его было освещено странным светом, падавшим с пляжа.

— Мадо, это был единственный выход.

— Но зачем? Мы столько труда в него вложили...

— Сейчас главное — остановить течение, идущее к Ла Гулю. Убрать риф — и течение исчезнет вместе с ним. Тогда, если нефть дойдет до Колдуна, может, она обойдет Ле Салан. По крайней мере, хоть какой-то шанс.

Он вышел на отмель во время отлива Ножницами по металлу перекусил авиационный трос, скрепляющий шины вместе. Работы на полчаса; начавшийся прилив доделал остальное.

— А ты уверен, что это поможет? — спросила я наконец. — Теперь нам ничего не грозит?

Он пожал плечами:

— Не знаю.

— Не знаешь?

— Ну, Мадо, а ты чего ждала? — Он, кажется, слегка вышел из себя. — Я не могу дать тебе всё!

Он покачал головой.

— Теперь вы хотя бы сможете бороться. Ле Салан не обязательно должен умереть.

— А что Бриман? — тупо спросила я.

— Ему и на своей стороне острова забот хватает, некогда смотреть, что творится у нас. Последнее, что я о нем слышал, — он ломал голову, как бы это передвинуть стотонный волнолом за двадцать четыре часа. — Он улыбнулся. — Может, идея Жана Большого была ценнее, чем мы думали...

Его слова дошли до меня не сразу. Я так поглощена была своими мыслями о Черном приливе, что совершенно забыла про Бримана с его планами. Я ощутила внезапный прилив яростного ликования.

— Если Бриман тоже уничтожит свои волноломы, то все будет хорошо, — сказала я. — Приливы станут как раньше.

Флинн засмеялся.

— Пикнички на пляже. Трое отдыхающих в пристройке. Экскурсии в святылище, по три франка с головы. Считать гроши. Не будет ни денег, ни роста, ни будущего, ни состояния, ничего не будет.

Я покачала головой.

— Неправда, — сказала я. — Будет Ле Салан.

Он опять засмеялся, довольно дико.

— Верно. Ле Салан.

Я знаю, что он не останется в Ле Салане. Глупо даже надеяться. Слишком много лжи, обманов, которые люди могут швырнуть ему в лицо. Слишком много народу его ненавидит. К тому же сердцем он материковый житель. Ему снятся огни больших городов. Я не думаю, что он сможет остаться, даже если очень захочет. Точно так же и я не смогу уехать — во мне остров и Жан Большой. Мой отец любил Элеонору, но все-таки с ней не поехал. Остров находит способ тебя удержать. На этот раз — Черным приливом; пятно уже в десяти километрах от нас, со стороны Нуармутье. Никто не знает, накроет нас или пронесет, — даже береговая охрана не знает. Вандейский берег уже пострадал; по телевизору ежедневно показывают образы будущего, которое нас ожидает, — неприятно зернистые картинки в ядовитых тонах. Никто не может в точности предсказать, что с нами будет: по всем законам пятно должно пойти по Гольфстриму, но вопрос решат несколько километров в ту или другую сторону.

Нуармутье почти наверняка накроет. С островом Йё пока не ясно. Яростные течения, разделяющие нас, борются между собой. Кто-то из нас — может, только кто-то один — окажется в нефтяном пятне. Но Ле Салан не теряет надежды. Мы работаем упорно, как никогда. Ручей укреплен и защищен, живорыбный садок хорошо укомплектован. Аристид, которому деревянная нога мешает выполнять более тяжелую работу, смотрит телевизор, выуживая информацию, а Филипп помогает Ксавье. Шарлотта и Мерседес работают у Анжело, готовят еду для добровольцев. Оме, Геноле и Бастонне почти все время проводят на «Иммортелях». Бриман позвал на помощь всех желающих — уссинцев и саланцев, — чтобы разобрать волноломы на «Иммортелях», а еще он переписал завещание в пользу Марэна. Дамьен, Лоло, Илэр, Анжело и Капуцина до сих пор занимаются очисткой Ла Гулю, и мы планируем использовать шины для постройки защитных барьеров от нефти, если она все-таки доберется до наших пляжей. На случай такой катастрофы мы уже запаслись очистными средствами. Флинн возглавляет это направление работ.

Да, он пока что на острове. Кое-кто из мужчин все еще держится с ним холодно, но Геноле и Просажи приняли его от всего сердца, забыв все происшедшее, Аристид вчера играл с ним в шахматы, так что, может быть, для него есть еще надежда. Конечно, сейчас нет времени на бесполезные

обвинения. Он работает не менее усердно, чем любой из нас, — даже усерднее, — а на Колдуне это сейчас самое главное. Не знаю, почему он не уехал. Все-таки меня странно успокаивает то, что я вижу его каждый день, на обычном месте, на Ла Гулю, — он то тыкает палкой в разные вещи, принесенные морем, то выкатывает нескончаемые шины в дюны, где их складывают про запас. Он так и не утратил резкости характера — может, никогда не утратит, — но мне кажется, что он слегка помягчел, сгладился, чуть ассимилировался, стал почти одним из нас. Он мне даже начинает нравиться... самую малость.

Иногда я просыпаюсь и гляжу в окно на небо. В это время года никогда не бывает совсем темно. Порой мы с Флинном прокрадываемся наружу, поглядеть на Ла Гулю, где море светится странным перламутровым светом, характерным для Нефритового берега, и присаживаемся на дюне. Там растут тамариски, поздние гвоздички и «заячьи хвостики», что кивают, бледно мерцая, в свете звезд. По ту сторону пролива иногда виднеются огни материка: к западу — предостерегающий бакен, к югу — подмигивающий *balise*. Флинн любит спать на пляже. Ему нравится слушать жужжание насекомых на утесе, нависшем над головой, и шепот песчаного овса. Иногда мы остаемся там на всю ночь.

ЭПИЛОГ

Пришла зима, а Черный прилив до нас так и не добрался. Остров Йё слегка задело; Фроментин накрыло; весь Нуармутье сильно пострадал. А пятно продолжает двигаться, медленно нащупывая путь на мелях и в протоках. Все еще не ясно, что будет с нами. Но Аристид настроен оптимистично; Туанетта спрашивала совета у святой и утверждает, что ей были видения; Мерседес и Ксавье переехали в домик на дюнах, к молчаливой радости старика Бастонне; Оме в последнее время сказочно везет в белот, и я совершенно уверена, что пару дней назад видела улыбку на лице Шарлотты. Нет, я не буду утверждать, что наш прилив повернулся. Но что-то другое вернулось на Колдун. Какая-то цель. Никто не в силах повернуть прилив — разве что на время. Все возвращается. Но Колдун держится стойко. Будь то засуха, потоп, Черный год или Черный прилив — Колдун держится. Держится потому, что держимся мы, островитяне: Бастонне, Геноле, Прато, Просажи, Бриманы — и, может быть, даже, хоть и с недавних пор, Флинны. Нас ничто не сломит. Даже не пробуйте, без толку — все равно что плевать против ветра.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ



MONA LISA



«Остров на краю света» — очередной триумф автора «Шоколада», доказывающий, что источником вдохновения для нее может послужить не только французская кухня, но также далекие острова и природные красоты, затягивающие читателя неудержимо, как морской прибой. Обязательное чтение.

Punch

Идеальная книга для того, чтобы сунуть в пляжную сумку и отправиться в отпуск на экзотический остров — желательнее более спокойный, чем Колдун.

The Times

Великолепный роман о семейных узах и ностальгии, о женской тяге к отцовской любви и одобрению.

Glamour

В «Острове на краю света» Харрис поднимается до небывалых даже по ее меркам высот атмосферности — вы буквально ощущаете дуновение морского бриза и теплый песок под ногами.

Heat

ДОМ КНИГИ
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
Харрис Дж. Остров на краю света
ISBN 978-5-099-38128-9
2000 N
3007141
Цена: 216 р.



ЭКСМО

Примечания

1

Самый долгоиграющий из всех ныне идущих британских телесериалов и самая популярная в Британии телепередача.

[n1](#)

Вандея — департамент в Западной Франции.

[n2](#)

3

Нуармутье, Йё — острова в Бискайском заливе, принадлежат Франции.

[п3](#)

Les Salants (фр.) — солончаки.

[n4](#)

Джерси — остров, территория Британии, расположен у побережья Франции.

[п5](#)

6

Айона — один из Гебридских островов, расположен у побережья Шотландии.

[п6](#)

Скай — остров, расположен у западного побережья Шотландии.

[n7](#)

Nid'Poule (фр.) — гнездо насадки.

n8

Vareuse (фр.) — рыбацкая или матросская блуза.

[n9](#)

10

Эспадрильи — сандалии на веревочной подошве.

[n10](#)

Сестрица (фр.).

[n11](#)

Дочка Жана Большого (фр.).

[n12](#)

Прекрасная Изольда — героиня средневековой французской легенды о любви Изольды и Тристана.

[n13](#)

Мудрая Элоиза — историческое лицо (1100—1163), ученица французского философа Пьера Абеляра (1079—1142). История любви Абеляра и Элоизы вошла в легенду.

[n14](#)

Бланш де Коэткен — героиня средневековой французской легенды. Де Коэткены — бретонский графский род. Легенда гласит, что девери Бланш — Флоран и Галь де Коэткен — были недовольны женитьбой своего брата, Танги де Коэткена, и заточили Бланш в темницу, чтобы она там умерла.

[n15](#)

Кнут (Кнуд) Великий (995—1035) — датский король, а с 1016 г. король Англии. По преданию, велел приливу остановиться, но прилив не послушался Кнута, после чего тот благоразумно отступил, произнес знаменитую фразу: «Хотя деяния королей и могут показаться великими в глазах людей, они ничто перед величием силы Бога».

[n16](#)

Нефритовый берег (Cote de Jade) — атлантическое побережье департамента Атлантическая Луара в Западной Франции.

[n17](#)

Корриган — волшебное существо женского пола из бретонской мифологии, нечто среднее между гномом и феей.

[n18](#)

«Мир и труд» (бретонск.).

[n19](#)

Тетя (фр., детск.).
[n20](#)

Плавательный бассейн (фр.).

[n21](#)

Бабушка (фр.).

[n22](#)

Дедушка (фр.).

[n23](#)

Слоеная булочка или трубочка из теста с шоколадной начинкой (фр.).

[n24](#)

Парафраз строки из стихотворения Р. Л. Стивенсона «Реквием»:
«Вернулся домой скиталец морской...» (пер. Вл. Бойко).

[n25](#)

Красавица (фр.).

[n26](#)

Менгир — один из видов доисторических (мегалитических) памятников, неотесанный каменный столб; встречается в Бретани, Англии и Скандинавии.

[n27](#)

Яблочные куклы — куклы с лицом из сушеного яблока; изделие народных промыслов.

[п28](#)

FB2 document info

Document ID: ooofbtools-2009-12-17-21-6-8-969

Document version: 1.01

Document creation date: 17.12.2009

Created using: ExportToFB21, FB Editor v2.0 software

Document authors :

- FB2Fix

About

This book was generated by Lord KiRon's FB2EPUB converter version 1.0.28.0.

Эта книга создана при помощи конвертера FB2EPUB версии 1.0.28.0 написанного Lord KiRon